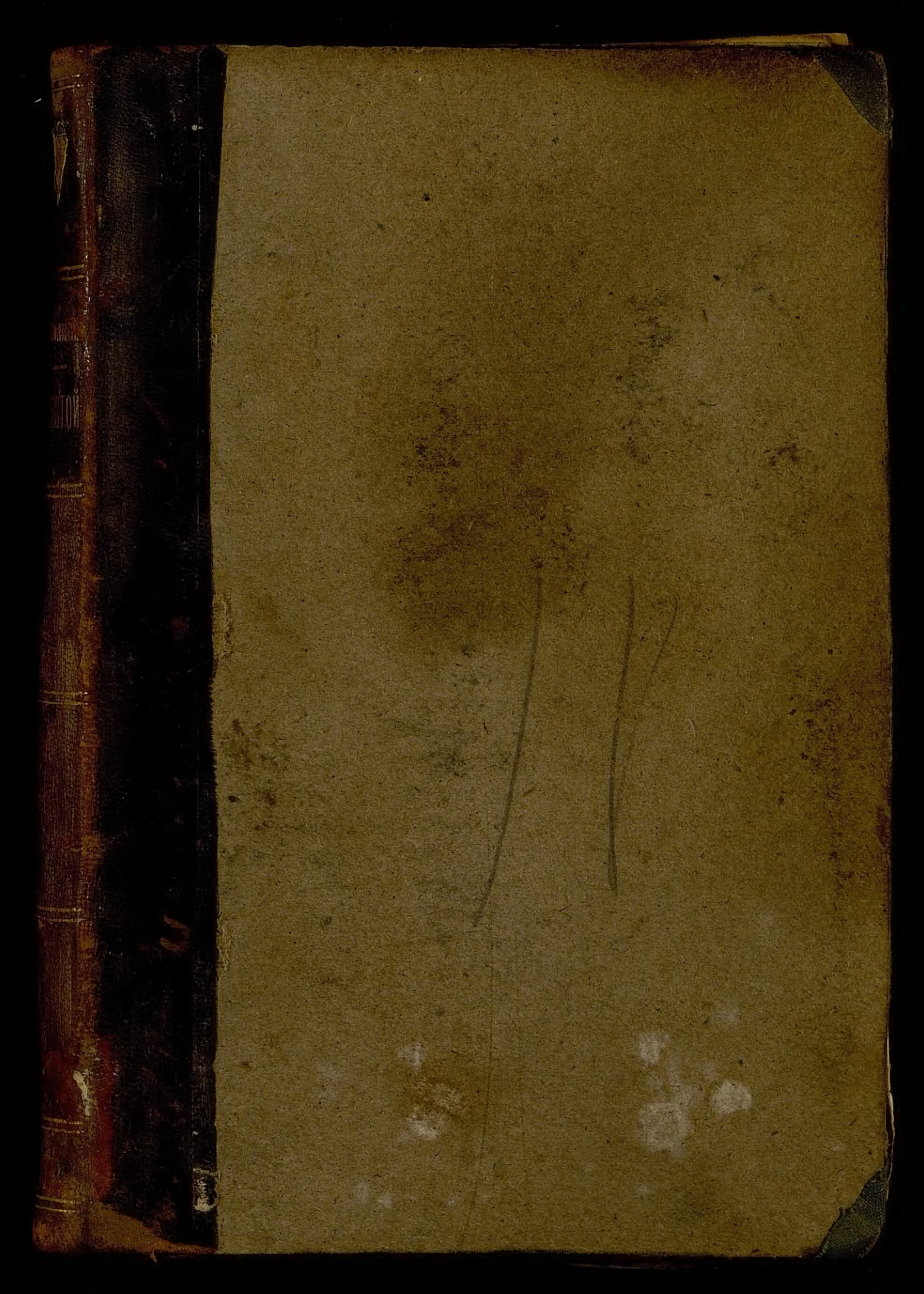


[illegible] или [illegible]

[illegible] 23 стр.

[illegible]

Владиславлеви

[illegible]



Николаю Константиновичу Михайловскому от автора 1887 г. Сент. 2.

ГРАФЪ Л. Н. ТОЛСТОЙ

КАКЪ

ХУДОЖНИКЪ И МЫСЛИТЕЛЬ

КРИТИЧЕСКІЕ ОЧЕРКИ И ЗАМѢТКИ

А. Скабичевскаго.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
 Типографія В. С. Балашева, Екатерининск. кан., № 78. 
1887.



Екатерининскій каналъ, д. № 78.
№ 2759.

Общая характеристика

ЛИТЕРАТУРНОЙ ДѢЯТЕЛЬНОСТИ ГР. Л. Н. ТОЛСТАГО

по 1872 г.



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИТЕРАТУРНОЙ ДѢЯТЕЛЬНОСТИ ГР. Л. ТОЛСТАГО ПО 1872 ГОДЪ.

I.

Элементарный принципъ реальнаго искусства заключается, какъ всѣмъ извѣстно, въ томъ, чтобы изображать жизнь такъ, какъ она есть, во всей ея неподкрашенной правдѣ, не идеализируя и не искажая ея. Въ этомъ принципѣ выразилось первое сознаніе реальнаго искусства въ отличіе его отъ романтизма, и долгое время принципъ этотъ исключительно господствовалъ въ критикѣ, приверженной реальному искусству. Установленіе его составляло главную заслугу дѣятельности Бѣлинскаго, сущность такъ-называемой натуральной школы. Въ эпоху сороковыхъ годовъ принципа этого совершенно было достаточно, чтобы пошатнуть всѣ устарѣлые романтическіе взгляды на искусство и водворить господство новой реальной школы.

Но когда этотъ принципъ восторжествовалъ къ концу сороковыхъ годовъ, оказалось, что онъ далеко не обнимаетъ собою всей сущности искуства и не опредѣляетъ его цѣлей. Прекрасно изображать жизнь въ ея неподкрашенной правдѣ; но съ одной

стороны, съ какою же цѣлью долженъ поэтъ быть какимъ-то рабскимъ эхомъ жизни, и притомъ эхомъ, далеко уступающимъ отражаемымъ звукамъ? А съ другой стороны—долженъ ли поэтъ, дѣйствительно, подобно эху, отражать безразлично все, что только ни вошло въ его кругозоръ, или онъ имѣетъ право выбора? Вышеупомянутый принципъ потому и оказался недостаточенъ, что онъ не отвѣчалъ на эти вопросы и допускалъ въ области искусства хаосъ и безцѣльность. Въ самомъ дѣлѣ, что бы поэту ни вздумалось изображать: явленія, выражающія собою духъ вѣка или журчанія ручейковъ, роковыя стремленія своихъ современниковъ, или же впечатлѣнія и мелкія подробности рыбныхъ ловлей—все безразлично входило въ область реальнаго искусства и допускалось вышеупомянутымъ принципомъ, лишь бы только изображеніе было вѣрно дѣйствительности. Изъ этого выходила распущенность и произволъ почти столь же необузданные, какіе господствовали и въ романтизмѣ съ его теоріею безусловной свободы поэтической фантазіи. Тогда-то и возникли двѣ партіи: одна осталась при прежнемъ принципѣ, т.-е. вполнѣ довольствовалась тѣмъ, чтобы искусство изображало художественно-вѣрно жизнь, не входя при этомъ въ разборъ, что и для чего изображается произведеніемъ. Люди этой партіи не отвергали того, что искусство должно быть полезно, но въ то же время они полагали, что польза его заключается въ самой его сферѣ, безотносительно къ содержанію изящныхъ произведеній, что искусство само по себѣ приноситъ свою специфическую пользу тѣмъ уже, что художественно изображаетъ жизнь, во всей ея правдѣ, и требовать отъ него другихъ какихъ-нибудь цѣлей, это значитъ выводить его изъ своей сферы, заставлять его переставать быть искусствомъ. Противъ этихъ приверженцевъ стараго принципа возникли новые люди, которые начали доказывать, что старый принципъ недостаточно опредѣляетъ значеніе и цѣль искусства, что для поэта недостаточно вѣрно изображать первое, что попалось ему на глаза и привлекло его вниманіе, что не всякое изображеніе дѣйствительности имѣетъ одинаковое значеніе и приноситъ одинаковую долю пользы, что неизмѣримая бездна лежитъ между безцѣльнымъ изображеніемъ соловьиныхъ трелей или любовныхъ томленій и такихъ явленій жизни, въ которыхъ лежатъ существенныя задачи вѣка. Болѣе десяти лѣтъ велись

ожесточенные споры между защитниками искусства для искусства и искусства для жизни, и кончились въ свою очередь торжествомъ новаго принципа утилитарнаго искусства. По-крайней мѣрѣ въ настоящее время *) торжество это можно считать до такой степени полнымъ, что если въ литературѣ и раздаются еще порою отдѣльные голоса приверженцевъ искусства для искусства, то голоса эти слишкомъ и робки, и ничтожны, чтобы обращать на себя вниманіе, и противъ нихъ никто уже и не возражаетъ, считая это дѣло совершенно излишнимъ. Но торжество какой-либо идеи всегда бываетъ въ то же время обнаруженіемъ слабыхъ сторонъ ея. То же самое происходитъ нынѣ и съ утилитарнымъ принципомъ.

«Я пришелъ въ міръ не для того, чтобы уничтожить законъ, а чтобы поправить его». Это изрѣченіе пригодно для каждой новой идеи, являющейся на смѣну старой. Какъ бы ни казалась отжившею старая идея, но не надо забывать, что и она когда-то была новою, была какою-нибудь ступенью въ развитіи человѣчества и какое нибудь новое сознаніе принесла людямъ своимъ появленіемъ. Неужели же это пріобрѣтеніе безвозвратно утрачивается для человѣчества съ появленіемъ новой идеи и новая до основанія разрушаетъ старую, не оставляя въ ней и слѣда? Иначе сказать, неужели все развитіе человѣчества заключается въ вѣчной безсмысленной смѣнѣ идей, въ результатѣ оказывающихся одинаково ложными? Ничуть ни бывало: старыя идеи не уничтожаются, а только теряютъ свое безусловное господство, ограничиваются новыми идеями и входятъ въ нихъ въ видѣ элементовъ. Это мы видимъ въ какой угодно области мысли, въ томъ числѣ и въ сферѣ эстетическихъ понятій. Основная формула всѣхъ нѣмецкихъ метафизиковъ заключалась въ томъ, что искусство должно быть свободнымъ, непроизвольнымъ актомъ творчества. Реальная эстетика, явившаяся па смѣну метафизической, не опровергнула этой формулы, а только ограничила, ее: да, сказала она, конечно, это такъ, но при всей свободѣ и непроизвольности творчества поэтъ не можетъ отрѣшиться отъ дѣйствительности; произвести что-нибудь свое, не находящееся въ сферѣ жизни, совершенно не въ его власти; всякая

*) Т. е. въ 1872 году, когда была писана эта статья.

такая попытка есть болѣзнь творчества, ведетъ къ произведеніямъ безобразнымъ, уродливымъ, и только такое произведеніе можно назвать художественнымъ, въ которомъ при всей свободѣ и непроизвольности творчества, воспроизводится жизнь во всей ея правдѣ.

Утилитаризмъ въ свою очередь не заключаетъ въ себѣ отрицанія, ни непроизвольности творчества, ни тѣмъ менѣе вѣрности дѣйствительности поэтическихъ образовъ. Признавая и то, и другое, онъ опять-таки является только ограниченіемъ элементарнаго принципа реальнаго искусства, говоря, что только такое произведеніе искусства заслуживаетъ уваженія современниковъ и памяти потомства, которое, при условіи непроизвольнести творчества и вѣрности дѣйствительности, проникнуто общественными интересами времени.

Въ такомъ видѣ и являлся утилитаризмъ искусства при своемъ появленіи въ статьяхъ Бѣлинскаго послѣдняго періода его дѣятельности и Добролюбова. Проводя утилитаризмъ, писатели эти не забывали и того, что̀ было истиннаго въ прежнихъ принципахъ, и всячески заботились о приведеніи въ согласіе новаго принципа со старыми. Мы могли бы привести множество цитатъ изъ статей Добролюбова, въ которыхъ этотъ горячій приверженецъ принципа искусства для жизни преслѣдовалъ всякую преднамѣренность творчества, искусственность или же искаженіе дѣйствительности, фальшъ,—не менѣе самыхъ рьяныхъ защитниковъ искусства для искусства.

Но по мѣрѣ того, какъ утилитаризмъ окончательно восторжествовалъ, онъ возъимѣлъ претензію быть единственнымъ и исключительнымъ принципомъ искусства, и началъ игнорировать всѣ прежніе принципы, не входя даже въ разсмотрѣніе ихъ, какъ будто ихъ вовсе никогда не существовало. Вмѣстѣ съ тѣмъ не замедлилъ обнаружиться и весь вредъ исключительнаго и односторонняго господства его въ критикѣ. Оказывается, что взятый отдѣльно, безъ содѣйствія предшествовавшихъ принциповъ, утилитаризмъ ведетъ искусство къ такому же хаотическому произволу, какъ и прежніе принципы, во время ихъ исключительнаго господства. Въ самомъ дѣлѣ, вы посмотрите, что̀ только дѣлается въ современной беллетристикѣ: нынѣ не требуется отъ писателя ни знанія жизни въ ея неподкрашенной, неутаенной правдѣ, ни возведенія дѣйствительности въ

перлъ созданія, какъ выражались нѣкогда, или, сказать проще, обобщеній частныхъ явленій въ общіе образы; писатель можетъ остановиться на первыхъ конкретныхъ фактахъ, обратившихъ на себя вниманіе, взять своихъ двухъ-трехъ пріятелей, и, произвольно перемѣшавши ихъ качества, написать безъ дальнихъ околичностей романъ изъ нѣсколькихъ ихъ похожденій; можетъ и этого не дѣлать: имѣетъ полный произволъ искажать дѣйствительность, какъ ему вздумается, пригоняя ее къ задуманной идеѣ, даже совсѣмъ обойтись безъ дѣйствительности, выдумать небывалыхъ героевъ изъ своей собственной фантазіи, поставить ихъ въ самую фантастическую обстановку, гдѣ-то между небомъ и землей, и заставить продѣлывать подвиги или преступленія, подобныхъ которымъ вы не сыщете на всемъ земномъ шарѣ, и лишь бы романъ былъ написанъ бойко, не причинялъ зѣвоты, и, что̀ прежде всего и главнѣе всего, въ немъ была бы проведена поучительная тенденція,—и будьте увѣрены, романъ найдетъ своихъ почитателей въ томъ лагерѣ, для котораго эта тенденція пріятна. Въ самомъ дѣлѣ, неужели есть хоть малѣйшій признакъ поэтическаго творчества или блѣдная тѣнь правды жизни въ тѣхъ многочисленныхъ романахъ, которые пишутся словно по заказу для «Русскаго Вѣстника», въ которыхъ непремѣнно должны парадировать растрепанные нигилисты съ различными коварными интригами, съ поддѣлываньемъ векселей, обольщеніемъ дѣвъ и отравленіемъ старцевъ, а рядомъ съ ними благонамѣренные администраторы-патріоты должны разрушать всѣ эти злокозненныя интриги, жениться на обольщенныхъ нигилистами дѣвахъ и при встрѣчахъ съ благодушными крестьянами получать отъ нихъ хлѣбъ-соль на серебряныхъ блюдахъ. Что̀ представляетъ изъ себя романъ наприм. «На ножахъ», г. Лѣскова, какъ не какой-то горячечный бредъ разстроеннаго воображенія, потерявшаго всякое чутье дѣйствительности и дошедшаго до чудовищныхъ галлюцинацій! Не говоря уже о томъ, что въ этомъ романѣ по прихоти фантазіи автора и по тону тенденціи жизнь искажается елико возможно въ своихъ существенныхъ, общихъ явленіяхъ, — авторъ не позаботился, чтобы читатели, хотя бы въ мелкихъ аксесуарахъ и подробностяхъ, видѣли окружающую ихъ дѣйствительность; дѣйствующія лица говорятъ богъ-вѣсть какимъ страннымъ языкомъ, по-

добнаго которому нигдѣ не слышишь, представляются исключительными, нигдѣ невиданными уродами, и вся обстановка ихъ жизни освѣщена такимъ какимъ-то страннымъ, мистическимъ свѣтомъ, словно это жители не русской земли, а иной планеты, надъ которой солнце свѣтитъ не бѣлымъ, а синевато-зеленымъ цвѣтомъ. Но и беллетристы противоположнаго лагеря, тенденціозные романисты въ родѣ Бажина, Шеллера, Омулевскаго, въ одинаковой мѣрѣ не заботятся объ изображеніи дѣйствительности, правды жизни. Разница только въ томъ, что здѣсь вмѣсто необузданныхъ нигилистовъ творятъ всевозможныя пакости развращенные филистеры, а надъ ними парятъ въ облакахъ молодые реалисты «съ крѣпкими нервами и здоровымъ воображеніемъ». Я говорю «парятъ въ облакахъ», потому что, когда вы читаете романъ или повѣсть этого рода, передъ вами стушевываются и земля, и небо, и вы видите передъ собою одно тріумфальное шествіе свѣтозарныхъ героевъ, совершенно въ такомъ же родѣ, какъ изображаются тріумфальныя шествія на барельефахъ: смотрите вы на барельефъ, и передъ вами не существуетъ древней жизни со всею ея обыденною обстановкою, никакого ландшафта, одно бѣлое поле да такое же бѣлое кудрявое деревцо въ сторонѣ, и подъ нимъ колесницы, колесницы, колесницы и побѣдители, величественно правящіе рьяными конями. Точно тоже самое представляютъ изъ себя и романы вышеупомянутыхъ беллетристовъ. Откуда берутъ они своихъ величавыхъ, мудрыхъ яко зміи героевъ, гдѣ они ихъ видятъ, не спрашивайте объ этомъ. Въ романахъ этихъ беллетристика совершенно сошла съ почвы реализма и ударилась въ шиллеровскій идеализмъ созданія русскихъ маркизовъ Позъ, и Іоаннъ д'Аркъ. Здѣсь жизнь даже ужь и не искажается, а просто выдумывается сообразно проводимой тенденціи.

Въ концѣ-концовъ не уничтожается-ли и самый принципъ утилитаризма такимъ его исключительнымъ преслѣдованіемъ? Человѣческое слово можетъ быть полезно только тогда, когда оно заключаетъ въ себѣ истину. Всякая ложь, даже самая блестящая, высказываемая хотя бы даже съ самыми благородными, высокими цѣлями, непремѣнно въ концѣ концовъ, должна произвести не пользу, а величайшій вредъ. О вредѣ романовъ въ духѣ тенденцій «Русскаго Вѣстника» нечего и гово-

рить; но не трудно доказать, чти и выставленіе новыхъ людей въ видѣ моркизовъ Позъ и Іоаннъ-д'Аркъ, можетъ принести не менѣе вреда для тѣхъ же самыхъ юношей, для поученія которыхъ эти романы пишутся. Вмѣсто того, чтобы представлять этимъ юношамъ жизнь въ ея настоящемъ свѣтѣ, вмѣсто того, чтобы заставлять ихъ узнавать себя въ произведеніяхъ со всѣми ихъ недостатками, авторы употребляютъ всѣ усилія, чтобы закрыть отъ нихъ настоящую дѣйствительность со всѣмъ ея жалкимъ убожествомъ, обольщая ихъ различными радужными призраками. Послѣдствія подобныхъ обольщеній очевидны: юноша прочтетъ нѣсколько подобныхъ романовъ и не замедлитъ вообразить самого себя однимъ изъ ихъ героевъ; вмѣстѣ съ тѣмъ начинаются поиски повсюду людей съ необъятными силами и непоколебимой энергіей, причемъ каждый встрѣченный, сказавшій двѣ, три фразы, согласныя съ воззрѣніями юноши, кажется ему человѣкомъ не отъ міра сего и находитъ подобіе себѣ въ томъ или другомъ романѣ г. Бажина, и кончается все это тѣмъ горькимъ и тяжелымъ разочарованіемъ идеализма, изъ котораго немногіе выходятъ, не утративъ молодыхъ силъ и завѣтныхъ убѣжденій. Что̀ такое это все, какъ не тотъ же романтизмъ, только въ новой оболочкѣ, съ иными кличками? Но что̀ же тогда дѣлать нашей беллетристики? Неужели возвратиться ко временамъ чистаго искусства и снова воспѣвать что̀ взбредетъ на умъ, слѣпо повинуясь всѣмъ прихотямъ художественнаго вдохновенія?... Никто объ этомъ не говоритъ; что пройдено, къ тому возвращаться было бы крайне постыдно, и не даромъ явился принципъ утилитаризма искусства; но только цѣль его не пренебрегать всѣми прежними принципами, а только ограничивать ихъ. Актъ поэтическаго творчества попрежнему долженъ быть свободнымъ, непроизвольнымъ актомъ, и попрежнему поэтъ обязанъ изображать жизнь такъ, какъ она есть. Что же касается тенденціозности произведеній, то она должна заключаться вовсе не въ томъ, чтобы во что бы ни стало принаровливать изображаемую дѣйствительность къ тенденціи. Тенденціозность должна предшествовать творчеству, руководя поэта не столько въ изображеніи жизни, сколько въ изученіи ея. Поэтъ, проникнутый серьёзными и глубокими идеями, стоящими впереди вѣка, очевидно, не будетъ обращать исключи-

тельнаго вниманія на красоты природы, по цѣлымъ часамъ слѣдить за тѣмъ, какъ тучки плывутъ по небосклону; онъ станетъ изучать такія явленія жизни, которыя такъ или иначе относятся къ вопросамъ, занимающимъ его умъ. И если онъ обладаетъ дѣйствительнымъ талантомъ, явленія эти не замедлятъ сложиться въ поэтическіе образы; тогда пусть онъ садится къ столу и воспроизводитъ эти образы; пусть въ это время онъ ни о чемъ не думаетъ болѣе, какъ только о поэтическомъ воспроизведеніи и задастся исключительно художественными цѣлями и, повѣрьте, произведенія его въ гораздо большей степени проникнуты будутъ серьёзными, глубокими тенденціями, чѣмъ еслибы онъ преднамѣренно задался ими. Не только помимо, но иногда и вопреки воли его поэтическіе образы станутъ сами по себѣ вопіять вамъ о вашихъ скорбяхъ и нуждахъ и будутъ производить на васъ тѣмъ сильнѣйшее впечатлѣніе, чѣмъ меньше преднамѣренности со стороны автора. Таковъ законъ иллюзіи, что всякое непреднамѣренное мѣткое замѣчаніе, нечаянная острота, случайно сорвавшіяся съ языка, дѣйствуютъ сильнѣе разсчитанныхъ и взвѣшанныхъ предварительно словъ. Въ этомъ отношеніи искусство должно идти совершенно по тому же пути, по какому идетъ наука. Когда ученый принимается за свои изслѣдованія, онъ ограничивается только общими, всѣмъ и каждому съ дѣтскихъ лѣтъ извѣстными соображеніями о томъ, что всѣ научныя изслѣдованія должны клониться къ пользѣ людямъ; но было бы нелѣпо, еслибы ученый захотѣлъ заранѣе опредѣлить, какую долю пользы принесутъ его изслѣдованія и въ какомъ видѣ; вдругъ бы ему пришла въ голову мысль: дай, молъ, я открою такой газъ, который горѣлъ бы свѣтлѣе водорода и стоилъ бы вдесятеро дешевле. Вы, конечно, тотчасъ-же усомнились бы въ успѣхѣ подобнаго предпріятія, назвали бы ученаго химеристомъ и готовы были бы побиться объ закладъ, что подобныя преднамѣренныя изысканія ни къ чему не поведутъ; но мало того, что они ни къ чему не поведутъ—они могутъ помѣшать ученому сдѣлать десять полезнѣйшихъ непредвидимыхъ открытій въ теченіе того времени, которое онъ потратитъ на свой замыселъ. На этомъ основаніи вы не требуете отъ ученаго ничего болѣе, какъ только того, чтобы онъ изслѣдовалъ свой предметъ, и затѣмъ повѣдалъ міру о тѣхъ от-

крытіяхъ, къ которымъ естественно и непроизвольно привели его изысканія. Совершенно точно такъ же долженъ поступать и поэтъ. Вся обязанность его заключается въ томъ, чтобы изучать окружающую его людскую жизнь въ самыхъ разнообразныхъ ея проявленіяхъ и затѣмъ повѣдать намъ въ поэтическихъ образахъ о результатѣ своихъ изслѣдованій. Польза же подобныхъ повѣданій будетъ прямо зависѣть отъ того, на сколько богаты результаты изученія поэтомъ жизни, т.-е. на сколько глубоко успѣлъ онъ проникнуть въ изучаемую имъ область и сдѣлать въ ней болѣе или менѣе существенныя открытія... Основной методъ такого изученія долженъ быть такой же индуктивный, какъ и во всѣхъ другихъ наукахъ, иначе сказать, изученіе должно основываться на возможно большемъ количествѣ фактовъ, чѣмъ только и можетъ обусловливаться вѣрность выводовъ. Таковъ основной, единственно-истинный принципъ искусства, который къ сожалѣнію пренебрегается нашими современными беллетристами: они считаютъ совершенно излишнимъ заниматься постояннымъ и пристальнымъ изученіемъ жизни въ самыхъ разнообразныхъ ея сферахъ и полагаютъ, что сдѣлали свое дѣло, и совѣсть ихъ можетъ быть спокойна, если имъ удалось стереотипную тенденційку, принятую въ наслѣдство отъ бабушки или вычитанную изъ книжки, пришпилить кое-какъ на живую нитку къ двумъ, тремъ блѣднымъ образамъ или совершенно конкретнымъ, или же составленнымъ изъ самаго ограниченнаго круга наблюденій! И они воображаютъ, что произведенія ихъ могутъ быть въ какой-нибудь степени полезны!

Для большей ясности и вразумительности считаю нелишнимъ въ заключеніе этой главы привести всѣ вышеозначенные принципы въ краткихъ формулахъ, въ ихъ послѣдовательности другъ за другомъ. И такъ:

1) Поэтическое творчество должно быть свободно и непроизвольно.

2) Оно должно воспроизводить жизнь во всей ея неподкрашенной правдѣ.

3) Оно должно стремиться къ воспроизведенію существенныхъ явленій жизни, въ которыхъ выражаются духъ вѣка и его интересы.

4) А этого поэтъ можетъ достигнуть только путемъ всесторонняго изученія жизни.

II.

Произведенія гр. Л. Толстаго потому и дороги для насъ въ смыслѣ разъясненія всѣхъ этихъ принциповъ, особенно послѣдняго, что они наглядно показываютъ, до чего можетъ достигнуть художникъ путемъ изученія жизни и безхитростнаго воспроизведенія ея въ поэтическихъ образахъ, и какъ съ другой стороны тенденціи, которыми иногда старается тотъ же художникъ освѣщать образы свои, не только не освѣщаютъ ихъ, а напротивъ того—портятъ впечатлѣніе, которое образы производятъ сами по себѣ, заглушаютъ ихъ естественный голосъ.

Гр. Л. Толстой принадлежитъ къ школѣ беллетристовъ сороковыхъ годовъ. Школа эта имѣетъ свое историческое значеніе въ томъ отношеніи, что въ ней впервые возникло стремленіе къ серьёзному анализу жизни на основаніи тѣхъ новыхъ, гуманныхъ идей, наплывъ которыхъ съ Запада составляетъ главную суть умственнаго движенія сороковыхъ годовъ. Въ защитѣ раба отъ помѣщичьяго произвола, женщины отъ домашняго гнета, въ отрицаніи праздности, лѣни и нравственной распущенности, этихъ результатовъ крѣпостнаго права, заключается несомнѣнная заслуга этой школы. Но вмѣстѣ съ тѣмъ она имѣетъ и свои недостатки, зависящіе отъ духа времени и условій жизни представителей ея. Школа эта—та самая, которая при своемъ возникновеніи, въ послѣдніе годы Бѣлинскаго, славилась подъ названіемъ натуральной. Она возникла такимъ образомъ въ то время, когда отъ писателей начинали уже требовать проникновенія общественными интересами, но требованіе это было еще вопросомъ спорнымъ, между тѣмъ безгранично царилъ принципъ, не требующій отъ искусства ничего болѣе, кромѣ вѣрнаго изображенія жизни. Въ силу этого, беллетристы сороковыхъ годовъ постоянно колебались между принципами искусства для искусства и утилитарнымъ: останавливая свое вниманіе на такихъ явленіяхъ жизни, въ которыхъ выражались существенные интересы ихъ времени, рядомъ съ этимъ они предавались той безцѣльной созерцательности, которая допускалась принципомъ натуральной школы, и въ же время была столь естественна при складѣ жизни большинства представителей этой школы. Это и было причиною такого обилія

описательной поэзіи въ произведеніяхъ всѣхъ беллетристовъ сороковыхъ годовъ; произведенія эти переполнены описаніями красотъ природы, тончайшихъ мелочей быта и обыденныхъ сценъ жизни въ родѣ печенья пироговъ, проводовъ, встрѣчъ, ѣзды на долгихъ или перекладныхъ и пр. Вмѣстѣ съ тѣмъ принципъ натуральной школы не заключалъ въ себѣ требованія всесторонняго и сравнительнаго изученія жизни въ разныхъ слояхъ общества, и совершенно довольствовался знаніемъ со стороны поэта одной маленькой частицы жизни, лишь бы онъ изображалъ ее вѣрно. Въ силу этого, беллетристы сороковыхъ годовъ позволяли себѣ имѣть весьма поверхностныя свѣдѣнія о всѣхъ прочихъ слояхъ общества, кромѣ того интеллигентнаго, къ которому сами принадлежали. Иногда они дѣлали вылазки и въ другіе слои, но если только бытъ этихъ слоевъ не искажался авторами, если въ него не вносились нравы, понятія и чувства той же интеллигентной среды (что̀ случалось очень часто), то во всякомъ случаѣ выбирались факты чисто конкретные, случайно попавшіеся въ кругозоръ художника, и выводились въ произведеніи для того, чтобы выставить какую-либо вредную сторону крѣпостнаго права или же внушить публикѣ, что и подъ сермягою бьется такое же человѣческое сердце. Существенныя же основы быта всѣхъ прочихъ слоевъ общества, кромѣ интеллигентнаго, ихъ основныя стремленія, симпатіи и антипатіи въ соприкосновеніи съ интеллигентнымъ слоемъ, оставались чужды беллетристикѣ сороковыхъ годовъ: по бо̀льшей части она занималась изображеніемъ одного интеллигентнаго слоя въ различныхъ отношеніяхъ людей этого слоя другъ къ другу. Подобныя односторонность и замкнутость беллетристики въ одномъ слоѣ общества были не малою помѣхою для разрѣшенія тѣхъ существенныхъ задачъ, которыя были заданы этой школѣ вѣкомъ. Школа беллетристовъ сороковыхъ годовъ стремилась освѣтить ту страшную нравственную распущенность, дряблость, ту крайнюю искусственность жизни, до какихъ дошла интеллигентная среда вслѣдствіе ненормальности своего общественнаго положенія. Простой, здравый смыслъ говоритъ вамъ, что всѣ вышеупомянутые недостатки интеллигентной среды только и могутъ быть освѣщены въ настоящемъ свѣтѣ въ сопоставленіи этой среды съ другими слоями общества, въ которыхъ этихъ недостатковъ нѣтъ,

и въ то же время наибольшій вредъ этихъ недостатковъ обнаруживается очевидно опять-таки въ отношеніяхъ интеллигентной среды къ прочимъ слоямъ общества. Между тѣмъ этого-то именно и не могла сдѣлать беллетристика сороковыхъ годовъ, весьма мало знакомая съ прочими слоями общества и занимавшаяся почти исключительно однимъ интеллигентнымъ слоемъ. Она выводила на сцену постоянно безхарактернаго, нравственно-распущеннаго героя, но всѣ эти качества могла показывать только по отношенію героя къ матери, любимой дѣвушкѣ, другу. Въ то же время она, при всемъ отрицательномъ отношеніи къ подобному герою, все-таки питала къ нему величайшую нѣжность, какъ къ представителю интеллигенціи. Такимъ образомъ герой оказывался несостоятельнымъ во всѣхъ отношеніяхъ, но при всемъ томъ рисовался выше всѣхъ головою; и читатель оставался въ полномъ недоумѣніи, кто сей герой и какъ объяснить дрянность его отношеній къ ближнимъ: ненормальностью его самого или этихъ ближнихъ? Представляетъ ли господинъ этотъ собою печальный результатъ неправильной обстановки жизни, или можетъ быть, такова участь всякаго, возвысившагося надъ своею средою и вставшаго вслѣдствіе этого съ нею въ разладъ? Впрочемъ, къ концу сороковыхъ годовъ беллетристы начали болѣе склоняться къ первому предположенію: безхарактерный герой пересталъ рисоваться выше всѣхъ головою, а началъ изображаться тѣмъ, чѣмъ онъ былъ на самомъ дѣлѣ: никуда негоднымъ продуктомъ растлѣнной среды; изъ Бельтова онъ быль разжалованъ въ Обломова. Вмѣстѣ съ установленіемъ подобнаго взгляда на безхарактернаго героя, еще болѣе почувствовалась потребность оттѣненія послѣдняго героями съ противоположными качествами. Въ прежніе годы герой оттѣнялся средою, которая предполагалась стоящею ниже его, теперь же онъ оказался нисколько не выше своей среды, ея органическимъ продуктомъ. Казалось, что тутъ-то и должно было возникнуть сознаніе, что самое лучшее оттѣненіе безхарактерности героя, это поставленіе его въ соприкосновеніе съ другими слоями общества. Между тѣмъ большинство беллетристовъ сороковыхъ годовъ продолжали имѣть все такія же смутныя понятія о прочихъ слояхъ общества; поневолѣ они принуждены были для оттѣненія безхарактерныхъ героевъ *сочинять* героевъ характерныхъ,

силою своего воображенія и отвлеченнаго мышленія—сходя такимъ образомъ съ реальной почвы изображенія дѣйствительности. Нѣкоторые такъ и дѣлали. Другіе начали возводить въ идеалъ различныхъ кулаковъ, находящихся въ той же интеллигентной средѣ, лишь бы только эти кулаки проявляли хотя блѣдную тѣнь характерности и твердости нравственныхъ правилъ по отношенію къ матери, женѣ и другу, и читатель долженъ былъ вѣрить, что передъ нимъ если не идеальныя совершенства, то во всякомъ случаѣ столпы русской земли, черноземныя силы, и вѣрилъ простодушный читатель, благодаря тому, что писатели не заботились представить, какъ проявляетъ себя почтенный сынъ, вѣрный мужъ и неизмѣнный другъ къ людямъ, не стоящимъ столь близко къ нему... Читатель же менѣе простодушный задавалъ себѣ естественный вопросъ: какимъ чудодѣйственнымъ образомъ на почвѣ изображаемой среды могутъ возникать столь доблестные герои, если естественнымъ продуктомъ ея являются Обломовы въ различнихъ видахъ и формахъ? Въ такое безвыходное противорѣчіе поставила себя натуральная школа беллетристовъ сороковыхъ годовъ, сойдя съ почвы объективнаго изображенія жизни на почву идеализаціи дѣйствитальности.

Принадлежа къ этой школѣ, гр. Л. Толстой представляетъ въ своихъ произведеніяхъ и многія такія свойства и особенности, которыя характеризуютъ ее. Такъ вы найдете въ нихъ такое же обиліе художественной созерцательности, результатомъ которой являются многочисленныя описанія природы, внѣшнихъ обыденныхъ чертъ жизни, рядомъ съ анализомъ всевозможныхъ психическихъ ощущеній до самыхъ мельчайшихъ и неуловимыхъ. Особенное богатство въ этомъ отношеніи представляютъ первыя повѣсти гр. Л. Толстаго: Дѣтство, Отрочество и Юность. Но и въ послѣднемъ произведеніи гр. Толстаго «Война и миръ» вы найдете не менѣе описательной поэзіи на каждой страницѣ. Стоитъ только припомнить такія выдающіяся вещи въ этомъ родѣ, какъ описаніе бала у Ростовыхъ или святочнато пикника. Мы указываемъ на эту особенность произведеній гр. Л. Толстаго, которую раздѣляетъ онъ со всѣми беллетристами одной съ нимъ школы, не какъ на достоинство или недостатокъ этихъ произведеній, а какъ на характеристическую принадлежность ихъ, которая зависитъ

отъ многихъ условій жизни, создавшей эту школу, и должна утратиться вмѣстѣ съ паденіемъ ея. — Не входя въ разбирательство частныхъ, индивидуальныхъ причинъ, зависящихъ отъ склада характера и темперамента того или другаго писателя, замѣтимъ только, что общая причина богатства описательной поэзіи въ нашей беллетристикѣ зависитъ, по нашему мнѣнію, отъ бѣдности содержанія нашей жизни и ея тоскливаго однообразія: вслѣдствіе недостатка такихъ сильныхъ впечатлѣній, которыя всецѣло овладѣвали бы фантазіею художника, наши писатели имѣютъ бездну досуга наблюдать различныя мелкія детали жизни и этими деталями иногда и ограничиваются.

Вмѣстѣ съ тѣмъ у гр. Л. Толстаго, подобно какъ и у всѣхъ беллетристовъ сороковыхъ годовъ, на первомъ планѣ рисуются тѣ же безхарактерные герои интеллигентной среды, анализъ нравственной несостоятельности которыхъ и составляетъ главное содержаніе творчества гр. Л. Толстаго. Но въ то же время гр. Л. Толстой не раздѣляетъ многихъ недостатковъ представителей своей школы, и этому онъ обязанъ, по нашему мнѣнію, тому, что сфера наблюденій жизни у гр. Толстаго гораздо шире, чѣмъ у прочихъ представителей его школы. Въ его произведеніяхъ вы найдете типы не одной только интеллигентной среды, но различныхъ слоевъ общества — мѣщанъ, крестьянъ, солдатъ, казаковъ, бѣдныхъ студентовъ и музыкантовъ и пр., и всѣ эти типы рисуются передъ вами въ надлежащемъ свѣтѣ и не въ однѣхъ только внѣшнихъ формахъ, но и въ существенныхъ свойствахъ, представляющихъ отличіе ихъ нравовъ, понятій и стремленій сравнительно съ привиллегированнымъ слоемъ общества. При такихъ условіяхъ и безхарактерный герой, составляющій главный предметъ творчества гр. Л. Толстаго, рисуется передъ нами совершенно въ иной перспективѣ, чѣмъ у прочихъ беллетристовъ сороковыхъ годовъ. Гр. Л. Толстой не принадлежитъ ни къ тѣмъ беллетристамъ своей школы, которые безхарактернаго героя ставили на романтическій пьедесталъ выше всѣхъ головою, ни къ тѣмъ, которые, ради отрицательнаго отношенія къ безхарактерному герою, выдумывали изъ своей фантазіи характерныхъ героевъ или идеализировали кулаковъ.

Вмѣсто всего этого гр. Толстой, относясь къ своему безхарактерному герою совершенно объективно и безпристрастно,

не преувеличивая и не умаляя его, анализируетъ его въ самыхъ разнообразныхъ положеніяхъ жизни, отъ колыбели и до могилы; не довольствуясь одними отношеніями его къ ближайшимъ родственникамъ, друзьямъ и любимымъ женщинамъ, приводитъ его въ соприкосновеніе съ личностями различныхъ слоевъ жизни;—отъ этого отрицаніе въ неизмѣримой степени выигрываетъ: безхарактерный герой рисуется передъ вами несостоятельнымъ не въ одной сферѣ семейныхъ и сердечныхъ вопросовъ, но во всѣхъ общественныхъ отношеніяхъ; онъ пасуетъ не передъ одними идеальными героями авторскихъ измышленій, но передъ простыми обыкновенными смертными, ежедневно встрѣчаемыми въ жизни. Въ этомъ отношеніи гр. Толстой представляетъ сравнительно съ прочими представителями своей школы шагъ впередъ на пути реализма, и во многихъ отношеніяхъ приближается къ той новой школѣ писателей, которые бросили прежній путь субъективно-психическаго анализа душевныхъ настроеній героевъ интеллигентной среды и принялись изучать жизнь объективно, какъ она проявляется въ отношеніяхъ различныхъ общественныхъ слоевъ между собою. Мы не говоримъ, чтобы онъ вполнѣ принадлежалъ къ этой новой школѣ; въ его произведеніяхъ анализъ душевныхъ настроеній интеллигентныхъ героевъ все-таки преобладаетъ, но самый этотъ анализъ значительно расширяется тѣмъ, что не ограничивается одною семейною или любовною сферою и касается часто такихъ сторонъ жизни, которыя или совсѣмъ не затрогивались беллетристикою сороковыхъ годовъ, или же затрогивались едва-едва, мелькомъ и поверхностно.

Самая внѣшняя форма произведеній гр. Толстаго значительно отличается отъ формы произведеній прочихъ беллетристовъ сороковыхъ годовъ: вмѣсто повѣстей и романовъ съ законченными сюжетами, весь узелъ которыхъ основывается у беллетристовъ сороковыхъ годовъ обыкновенно на любви, произведенія гр. Толстаго представляютъ рядъ очерковъ и частныхъ эпизодовъ изъ жизни героевъ, въ которыхъ очень часто любовь не играетъ ровно никакой роли; есть произведенія, обходящіяся и совсѣмъ безъ любви — каковы «Утро помѣщика», «Маркеръ». Даже произведеніе «Война и миръ», хотя и названо романомъ, но это вовсе не романъ по своей внѣшней формѣ: вы не найдете въ немъ одного цѣльнаго сюжета, во-

кругъ котораго были бы сконцентрированы всѣ дѣйствующія лица, что вы встрѣтите во всѣхъ европейскихъ романахъ безъ исключенія: это галлерея всевозможныхъ картинъ изъ жизни нашего общества начала нынѣшняго столѣтія; здѣсь вы найдете цѣлые десятки сюжетовъ, неимѣющихъ никакихъ точекъ соприкосновенія, и изъ которыхъ каждый могъ бы послужить темою для особеннаго романа; авторъ руководился очевидно вовсе не тою задачею, чтобы написать романъ изъ жизни перваго десятилѣтія, а чтобы изобразить эту жизнь въ наибольшей полнотѣ, во всемъ ея разнообразіи. Единственное исключеніе въ этомъ отношеніи изъ всѣхъ произведеній гр. Л. Толстаго составляетъ романъ: «Семейное счастіе». Здѣсь дѣйствительно мы видимъ цѣльный сюжетъ, основанный на любви. Но за то и по внутреннему содержанію романъ этотъ наиболѣе подходитъ къ школѣ беллетристовъ сороковыхъ годовъ: дѣйствіе романа сосредоточивается въ узкой сферѣ нѣсколькихъ личностей интеллигентной среды и все содержаніе его—анализъ всевозможныхъ ощущеній супружеской любви въ различныхъ ея періодахъ, — содержаніе, какъ видите, крайне частное.

III.

Произведенія гр. Толстаго «Дѣтство, Отрочество и Юность» заключаютъ картину воспитанія безхарактернаго героя. Произведенія эти какъ нельзя болѣе наглядно показываютъ, какъ излишня какая-либо надуманная тенденціозность, если поэтическіе образы, изображаемые художникомъ передъ вами, сами по себѣ внушаютъ вамъ рядъ идей, независимо отъ того, думалъ ли поэтъ провести эти идеи, или онъ ни о чемъ не помышлялъ, какъ только о художественномъ воспроизведеніи своихъ образовъ. Въ самомъ дѣлѣ, читаете вы произведенія эти, и вамъ постоянно кажется, что у автора не было въ виду ничего инаго, кромѣ желанія рисовать,—и рисовать-то такими микроскопическими штрихами столь микроскопическія вещи, какъ дѣтскія игры, радости и печали. Сначала вы теряетесь въ массѣ безсодержательныхъ повидимому очерковъ; но мало-по-малу, по мѣрѣ того, какъ вы вчитываетесь, передъ вами возникаетъ стройная картина дѣтства и юности тысячъ людей, подобныхъ герою, и эта

картина показываетъ вамъ ясно, откуда берутся и какъ складываются въ нашей жизни тѣ безхарактерные люди, которыми и теперь еще полны наши интеллигентные слои. Въ этомъ отношеніи мы нисколько не преувеличимъ если скажемъ, что во всей нашей беллетристикѣ мы можемъ поставить рядомъ только двухъ писателей, которыя съ такою полною обстоятельностью рисуютъ передъ нами дѣтскіе годы и воспитаніе героевъ нашей интеллигенціи — именно, Гончарова съ его «Сномъ Обломова» и гр. Л. Толстаго съ его «Дѣтствомъ, Отрочествомъ и Юностью».

Первое, что васъ поражаетъ, когда вы читаете «Дѣтство»,— это полная изолированность ребенка отъ жизни взрослыхъ, совершенная отчужденность его отъ интересовъ семьи. Не говоря уже о томъ, что ребенокъ не участвуетъ ни въ какихъ трудахъ взрослыхъ и потому не пріучается считать себя полезнымъ членомъ семьи,—онъ не принимаетъ никакого участія и въ ихъ радостяхъ или печаляхъ. Гр. Толстой нигдѣ не говоритъ объ этомъ, но онъ даетъ вамъ это чувствовать. Вы видите, что передъ ребенкомъ совершается страшная семейная драма, одна изъ тѣхъ драмъ, которыя столь часты въ нашей интеллигентной средѣ: тщеславный мотъ, фразеръ и селадонъ губитъ жизнь молодой и порядочной женщины, сдѣлавшей роковую ошибку влюбиться въ него по неопытности и выйти за него замужъ. Она истаиваетъ въ слезахъ при видѣ его легкомыслія, губящаго семейство, и сходитъ въ могилу обманутая, униженная, оскорбленная, почти брошенная въ деревенскомъ захолустьѣ. И все это остается совершенно незамѣченнымъ ребенкомъ, безъ малѣйшаго протеста или простаго вопроса о томъ, что такое дѣлается вокругъ него. У насъ много толкуютъ о вредѣ посвященія дѣтей въ семейныя дрязги; стараются даже, ради сохраненія въ дѣтяхъ младенческой чистоты и невинности, а также и должнаго уваженія къ родителямъ, производить семейныя ссоры при закрытыхъ дверяхъ, удаляя дѣтей какъ можно подальше. Вы найдете не мало несчастныхъ матерей, которыя считаютъ обязанностью заглушать въ подушкѣ свои слезы, и считали бы страшнымъ нравственнымъ преступленіемъ выразить передъ дѣтьми хоть одну жалобу на отца. Но какія бы вы педагогическія соображенія ни приводили въ пользу этого, а все-таки вы не докажете, чтобы въ этомъ скрываніи семейной грязи, въ этихъ улыбкахъ милымъ

дѣтямъ, когда на сердцѣ у васъ скребутъ кошки, не было возмутительнѣйшаго лицемѣрія. Вы убѣждены, что воспитаніе должно быть основано на истинѣ, и между тѣмъ на первыхъ же порахъ вмѣсто истины представляете дѣтямъ ложь, притворство, лицемѣріе. Вы умышленно стараетесь казаться передъ дѣтьми въ лучшемъ свѣтѣ, не тѣмъ, что вы на самомъ дѣлѣ, умышленно стараетесь скрывать передъ ними жизнь, въ ея неподкрашенной правдѣ. На сколько въ этомъ отношеніи и честнѣе, и правдивѣе васъ тѣ простые и безхитростные люди, у которыхъ не существуетъ для дѣтей никакой цензуры на семейные интересы, вопросы и дрязги, которые открыто высказываютъ передъ дѣтьми всѣ жалобы и протесты. Дѣтскій инстинктъ всегда подскажетъ ребенку, гдѣ правда, гдѣ ложь, и дѣтское сердце всегда встанетъ на сторону угнетеннаго противъ угнетателя. Правда, при такомъ воспитаніи вы не будете наслаждаться зрѣлищемъ дѣтской невинности, играющей въ куколки и лошадки, когда на столѣ лежитъ мать, убитая горемъ; за то ваше дитя смолоду пріучится видѣть жизнь не въ цвѣтахъ и благоуханіяхъ, а со всѣми ея заботами и дрязгами, пріучится любить и ненавидѣть то, что стоитъ любви и ненависти, а главное дѣло—привыкнетъ жить человѣческою жизнію мысли, труда и борьбы, а не животнымъ прозябаніемъ, заключающимся въ одномъ питаніи.

Жизнь героя повѣсти гр. Л. Толстаго, изолированная отъ всѣхъ вопросовъ и интересовъ взрослыхъ, была именно такою животною жизнію отдѣльныхъ безсвязныхъ впечатлѣній: сегодня школьная скука, завтра охота, игры съ сверстниками, поѣздка въ Москву на долгихъ, бабушкины именины съ гостями, безотчетная влюбчивость въ товарищей и подругъ. А тамъ вдругъ внезапная смерть матери, произведшая, правда, тяжелое впечатлѣніе на мальчика, но все-таки вполнѣ безсознательное впечатлѣніе неожиданнаго и безсмысленнаго удара слѣпаго рока. Можно себѣ представить, какъ освѣтилась бы вся дальнѣйшая жизнь ребенка, еслибы у него при этомъ событіи было хоть малѣйшее темное предчувствіе причины смерти матери, хоть бы какая-нибудь одна ея слеза или жалоба остались въ его памяти. Сколько сознанія было бы внесено тогда въ умъ ребенка видомъ лежащей въ гробу страдалицы, сколько думъ заронилось бы въ головѣ его, какъ ясно опредѣлились

бы его симпатіи и антипатіи. Это былъ бы тяжелый, страшный, но великій нравственный урокъ на всю жизнь,—но этотъ урокъ миновалъ нашего героя. Безсмысленными глазами глядѣлъ онъ на трупъ, и какъ ни велико казалось отчаяніе ребенка, оно мигомъ разсѣялось, когда схоронили мать и увезли дѣтей въ Москву, и смѣнилось рядомъ новыхъ впечатлѣній, столь-же мимолетныхъ и безслѣдныхъ.

Изолированный такимъ образомъ отъ жизни, ребенокъ былъ совершенно предоставленъ той страшной умственной и нравственной праздности, которая составляетъ удѣлъ тысячи дѣтей въ нашей интеллигентной средѣ. У мальчика возникали весьма живые вопросы, которые онъ обращалъ къ внѣшнему міру за неимѣніемъ никакихъ вопросовъ и интересовъ въ своей семьѣ.

«Когда я глядѣлъ на деревни и города, которые мы проѣзжали—говоритъ герой гр. Л. Толстаго—въ которыхъ въ каждомъ домѣ жило по крайней мѣрѣ такое-же семейство, какъ наше, на женщинъ, дѣтей, которыя съ минутнымъ любопытствомъ смотрѣли на экипажъ и навсегда исчезали изъ глазъ, на лавочниковъ, мужиковъ, которые не только не кланялись намъ, какъ я привыкъ видѣть это въ Петровскомъ, но не удостоивали насъ даже взглядомъ, мнѣ въ первый разъ пришелъ въ голову вопросъ: что же ихъ можетъ занимать, ежели они нисколько не заботятся о насъ? и изъ этого вопроса возникли другіе: какъ и чѣмъ они живутъ, какъ воспитываютъ своихъ дѣтей, учатъ-ли ихъ, пускаютъ-ли играть, какъ наказываютъ? и т. д.».

Но никто не позаботился дать никакихъ отвѣтовъ на такіе вопросы мальчика; вмѣсто этого мальчика начали забивать рутинною школьною дрессировкою, ученіемъ французскихъ и нѣмецкихъ вокабулъ, рѣкъ, городовъ и историческихъ фактовъ съ докучною хронологіею.

Такая умственная и нравственная праздность не замедлила принести свои плоды.—Умъ юноши, не находя пищи и содержанія извнѣ, бросился пожирать самого себя, углубился въ рядъ отвлеченнѣйшихъ вопросовъ и началъ строить различныя гипотезы и теоріи въ родѣ стоицизма, эпикуреизма, или же бросался въ кругъ безъисходнаго скептицизма.

«Въ продолженіи года, во время котораго я велъ уединенную, сосредоточенную въ самомъ себѣ, моральную жизнь—

говоритъ герой гр. Л. Толстаго—всѣ отвлеченные вопросы о назначеніи человѣка, о будущей жизни, о безсмертіи души уже представлялись мнѣ; и дѣтскій слабый умъ мой со всѣмъ жаромъ неопытности старался уяснить тѣ вопросы, предложеніе которыхъ составляетъ высшую степень, до которой можетъ достигать умъ человѣка, но разрѣшеніе которыхъ не дано ему...

«Изъ всего этого, тяжелаго моральнаго труда, я не вынесъ ничего, кромѣ изворотливости ума, ослабившей во мнѣ силу воли, и привычки къ постоянному моральному анализу, уничтожившей свѣжесть чувства и ясность разсудка.

«Отвлеченныя мысли образуются вслѣдствіе способности человѣка уловить сознаніемъ въ извѣстный моментъ состояніе души и перенести его въ воспоминаніе. Склонность моя къ отвлеченнымъ размышленіямъ до такой степени неестественно развила во мнѣ сознаніе, что часто, начиная думать о самой простой вещи, я впадалъ въ безвыходный кругъ анализа своихъ мыслей, я не думалъ уже о вопросѣ, занимавшемъ меня, а думалъ о томъ, о чемъ я думалъ. Спрашивая себя: о чемъ я думаю? я отвѣчалъ: я думаю, о чемъ я думаю. А теперь о чемъ я думаю? Я думаю, что я думаю, о чемъ я думаю, и такъ далѣе. Умъ за разумъ заходилъ»...

Въ нравственномъ мірѣ юноши происходило тоже стремленіе, за недостаткомъ истиннаго нравственнаго содержанія, создать содержаніе отвлеченное, фантастическое. Онъ не былъ пріученъ ни къ какому труду, успѣшное совершеніе котораго удовлетворяло бы его самолюбіе, не приносилъ никому никакого добра и пользы, которыя могли-бы доставить ему нравственное довольство. За неимѣніемъ никакого подобнаго реальнаго содержанія нравственности, онъ удовлетворялъ свое самолюбіе тѣмъ, что создавалъ себѣ всевозможные величественные идеалы, воображая себя олицетвореніемъ ихъ. Дѣйствительность часто разрушала подобныя мечты; вдругъ онъ начиналъ себя чувствовать такимъ ничтожнымъ и жалкимъ, пока не отвлекался отъ дѣйствительности и снова не уносился въ міръ своихъ фантазій.—«Я часто воображалъ себя великимъ человѣкомъ — говоритъ герой гр. Л. Толстаго, — открывающимъ для блага всего человѣчества новыя истины, и съ гордымъ сознаніемъ своего достоинства смотрѣлъ на осталь-

ныхъ смертныхъ; но странно, приходя въ столкновеніе съ этими смертными, я робѣлъ передъ каждымъ, и чѣмъ выше ставилъ себя въ собственномъ мнѣніи, тѣмъ менѣе былъ способенъ съ другими не только высказывать сознаніе собственнаго достоинства, но не могъ даже привыкнуть не стыдиться за каждое свое самое простое слово и движеніе».

Иногда эти ничѣмъ неудовлетворяемые нравственные порывы принимали религіозный характеръ подъ вліяніемъ внѣшнихъ впечатлѣній въ родѣ говѣнья. Юноша ударялся въ аскетизмъ самобичеваній и самоугрызеній и составлялъ себѣ правила жизни, мечтая сразу измѣниться и начать совершенно новую жизнь: «Нынче я исповѣдаюсь, очищаюсь отъ всѣхъ грѣховъ, думалъ онъ: и больше уже никогда не буду... (тутъ онъ припоминалъ всѣ грѣхи, которые больше всего мучили его). Буду каждое воскресенье ходить непремѣнно въ церковь, и еще послѣ цѣлый часъ читать евангеліе, потомъ изъ бѣленькой, которую я буду получать каждый мѣсяцъ, когда поступлю въ университетъ, непремѣнно два съ полтиной (одну десятую) я буду отдавать бѣднымъ, и такъ, чтобы никто не зналъ; и не нищимъ, а стану отыскивать такихъ бѣдныхъ, сироту или старушку, про которыхъ никто не знаетъ. У меня будетъ особенная комната и я буду самъ убирать ее и держать въ удивительной чистотѣ, человѣка-же ничего для себя не буду заставлять дѣлать. Вѣдь онъ такой-же, какъ и я. Потомъ буду ходить каждый день въ университетъ пѣшкомъ (а ежели мнѣ дадутъ дрожки, то продамъ ихъ и деньги эти отложу тоже на бѣдныхъ) и въ точности буду исполнять все» (что̀ было это «все», я никакъ бы не могъ сказать тогда, но я живо понималъ и чувствовалъ это «все» разумной, нравственной, безупречной жизни).

Подъ впечатлѣніемъ такихъ мыслей юноша однажды дошелъ до такого религіознаго экстаза, что ему мало показалось одинъ разъ поисповѣдаться у монаха. Поздно ночью онъ всталъ и поѣхалъ въ монастырь исповѣдаться во второй разъ, воображая въ тоже время при этомъ, что такой прекрасной души молодого человѣка никогда никто не встрѣчалъ въ жизни, да и не встрѣтитъ, даже и не бываетъ подобныхъ. Въ этомъ мѣстѣ гр. Толстой употребилъ драгоцѣнное сближеніе всей этой

сферы искусственныхъ, натянутыхъ и подогрѣтыхъ экстазовъ съ міромъ здраваго смысла простаго народа.

Юношѣ мало было внутренняго довольства самимъ собою. Ему захотѣлось подѣлиться съ кѣмъ нибудь своими ощущеніями.

«Мнѣ ужасно хотѣлось поговорить съ кѣмъ нибудь; но таккакъ никого подъ рукою не было, кромѣ извощика, я обратился къ нему.

— Что, долго я былъ? спросилъ я.

— Ничего-таки, долго, а лошадь давно кормить пора, вѣдь я ночной, отвѣчалъ старичокъ извощикъ, теперь, повидимому, съ солнышкомъ, повеселѣвшій сравнительно съ прежнимъ.

— А мнѣ показалось, что я былъ всего одну минуту, сказалъ я. — А знаешь, зачѣмъ я былъ въ монастырѣ? прибавилъ я, пересаживаясь изъ углубленія, которое было на дрожкахъ, ближе къ старичку извощику.

— Наше дѣло какое? Куда сѣдокъ скажетъ, туда и веземъ, отвѣчалъ онъ.

— Нѣтъ, все-таки, какъ ты думаешь? продолжалъ я допрашивать.

— Да, вѣрно, хоронить кого, ѣздили мѣсто покупать, сказалъ онъ.

— Нѣтъ, братецъ; а знаешь, зачѣмъ я ѣздилъ?

— Не могу знать, баринъ, повторилъ онъ.

Голосъ извощика показался мнѣ такимъ добрымъ, что я рѣшился въ назиданіе его разсказать ему причины моей поѣздки и даже чувство, которое я испытывалъ.

— Хочешь, я тебѣ разскажу? вотъ видишь-ли...

И я разсказалъ ему все и описалъ всѣ свои прекрасныя чувства. Я даже теперь краснѣю при этомъ воспоминаніи.

— Такъ-съ, сказалъ извощикъ недовѣрчиво.

И долго послѣ этого молчалъ и сидѣлъ неподвижно, только изрѣдка, поправляя полу армяка, которая все выбивалась изъ подъ его полосатой ноги, прыгавшей въ большомъ сапогѣ на подножкѣ калибера. Я уже думалъ, что и онъ думаетъ про меня тоже, что духовникъ, то-есть, что такого прекраснаго молодого человѣка, какъ я, другаго нѣтъ на свѣтѣ, но онъ вдругъ обратился ко мнѣ:

— А что, баринъ, ваше дѣло господское.

— Что? спросилъ я.

— Дѣло-то, дѣло господское, повторилъ онъ, шамкая беззубыми губами.

«Нѣтъ, онъ меня не понялъ», подумалъ я, но уже больше не говорилъ съ нимъ до самаго дома».

Вотъ вамъ одинъ изъ образчиковъ тѣхъ сближеній, которыя часто дѣлаетъ гр. Л. Толстой между искусственною жизнью отвлеченныхъ умствованій и натянутыхъ экзальтацій праздной среды и естественною, наполненною трудомъ и реальными заботами жизнью простого человѣка. Сами по себѣ подобныя умствованія, экзальтаціи, рефлексіи могутъ показаться чѣмъ-то весьма почтеннымъ, какою-то высокою работою умственнаго и нравственнаго самосовершенствованія, возвышающаго человѣка надъ всѣмъ окружающимъ міромъ. Но всѣ эти иллюзіи разомъ разрушаются въ сопоставленіи съ логикой рабочаго человѣка, и тамъ, гдѣ вы видѣли рядъ возвышенныхъ идей или героическихъ стремленій къ идеальному совершенству, передъ вами открывается безобразная пошлость праздности, эгоизма и напыщеннаго высокомѣрія. Гр. Толстой въ этомъ отношеніи не щадитъ своихъ героевъ и относится къ нимъ съ самой безжалостной ироніей, которая представляется тѣмъ злѣе, что она скрыта подъ видомъ такого, повидимому, добродушнаго, объективно-безхитростнаго разсказа. Такъ, въ одномъ мѣстѣ, гр. Толстой заставляетъ друга своего героя, Неклюдова, среди самаго разгара разговора о различныхъ возвышенныхъ предметахъ—оттаскать кулакомъ по головѣ лакея Ваську въ внезапномъ порывѣ бѣшенства, послѣ чего Неклюдовъ спѣшитъ загладить свой поступокъ долгою и жаркою молитвою и вечеръ кончается слѣдующими восклицаніями друзей:

— Отлично жить на свѣтѣ? сказалъ я.

«Отлично жить на свѣтѣ, отвѣчалъ онъ такимъ голосомъ, что я въ темнотѣ, казалось, видѣлъ выраженіе его веселыхъ, ласкающихся глазъ и дѣтской улыбки».

Религіозная экзальтація овладѣваетъ не одними людьми, подобными герою гр. Л. Толстаго; ее могутъ испытывать люди различныхъ слоевъ общества. Но у людей, у которыхъ жизнь полна реальнаго содержанія, религіозная экзальтація тѣсно соединяется съ различными существенными вопросами жизни, принимаетъ дѣятельный характеръ и составляетъ одинъ изъ

періодовъ ихъ развитія, оставляющій свои глубокіе слѣды на всю ихъ жизнь, какъ бы потомъ ни измѣнялись убѣжденія человѣка. Но мы говорили уже, что жизнь героя гр. Л. Толстаго, лишенная всякаго содержанія, представляла одинъ безконечный рядъ мимолетныхъ впечатлѣній, случайно возникавшихъ и такъ же случайно исчезавшихъ. Однимъ изъ такихъ впечатлѣній, навѣяннымъ говѣніемъ, былъ и тотъ религіозный экстазъ, кокоторый съ такою же быстротою исчезъ послѣ говѣнья, съ какою возникъ и не оставилъ послѣ себя ни малѣйшаго слѣда въ молодомъ человѣкѣ. Прошло говѣнье—и разсѣялись всѣ аскетическія грезы, забыта рѣшимость продать дрожки и раздѣваться безъ помощи человѣка, тетрадь правилъ жизни куда-то исчезла,—и что̀ же осталось? Осталось только то, что̀ безсознательно навѣвалось окружающею юношу жизнью: преждевременное развитіе чувственности, какъ прямой результатъ умственной и нравственной праздности: мальчикъ чуть что не 12 или 13 лѣтъ — по цѣлымъ часамъ заглядывался въ щолочку дѣвичей, заигрывалъ съ горничными, а впослѣдствіи влюблялся въ каждую встрѣченную дѣвицу не живымъ и непосредственнымъ чувствомъ, а по программамъ читаемыхъ романовъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, всѣ прежніе умственные и нравственные идеалы смѣнились мало-по-малу сознаніемъ превосходства своей среды, раздѣленіемъ людей на comme il faut и mauvais genre и стремленіемъ во что бы то ни стало возвыситься до идеала comme il faut.

«Мое любимое и главное подраздѣленіе людей — говоритъ герой гр. Л. Толстаго—въ то время, о которомъ я пишу, было на людей comme il faut и на comme il ne faut pas. Второй родъ подраздѣлялся еще на людей собственно не comme il faut pas и простой народъ. Людей comme il faut я уважалъ и считалъ достойными имѣть со мной равныя отношенія; вторыхъ— притворялся, что презираю, но въ сущности ненавидѣлъ ихъ, питая къ нимъ какое-то оскорбленное чувство личности; третьи для меня не существовали — я ихъ презиралъ совершенно. Мое comme il faut состояло, первое и главное, въ отличномъ французскомъ языкѣ и особенно въ выговорѣ. Человѣкъ, дурно выговаривавшій по французски, тотчасъ же возбуждалъ во мнѣ чувство ненависти. «Для чего ты хочешь говорить какъ мы, когда не умѣешь?» съ ядовитой усмѣшкой спрашивалъ я его

мысленно. Второе условіе comme il faut были ногти длинные, отчищенные и чистые; третье было умѣнье кланяться, танцовать и разговаривать; четвертое, и очень важное, было равнодушіе ко всему и постоянное выраженіе нѣкоторой изящной, презрительной скуки. Кромѣ того, у меня были общіе признаки, по которымъ я, не говоря съ человѣкомъ, рѣшалъ, къ какому разряду онъ принадлежитъ. Главнымъ изъ этихъ признаковъ, кромѣ убранства комнаты, перчатокъ, почерка, экипажа, были ноги. Отношеніе сапогъ къ панталонамъ тотчасъ рѣшало въ моихъ глазахъ положеніе человѣка. Сапоги безъ каблука съ угловатымъ носкомъ, а концы панталонъ узкіе, безъ штрипокъ— этотъ былъ *простой*; сапогъ съ узкимъ круглымъ носкомъ и каблукомъ и панталоны узкіе, внизу со штрипками, облегающіе ногу, или широкія со штрипками, какъ балдахинъ стоящіе подъ носкомъ—это былъ человѣкъ mauvais genre и т. п.»

Создавши такой внѣшній, условный идеалъ, юношѣ ничего уже не стоило пренебрегать всѣми нравственными правилами, лишь бы казаться ближе къ своему идеалу comme il faut'наго человѣка. Такъ за чаемъ у Неклюдова онъ не стыдится лгать самымъ нахальнымъ образомъ, тщеславно хвастаясь родственными богатствами ради того, чтобы возвыситься въ глазахъ знакомыхъ.

«Когда зашелъ разговоръ о дачахъ — говоритъ онъ, — я вдругъ разсказалъ, что у князя Ивана Ивановича есть такая дача около Москвы, что на нее пріѣзжали смотрѣть изъ Лондона и изъ Парижа, что тамъ есть рѣшетка, которая стоитъ триста восемьдесятъ тысячъ, и что князь Иванъ Ивановичъ мнѣ очень близкій родственникъ, и я нынче у него обѣдалъ, и онъ звалъ меня непремѣнно пріѣхать къ нему на дачу жить съ нимъ цѣлое лѣто, но что я отказался, потому что знаю хорошо эту дачу, нѣсколько разъ бывалъ на ней, и что всѣ эти рѣшотки и мосты для меня нисколько не занимательны, потому что я терпѣть не могу роскоши, особенно въ деревнѣ; я люблю, чтобы въ деревнѣ уже было совсѣмъ, какъ въ деревнѣ»...

Такъ изъ нашего героя создавался обыденный хлыщъ, какихъ много можно встрѣтить ежедневно въ три часа на Невскомъ проспектѣ; но вотъ пришлось этому хлыщу сѣсть по волѣ папеньки на университетскую скамейку, и онъ попалъ

совершенно въ иную сферу жизни, не имѣющую ничего общаго съ тою, которой былъ окруженъ до того времени...

Здѣсь гр. Толстой дѣлаетъ нѣсколько очерковъ бѣдныхъ студентовъ, въ средѣ которыхъ очутился нашъ герой. Очерки эти намѣчены самыми крупными чертами, безъ особенной художественной отдѣлки и деталей; между тѣмъ, мы не знаемъ въ нашей литературѣ другаго, въ такой же степени характеристическаго изображенія бѣдняковъ-студентовъ, исполненнаго столь искренняго сочувствія къ трудящемуся юношеству, безъ малѣйшей въ то же время идеализаціи его.

Ничтожество и пошлость героя ярко рисуется передъ вами въ различныхъ столкновеніяхъ его съ учащейся молодёжью. Сначала онъ пробуетъ относиться къ ней высокомѣрно, какъ подобаетъ человѣку comme il-faut относиться къ mauvais genre. Но огорошенный нѣсколько разъ людьми, въ которыхъ не встрѣчаетъ ни малѣйшаго желанія смотрѣть на него, какъ на высшее существо, онъ смиряется. Долгое время дичится товарищей, снося тоскливое одиночество. Наконецъ, мало-по-малу, сближается съ ними, втягивается въ ихъ кружокъ и начинаетъ открывать въ нихъ такія достоинства, которыхъ онъ и не подозрѣвалъ съ своей comme il faut-ной точки зрѣнія:

«Съ каждымъ днемъ я больше и больше извинялъ непорядочность этого кружка, втягиваясь въ ихъ бытъ и находя въ немъ много поэтическаго. Только одно честное слово, данное мною Дмитрію, не ѣздить никуда кутить съ ними, удержало меня отъ желанія раздѣлять ихъ удовольствія.

«Разъ я хотѣлъ похвастаться передъ ними своими знаніями въ литературѣ, въ особенности французской, и завелъ разговоръ на эту тему. Къ удивленію моему, оказалось, что, хотя они выговаривали иностранныя заглавія по русски, они читали гораздо больше меня, знали, цѣнили англійскихъ и даже испанскихъ писателей, Лесажа, про которыхъ я даже и не слыхивалъ. Пушкинъ и Жуковскій были для нихъ литература (а не такъ, какъ для меня, книжки въ желтомъ переплетѣ, которыя я читалъ и училъ ребенкомъ). Они презирали равно Дюма, Сю и Феваля и судили, въ особенности Зухинъ, гораздо лучше и яснѣе о литературѣ, чѣмъ я, въ чемъ я не могъ не сознаться.

«Въ знаніи музыки я тоже не имѣлъ передъ ними никакого преимущества. Еще къ большему удивленію моему, Оперовъ игралъ на скрипкѣ, другой изъ занимавшихся съ нами студентовъ игралъ на віолончели и фортепьяно, и оба играли въ университетскомъ оркестрѣ, порядочно знали музыку и цѣнили хорошую. Однимъ словомъ, все, чѣмъ я хотѣлъ похвастаться передъ ними, исключая выговора французскаго и нѣмецкаго языковъ, они знали лучше меня и нисколько не гордились этимъ. Могъ-бы я похвастаться въ моемъ положеніи свѣтскостью, но я ея не имѣлъ, какъ Володя;—такъ что-же такое было та высота, съ которой я смотрѣлъ на нихъ? Мое знакомство съ княземъ Иваномъ Ивановичемъ? Выговоръ французскаго языка? дрожки? голландская рубашка? ногти? Да ужъ не вздоръ-ли все это? начинало мнѣ глухо приходить иногда въ голову, подъ вліяніемъ чувства зависти къ товариществу и добродушному молодому веселью, которое я видѣлъ передъ собою. Они всѣ были на ты. Простота ихъ обращенія доходила до грубости, но и подъ этой грубой внѣшностью былъ видимъ страхъ хоть чуть-чуть оскорбить другъ друга. *Подлецъ*, *свинья*, употребляемые ими въ ласкательномъ смыслѣ, только коробили меня и мнѣ подавали поводъ къ внутреннему подсмѣиванью, но эти слова не оскорбляли ихъ и не мѣшали имъ быть между собою на самой искренней дружеской ногѣ. Въ обращеніи между собою они были такъ осторожны и деликатны, какъ только бываютъ очень бѣдные и очень молодые люди. Главное-же, что-то широкое, разгульное чуялось мнѣ въ этомъ характерѣ Зухина и его похожденіяхъ въ Лиссабонѣ. Я предчувствовалъ, что эти кутежи должны были быть что-то совсѣмъ другое, чѣмъ то̀ притворство съ зажжоннымъ ромомъ и шампанскимъ, въ которомъ я участвовалъ у барона З.».

Такое сближеніе съ новымъ кругомъ людей должно было раньше или позже произвести переворотъ въ нашемъ героѣ.— Къ сожалѣнію, гр. Л. Толстой остановился въ своей повѣсти «Юность» на началѣ этого переворота, и оставилъ повѣсть неконченною, ограничившись невыполненнымъ до сихъ поръ обѣщаніемъ разсказать дальнѣйшую исторію героя въ «слѣдующей, болѣе счастливой половинѣ его юности».

Впрочемъ, и не имѣя подъ руками такого разсказа, можно предвидѣть, что̀ потомъ сталось съ героемъ. Университетъ отор-

валъ его отъ родной почвы фатовства и comme il faut'ства: онъ внушилъ ему рядъ разумныхъ идей и стремленій, но не могъ влить въ его жилы новую кровь и пересоздать его нервы, не могъ замѣнить того здороваго воспитанія, котораго недоставало юношѣ въ дѣтствѣ. Не принимая до того времени никакого участія въ реальной жизни окружающихъ его людей труда и борьбы, не зная что это за люди, онъ вошелъ въ эту жизнь и въ кругъ этихъ людей совершенно постороннимъ и даже ненавистнымъ человѣкомъ, съ рядомъ отвлеченныхъ мечтаній, не имѣющихъ съ этою жизнью ничего общаго — а что изъ этого вышло, это мы увидимъ на дѣйствующихъ лицахъ другихъ повѣстей гр. Л. Толстаго, героевъ, совершенно подобныхъ тому, какого мы встрѣтили въ разобранномъ произведеніи.

IV.

За произведеніями «Дѣтство», «Отрочество» и «Юность» слѣдуетъ повѣсть «Утро помѣщика», представляющая первый шагъ въ жизни безхарактернаго героя. И въ этомъ уже первомъ шагѣ герой представляется передъ вами во всей своей несостоятельности, причемъ вы видите, что эта несостоятельность зависитъ не отъ одной только нравственной распущенности, надломленности и апатіи героя, но отъ ненормальности всѣхъ условій его жизни и отношеній къ другимъ людямъ, такой страшной ненормальности, что даже самыя почтенныя и энергическія усилія приносить пользу людямъ, разливать вокругъ себя добро парализируются сами собою, — и это еще самое лучшее, когда они только парализируются: при настойчивости подобныхъ усилій, дѣятельность, основанная на началахъ гуманности и терпимости, превращается въ попраніе всѣхъ человѣческихъ правъ и вмѣсто добра и пользы результатами выходятъ вредъ и зло. Когда вы созерцаете типы въ родѣ Тентетникова и Обломова, вы можете подумать, что все несчастіе этихъ людей зависитъ отъ ихъ изнѣженности и дряблости, плодовъ дурнаго воспитанія и избалованности жизнію, и что будь воспитаніе ихъ иное, проживи они хоть нѣсколько

лѣтъ подъ вліяніемъ обстоятельствъ жизни, закаляющихъ характеръ, они могли бы, еслибы захотѣли, что-нибудь сдѣлать на своемъ мѣстѣ и въ своемъ положеніи. Гр. Толстой окончательно разочаровываетъ васъ въ подобныхъ предположеніяхъ. Своимъ безпощаднымъ анализомъ онъ доказываетъ вамъ, что герои его безсильны сдѣлать что либо полезное ближнимъ не вслѣдствіе одной только своей безхарактерности, а вслѣдствіе самаго своего положенія.

Въ самомъ дѣлѣ, пора понять и признать, что истинныя и положительныя добро и польза заключаются единственно и исключительно въ результатахъ производительнаго труда. Всякое другое добро или случайно, минутно и обусловлено для своего проявленія существованіемъ зла въ родѣ, напримѣръ, спасенія утопающаго, или же мнимо и эфемерно и очень часто подъ личиною добра заключаетъ въ себѣ рядъ возмутительнѣйшихъ золъ и несправедливостей.

Точно также и прогрессъ для того, чтобы быть истиннымъ, естественнымъ и прочнымъ прогрессомъ, долженъ исходить изъ труда и корениться на немъ. Всякій иной прогрессъ ложенъ, эфемеренъ и крайне ненадеженъ.

Представьте себѣ, что у меня есть маленькое хозяйство, которое составляетъ единственный источникъ моего существованія. Я тружусь, и земля такъ вознаграждаетъ мой трудъ, что я не только обезпеченъ въ необходимомъ, но у меня отъ каждаго года остается избытокъ. Этотъ избытокъ и есть залогъ какъ моего личнаго прогресса, такъ и прогресса всего человѣчества. Избыткомъ этимъ только и могутъ обусловливаться съ одной стороны пріобрѣтеніе средствъ для улучшенія хозяйства, съ другой — существованіе досуга для умственнаго развитія.—При такихъ условіяхъ прогрессъ долженъ возростать въ геометрической прогрессіи, такъ какъ всѣ элементы его, дѣйствуя взаимно другъ на друга, составляютъ особенный прогрессивный кругъ: избытокъ улучшаетъ хозяйство, улучшенное хозяйство даетъ еще бо́льшій избытокъ, умственное развитіе, пріобрѣтенное въ часы досуга—въ свою очередь дѣйствуетъ и на улучшеніе хозяйства, и на увеличеніе избытка, а послѣдній доставляетъ все бо́льшія и бо́льшія средства для умственнаго развитія.—При такомъ правильномъ теченіи прогресса, если по прошествіи X времени мои бѣдныя хижины замѣнятся дворцами, жалкія

патріархальныя орудія — паровыми машинами, знахари — искусными медиками и пр. и пр., всѣ подобные плоды прогресса явятся зрѣлыми плодами, возрощенными на родной почвѣ; въ то же время люди, которые будутъ пользоваться всѣмъ этимъ, будутъ стоять въ уровнѣ такого прогресса: они сами его произвели и сами сознательно, какъ свое добро, будутъ сохранять его и заботиться объ его возростаніи. Въ этомъ и заключается естественность и прочность прогресса, свободно возростающаго изъ нѣдръ труда.

Но представьте себѣ, что у васъ есть другъ, который, предположимъ даже, изъ самыхъ честныхъ и безкорыстныхъ видовъ, станетъ отбирать отъ васъ ежегодно весь избытокъ вашего хозяйства и класть его въ банкъ, на томъ основаніи, что вы въ его глазахъ человѣкъ безпечный и расточительный и что гораздо благоразумнѣе, если капиталъ будетъ накапливаться лежа въ банкѣ, чѣмъ станетъ расточаться въ вашихъ рукахъ. — Принявши на себя такую заботливость о вашемъ благосостояніи, пріятель вашъ, въ вознагражденіе за свои труды, присвоиваетъ себѣ пользованіе процентами съ вашего капитала, накапливающагося въ банкѣ. Что произойдетъ вслѣдствіе этого? Естественно, что по прошествіи того же X времени ваше хозяйство, не улучшаемое избытками, должно остаться совершенно въ такомъ же положеніи, какъ и въ первый годъ вашего труда, и сами вы нисколько не подвинетесь въ умственномъ развитіи. Но этого мало, что хозяйство ваше нисколько не улучшится; оно навѣрное разстроится, потому что не только для улучшенія, но и для сохраненія хозяйства въ одномъ положеніи необходима извѣстная доля избытка. При такихъ усдовіяхъ вмѣсто прогрессивнаго круга долженъ совершиться такой же кругъ регрессивный. По мѣрѣ истощенія хозяйства, у васъ будетъ все меньше и меньше становиться досуга для умственнаго развитія; вы будете употреблять всѣ силы, все время, чтобы натянуть, во что бы ни стало, сумму, которую вы обязались доставлять другу для внесенія въ банкъ. Въ этихъ усиліяхъ, вмѣсто того, чтобы развиваться, вы будете тупѣть и грубѣть; а ваше отупѣніе въ свою очередь отзовется на еще большемъ разстройствѣ хозяйства; наконецъ всеобщій упадокъ можетъ дойти до того, что вы не въ силахъ уже будете удѣлять вашему пріятелю никакого избытка отъ вашего

хозяйства, и если вашъ другъ будетъ продолжать требовать уплаты такихъ же суммъ, вы будете принуждены платить ихъ самимъ имуществомъ.

Но что́ же въ этотъ самый X времени произойдетъ съ вашимъ пріятелемъ? Живя на проценты съ вашего капитала, онъ все время имѣлъ безграничный досугъ и слѣдовательно полнѣйшую возможность умственнаго развитія. Онъ и явится передъ вами по прошествіи X времени человѣкомъ въ высшей степени развитымъ, передовымъ свѣтиломъ своего времени. Въ головѣ его будутъ вмѣщаться всѣ современныя идеи, до которыхъ додумалось человѣчество, онъ будетъ говорить на нѣсколькихъ языкахъ, будетъ знать все, что́ дѣлается на земномъ шарѣ, въ нѣдрахъ его и въ небесныхъ сферахъ, будетъ судить о томъ, какое правленіе болѣе или менѣе способствуетъ прогрессу, въ какомъ положеніи должна находиться женщина въ семействѣ и государствѣ, какое воспитаніе лучше — классическое или реальное и пр. и пр. Однимъ словомъ, это будетъ прогрессистъ въ полномъ смыслѣ этого слова, но весь этотъ прогрессъ будетъ сосредоточиваться исключительно въ головѣ вашего пріятеля, и вамъ отъ него не будетъ ни теплѣе, ни сытнѣе. Это не прогрессъ дѣйствительный, осуществленный, а только одно отвлеченное представленіе его, радужныя гаданія о немъ. Въ самомъ дѣлѣ: что́ толку, что въ головѣ вашего пріятеля сидитъ великолѣпный отель на манеръ американскихъ, когда не только вы, но и этотъ блестящій прогрессистъ должны довольствоваться въ дѣйствительности грязненькою харчевнею, и въ то же время вы знаете, что еслибы вашъ пріятель взялся бы за построеніе американскаго отеля, онъ все-таки ничего не произвелъ бы кромѣ той же грязной харчевни, потому что ни онъ, ни тѣмъ менѣе окружающіе его люди не имѣютъ ни малѣйшихъ приспособленій, навыка, сноровки, средствъ, для созданія такихъ отелей, которые устроиваютъ американцы.

Предположимъ теперь, что вашъ прогрессивный пріятель, неожиданно, какъ снѣгъ на голову, является въ среду вашей безпомощной нищеты и, сострадая къ вашему бѣдственному положенію, рѣшается мало того, что помочь вамъ, а сразу возвысить васъ на высоту самаго блестящаго прогресса. Положимъ, что для этого онъ готовъ пожертвовать всѣмъ капи-

таломъ, накопившимся въ теченіе многихъ и многихъ лѣтъ отъ вашихъ избытковъ. Капиталъ этотъ такъ великъ, что, затративъ его, онъ можетъ разомъ завести въ вашемъ хозяйствѣ всѣ тѣ улучшенія, которыя возникли бы сами собою въ теченіе того времени, въ которое вы отдавали ему свои избытки. Прекрасно, онъ можетъ возвратить вамъ все, что́ онъ взялъ у васъ, но какъ возвратитъ онъ вамъ потерянное время, въ которое вы могли бы умственно развиться до возможности пользоваться всѣми предлагаемыми вамъ благами, а вы между тѣмъ не развились, потому что этого времени не имѣли? Какъ сразу поставитъ онъ васъ на ту высоту, чтобы вы могли не только пользоваться, но имѣть хоть малѣйшій толкъ въ томъ, чѣмъ предлагаютъ вамъ пользоваться. Что толку, что вашъ пріятель окружитъ васъ паровыми машинами, когда вы не имѣете ни малѣйшаго понятія о нихъ, ни навыка владѣть ими, да и самъ вашъ пріятель не лучше васъ знаетъ, какъ съ ними обращаться, имѣя одни отвлеченныя соображенія въ головѣ объ ихъ преимуществѣ. Мы говорили выше, что по прошествіи X времени, у васъ могъ быть выстроенъ дворецъ; положимъ, что и пріятель захочетъ выстроить вамъ тотъ же дворецъ; но при этомъ надо взять въ соображеніе то, что при естественномъ развитіи прогресса, этотъ дворецъ вамъ было бы выстроить чрезвычайно легко, потому что вы, конечно, тогда только занялись бы постройкою его, когда прогрессъ успѣлъ бы уже выработать въ вашемъ околоткѣ кирпичные заводы и каменьщиковъ. Но въ настоящемъ случаѣ ничего этого въ наличности не имѣется, а имѣетесь только вы съ развалившеюся избенкою и умѣньемъ сколотить кое-какъ изъ бревенъ патріархальный шалашикъ. Да наконецъ, что́ бы стали дѣлать вы во вновь выстроенномъ дворцѣ, когда у васъ нѣтъ ни навыка, ни потребности жить въ десяти огромныхъ комнатахъ, ни мебели, необходимой для этого; понятно, что вамъ покажется неуютно, нехозяйственно, жутко въ пустыхъ огромныхъ сараяхъ, и вы предпочтете вашу развалившуюся избушку великолѣпному дворцу вашего пріятеля. Наконецъ надо обратить вниманіе и на то обстоятельство, что какъ ни мизерна жизнь ваша, а въ ней успѣли уже образоваться свои привычки, примѣненія, склонности, залоги будущаго естественнаго прогресса, если бы предоставили ему свободное развитіе. У васъ, напримѣръ, раз-

вита страсть къ пчеловодству, или условія мѣстности склоняютъ васъ къ воздѣлыванію льна, винокуренію, лѣснымъ промысламъ. На этихъ производствахъ было бы всего естественнѣе вамъ прогрессировать; между тѣмъ пріятель вашъ вдругъ устроиваетъ ни съ того, ни съ сего для васъ огромный свеклосахарный заводъ, или склоняетъ васъ вступить въ иное коммерческое предпріятіе широкихъ размѣровъ. Очень понятно, что вы откажетесь и отъ подобныхъ предложеній вашего пріятеля, такъ-какъ они идутъ противъ вашихъ склонностей, отвлекаютъ васъ отъ привычнаго, любимаго труда къ чуждому и незнакомому вамъ и къ которому вы вдобавокъ не имѣете ни малѣйшей подготовки. Что́ же останется дѣлать вашему пріятелю? Или идти по пути Угрюмъ-Бурчеева, то-есть силою устроивать вашъ бытъ по своему усмотрѣнію, перевернуть все кверху домъ въ вашей жизни и въ концѣ концовъ привести васъ къ окончательному раззоренію и отвращенію отъ подобнаго насильственнаго прогресса, или начать устроивать прогрессъ на европейскій ладъ посредствомъ выписываемыхъ для этого нѣмцевъ, махнувши на васъ рукою и заставивши васъ оплачивать эти затѣи, хотя вы и не принимали въ нихъ ни малѣйшаго участія.

Но есть еще третій путь, повидимому самый разумный и естественный: вашъ пріятель можетъ вмѣсто того, чтобы пытаться сразу поставить васъ на вершину европейскаго прогресса, дѣлать это исподоволь и постепенно, приглядѣться къ вашей жизни, принять въ соображеніе условія вашего быта, ваши склонности и привычки, и начать дѣлать улучшенія въ вашей жизни съ мелочей, хоть съ того, напримѣръ, что покрыть тесомъ ваши избы, развалившіяся возобновить, увеличить количество вашего скота и пр. Но и этотъ путь не замедлитъ оказаться столь же искусственнымъ, ложнымъ, а потому и ни къ чему не приводящимъ. Неизмѣримая разница существуетъ между тѣмъ, улучшаете ли вы свой бытъ сами, самостоятельно, избытками вашего труда, или какой-нибудь близкій вамъ человѣкъ, считая васъ вѣчно несовершеннолѣтнимъ принимаетъ на себя заботу объ улучшеніи вашей участи. Только при самостоятельномъ улучшеніи своего быта возможно развитіе той мужественной энергіи, которая составляетъ необходимое условіе всякаго прогресса. Между тѣмъ всякая

посторонняя опека, привычка видѣть надъ собою щедрую руку, которая все для тебя сдѣлаетъ, что̀ ни пожелаешь, все въ твоемъ хозяйствѣ сейчасъ же исправитъ, приведетъ въ порядокъ и заштопаетъ каждую прорѣху — все это прямо ведетъ къ апатіи, застою и деморализаціи. При такихъ условіяхъ нечего и думать о прогрессѣ. Это смерть и растлѣніе.

Но что̀ же тогда дѣлать вашему пріятелю? Отвѣтъ на этотъ вопросъ весьма простъ и незамысловатъ. Вы хотите, чтобы окружающіе васъ люди были счастливы: предоставьте же ихъ самимъ себѣ, ничего имъ даромъ не давайте, но ничего отъ нихъ и не берите даромъ, и они сами съумѣютъ устроить свою судьбу, на томъ простомъ основаніи, что и рыба ищетъ гдѣ глубже. Вы хотите, чтобы люди развивались,—не торопитесь же принимать на себя роли ихъ развивателей, развѣ они сами обратятся къ вамъ. Европа не думала о развитіи Россіи, русскіе сами пошли учиться у Европы; въ то время какъ всѣ цивилизаторскія стремленія Австріи въ славянскихъ земляхъ возбуждаютъ въ славянахъ только оппозицію народныхъ инстинктовъ, препятствующихъ естественному теченію прогресса.

Вотъ до этой-то простой истины и не могутъ никакъ додуматься герои гр. Толстаго. Они постоянно мечтаютъ о томъ, какъ бы разсѣять вокругъ себя всевозможный прогрессъ, не замѣчая того, что сами они продолжаютъ стоять на такой почвѣ, которая обусловливаетъ собою полную невозможность прогресса, допуская одинъ призракъ его, очень часто весьма ослѣпительный для глазъ, но все-таки пустой и холодный!

Такимъ героемъ является, между прочимъ, Нехлюдовъ въ повѣсти «Утро помѣщика». Здѣсь вы встрѣчаетесь не съ лѣнью, апатіей, изнѣженностью и прочими обломовскими качествами, присущими нашей интеллигенціи. Напротивъ того, передъ вами та молодая, пылкая энергія, какую только возможно бываетъ встрѣтить въ 19-лѣтнемъ юношѣ, къ тому еще студентѣ. Не кончивъ еще курса въ университетѣ, проведя лѣто въ деревнѣ, Нехлюдовъ до такой степени увлекся мыслью о устроеніи быта крестьянъ, что рѣшился тотчасъ же оставить университетъ, столицу, прекратить всѣ прежнія связи, и всю жизнь посвятить благу принадлежащихъ ему мужиковъ.

«Онъ видѣлъ передъ собою, читаемъ мы въ повѣсти: огромное поприще для цѣлой жизни, которую онъ посвятитъ на добро, и въ которой слѣдовательно будетъ счастливъ. Ему не надо искать сферы дѣятельности: она готова, у него есть прямая обязанность—у него есть крестьяне... И какой отрадный и благодарный трудъ представляется ему — «дѣйствовать на этотъ простой, воспріимчивый, неиспорченный классъ народа, избавить его отъ бѣдности, дать довольство, передать имъ образованіе, которымъ по счастью я пользуюсь, исправить ихъ пороки, порожденные невѣжествомъ и суевѣріемъ, развить ихъ нравственность, заставить полюбить добро... Какая блестящая, счастливая будущность! И за все это я, который буду дѣлать это для собственнаго счастія, я буду наслаждаться благодарностью ихъ, буду видѣть, какъ съ каждымъ днемъ я дальше и дальше иду къ предположенной цѣли. Чудная будущность! Какъ могъ я прежде не видѣть этого?»

«И кромѣ этого, въ то же время думалъ онъ: кто мнѣ мѣшаетъ самому быть счастливымъ въ любви къ женщинѣ, въ счастьѣ семейной жизни? И юное воображеніе рисовало ему еще болѣе обворожительную будущность. «Я и жена, которую я люблю такъ, какъ никто, никогда, никого не любилъ на свѣтѣ, мы всегда живемъ среди этой спокойной, поэтической деревенской природы, съ дѣтьми, можетъ быть съ старухой теткой: у насъ есть наша взаимная любовь, любовь къ дѣтямъ, и мы оба знаемъ, что наше назначеніе—добро. Мы помогаемъ другъ другу идти къ этой цѣли. Я дѣлаю общія распоряженія, даю общія, справедливыя пособія, завожу фермы, сберегательныя кассы, мастерскія; а она, съ своей хорошенькой головкой, въ простомъ, бѣломъ платьѣ, поднимая его надъ стройной ножкой, идетъ по грязи въ крестьянскую школу, въ лазаретъ, къ несчастному мужику, по справедливости, незаслуживающему помощи, и вездѣ утѣшаетъ, помогаетъ... Дѣти, старики, бабы обожаютъ ее и смотрятъ на нее, какъ на какого-то ангела, на Провидѣніе. Потомъ она возвращается и скрываетъ отъ меня, что ходила къ несчастному мужику и дала ему денегъ, но я все знаю и крѣпко обнимаю ее, и крѣпко и нѣжно цѣлую ея прелестные глаза, стыдливо-краснѣющія щеки и улыбающіяся румяныя губы»...

Исполненный подобныхъ юныхъ грезъ, Нехлюдовъ, оставшись въ деревнѣ, энергически принялся за хозяйство, составилъ правила дѣйствій, всю жизнь и занятія свои распредѣливъ по часамъ, днямъ и мѣсяцамъ, причемъ воскресенья были у него назначены для пріема посѣтителей, дворовыхъ и мужиковъ, для обхода хозяйства бѣдныхъ крестьянъ и для поданія имъ помощи съ согласія міра, который собирался вечеромъ каждое воскресенье и долженъ былъ рѣшать, кому и какую помощь нужно было оказывать. Въ такихъ занятіяхъ прошло болѣе года, и этого года было вполнѣ достаточно, чтобы разочаровать Нехлюдова во всей дѣятельности, во всѣхъ его замыслахъ и мечтахъ.

Въ своихъ отношеніяхъ къ мужикамъ онъ постоянно встрѣчалъ два рода явленій: исполненный недовѣрія отпоръ противъ всѣхъ его плановъ и предложеній относительно тѣхъ или другихъ мѣръ къ улучшенію быта мужиковъ. Это былъ отпоръ жизни, желавшей устроиться, худо-ли, хорошо-ли, но по-своему и течь по тѣмъ русламъ, какія удалось уже ей самой проложить, а не по направленіямъ, измышленнымъ праздною фантазіею барина. А гдѣ онъ не встрѣчалъ такого отпора, тамъ онъ находилъ полную деморализацію, нагло въ глаза издѣвавшуюся надъ нимъ и дѣлавшуюся тѣмъ распущеннѣе и нахальнѣе, чѣмъ болѣе онъ прилагалъ заботъ объ ея исправленіи. Въ представленномъ въ повѣсти воскресномъ утрѣ Нехлюдова, мы встрѣчаемъ нѣсколько явленій того и другаго рода.

Такъ, между прочимъ, Нехлюдовъ на своей новой фермѣ построилъ нѣсколько герардовскихъ каменныхъ избъ, думая перевести туда лучшихъ своихъ крестьянъ. Вотъ онъ приходитъ на дворъ къ крестьянину Чурисенки съ предложеніемъ подобнаго переселенія. Печальное зрѣлище крайней нищеты встрѣчаетъ онъ во дворѣ Чурисенки. Изба, клѣти, амбары—представляютъ раззалины, готовыя ежеминутно рухнуть. И между тѣмъ этотъ Чурисенко ни разу не обратился къ нему съ просьбою о помощи, тогда какъ Нехлюдовъ никогда не отказывалъ мужикамъ, и только того добивался, чтобы всѣ прямо приходили къ нему за своими нуждами. Нехлюдовъ почувствовалъ досаду, боль и даже нѣкоторое озлобленіе на мужика за такое невниманіе со стороны послѣдняго къ его гуманности. Здѣсь подъ гуманностью выступаетъ порядочная

доля безчеловѣчнаго высокомѣрія: Нехлюдовъ не могъ поставить себя на мѣстѣ мужика и полагалъ, что если онъ въ себѣ, въ своемъ родственникѣ или другѣ цѣнилъ гордость, не любящую обязываться, просить, кланяться, то тѣмъ болѣе онъ долженъ былъ бы оцѣнить такія качества въ крестьянинѣ. Несмотря на всю гуманность, логика его продолжала въ этомъ отношеніи двоиться, и то самое, что̀ уважалъ онъ въ лицахъ своей среды, не нравилось ему въ мужикахъ. Мы видѣли выше, что при мысли о мужикахъ онъ не иначе представлялъ ихъ себѣ, какъ умиляющимися при видѣ его благодѣяній и возсылающими къ нему горячія благодаренія. Понятно, не могъ онъ оцѣнить и слѣдующихъ простыхъ, но исполненныхъ глубокаго человѣческаго достоинства словъ Чурисенки:

— Не все-же на барскій дворъ ходить! Коли нашему брату повадку дать къ вашему сіятельству за всякимъ добромъ на барскій дворъ кланяться, какіе мы крестьяне будемъ?

Не обративши вниманія на эти слова и не желая понять, что передъ нимъ стоитъ человѣкъ, вовсе не желающій принимать отъ него какихъ либо благодѣяній, Нехлюдовъ приступилъ таки къ Чурисенку съ предложеніемъ переселиться въ герардовскую избу, и встрѣтилъ еще болѣе рѣшительный отпоръ.

«Нехлюдовъ сталъ-было доказывать мужику, читаемъ мы въ повѣсти: что переселеніе, напротивъ, очень выгодно для него, что плетни и сараи тамъ построятъ, что вода тамъ хорошая, и т. д., но глупое молчаніе Чуриса смущало его, и онъ почему-то чувствовалъ, что говоритъ не такъ, какъ бы слѣдовало. Чурисенокъ не возражалъ ему; но когда баринъ замолчалъ, онъ, слегка улыбнувшись, замѣтилъ, что лучше-бы всего было поселить на этомъ хуторѣ стариковъ дворовыхъ и Алешу дурачка, чтобы они тамъ хлѣбъ караулили.

— Вотъ бы важно-то было! замѣтилъ онъ, и снова усмѣхнулся.—Пустое это дѣло, ваше сіятельство!

— Да что-жъ что мѣсто нежилое? терпѣливо настаивалъ Нехлюдовъ:—вѣдь и здѣсь когда-то мѣсто было нежилое, а вотъ живутъ-же люди; и тамъ, вотъ: ты только первый поселись съ легкой руки... Ты непремѣнно поселись.

— И, батюшка, ваше сіятельство, какъ можно сличить! съ живостью отвѣчалъ Чурисъ, какъ будто испугавшись, чтобъ баринъ не принялъ окончательнаго рѣшенія:—здѣсь на міру

мѣсто, мѣсто веселое, обычное: и дорога и прудъ тебѣ, бѣлье что-ли бабѣ стирать, скотину-ли поить—и все наше заведеніе мужицкое, тутъ искони-заведенное, и гумно, и огородники, и ветлы,—вотъ, что мои родители садили; и дѣдъ, и батюшка наши здѣсь Богу душу отдали и мнѣ только-бы вѣкъ тутъ свой кончить, ваше сіятельство, больше ничего не прошу. Буде милость твоя избу поправить—много довольны вашей милостью останемся; а нѣтъ, такъ и въ старенькой свой вѣкъ какъ нибудь доживемъ. Заставь вѣкъ Бога молить, продолжалъ онъ, низко кланяясь: — не сгоняй ты насъ съ гнѣзда нашего, батюшка!..

Что̀ было дѣлать Нехлюдову послѣ подобныхъ доводовъ, какъ не ретироваться въ крайнемъ смущеніи и не ограничиться послѣ всѣхъ своихъ широкихъ замысловъ создать счастіе Чурисенка—скромною и рутинною подачкою ему нѣсколькихъ десятковъ рублей на корову,—да и тѣ Чурисенокъ принялъ безъ всякой особенной благодарности, и неохотно.

Еще большій отпоръ встрѣтилъ Нехлюдовъ и во дворѣ крестьянина Дутлова. Дутловъ былъ мужикъ, окруженный многочисленнымъ семействомъ, достаточный, у котораго не только все хозяйство находилось въ полной исправности, но были припрятаны и деньги въ кубышкѣ. Нехлюдовъ явился къ нему съ предложеніемъ, чтобъ онъ нанялъ у него земли десятинъ 30 и кромѣ того купилъ вмѣстѣ съ нимъ лѣсъ.

Но и здѣсь жизнь стремилась устроиться по-своему, а не по замысламъ Нехлюдова. Еще Нехлюдовъ не успѣлъ заикнуться о своемъ предложеніи, какъ старикъ Дутловъ обратился къ нему съ просьбою, чтобы онъ отпустилъ его сыновей по оброку въ извозъ.

— Мало-ли чѣмъ другимъ вы-бы могли заняться дома: и землей, и лугами... возражалъ Нехлюдовъ.

— Какъ можно, ваше сіятельство! подхватилъ Ильюшка съ одушевленіемъ:—ужь мы съ этимъ родились, всѣ эти порядки намъ извѣстные, способное для насъ дѣло, самое любезное дѣло, ваше сіятельство, какъ нашему брату съ рядой ѣздить.

Когда же наконецъ Нехлюдовъ заикнулся о своихъ намѣреніяхъ, онъ встрѣтилъ такое крайнее и, хотя и обидное, но справедливое недовѣріе со стороны старика, что ему осталось

только проклинать ту минуту, въ которую ему вздумалось идти къ старику со своими предложеніями.

— Что жь, батюшка Митрій Миколаевичъ, какъ насчетъ ребятъ-то прикажете? сказалъ старикъ.

— Да я-бы тебѣ совѣтовалъ вовсе не отпускать ихъ, а найти здѣсь имъ работу, вдругъ собравшись съ духомъ, выговорилъ Нехлюдовъ.—Я, знаешь, что тебѣ придумалъ: купи ты со мною пополамъ рощу въ казенномъ лѣсу, да еще землю...

— Какъ-же, ваше сіятельство, на какія-же деньги покупать будемъ? перебилъ онъ барина.

— Да вѣдь небольшую рощу, рублей въ двѣсти, замѣтилъ Нехлюдовъ.

Старикъ сердито усмѣхнулся.

— Хорошо, кабы были, отчего-бы не купить, сказалъ онъ.

— Развѣ у тебя этихъ денегъ нѣтъ? съ упрекомъ сказалъ баринъ.

— Охъ, батюшка ваше сіятельство! отвѣчалъ съ грустью въ голосѣ старикъ, оглядываясь въ двери: только-бы семью прокормить, а ужь намъ не рощи покупать.

— Да вѣдь есть у тебя деньги; что-жь имъ лежать? настаивалъ Нехлюдовъ.

Старикъ вдругъ пришелъ въ сильное волненіе; глаза его засверкали, плечи стало подергивать.

— Може злые люди про меня сказали, заговорилъ онъ дрожащимъ голосомъ:—такъ вѣрьте Богу, говорилъ онъ, одушевляясь все болѣе и болѣе и обращая глаза къ иконѣ:—что вотъ лопни мои глаза, провались я на семъ мѣстѣ, коли у меня что есть окромѣ пятнадцати цѣлковыхъ, что Ильюшка привезъ, и то подушныя платить надо—вы сами изволите знать: избу поставили....

— Ну, хорошо, хорошо! сказалъ баринъ, вставая съ лавки.—Прощайте, хозяева.

Встрѣчая подобные отпоры во всемъ, что̀ было лучшаго въ деревнѣ, рядомъ съ этимъ Нехлюдовъ находилъ и такихъ крестьянъ, которые обращались къ нему съ просьбами, кланялись, изъявляли благодарности, о чемъ баринъ мечталъ нѣкогда съ такимъ упоеніемъ; но за то въ этихъ крестьянахъ—его поражали такія апатія, лѣнь, такое отсутствіе малѣйшаго чувства человѣческаго достоинства, такая полная деморализація,

что онъ терялся и приходилъ къ сознанію, что ему только и остается, что или махнуть на все рукою. или принять крутыя, насильственныя мѣры. Все это въ концѣ концовъ совершенно обезкуражило его и разсѣяло, какъ дымъ, всѣ его грезы.

«Гдѣ-же мои мечты?» думалъ теперь юноша, послѣ своихъ посѣщеній подходя къ дому: «вотъ ужь больше года, что я ищу счастія на этой дорогѣ, и что-жъ я нашелъ? Правда, иногда я чувствую, что могу быть довольнымъ собой; но это какое-то сухое, разумное довольство. Да и нѣтъ, я просто недоволенъ собой! Я недоволенъ потому, что я здѣсь не знаю счастія, а желаю, страстно желаю счастія. Я, не испытавъ наслажденій, уже отрѣзалъ отъ себя все, что даетъ ихъ. Зачѣмъ? за что? Кому отъ этого стало легко? Правду писала тетка, что легче самому найти счастіе, чѣмъ дать его другимъ. Развѣ богаче стали мои мужики? образовались или развились нравственно? Нисколько. Имъ стало не лучше, а мнѣ съ каждымъ днемъ становится тяжеле. Еслибъ я видѣлъ успѣхъ въ своемъ предпріятіи, еслибъ я видѣлъ благодарность... но нѣтъ, я вижу ложную рутину, порокъ, недовѣріе, безпомощность! Я даромъ трачу лучшіе годы жизни», подумалъ онъ, и ему почему-то вспомнилось, что сосѣди, какъ онъ слышалъ отъ няни, называли его недорослемъ; что денегъ у него въ конторѣ ничего уже не оставалось; что выдуманная имъ новая молотильная машина, къ общему смѣху мужиковъ, только свистѣла, и ничего не молотила, когда ее въ первый разъ, при многочисленной публикѣ, пустили въ ходъ въ молотильномъ сараѣ; что со дня на день надо было ожидать пріѣзда земскаго суда для описи имѣнія, которое онъ просрочилъ, увлекшись различными новыми хозяйственными предпріятіями. И вдругъ такъ-же живо, какъ прежде, представилась ему деревенская прогулка по лѣсу и мечта о помѣщичьей жизни, такъ-же живо представилась ему его московская студенческая комнатка, въ которой онъ поздно ночью сидитъ, при одной свѣчкѣ, съ своимъ товарищемъ и обожаемымъ шестнадцатилѣтнимъ другомъ. Они часовъ пять сряду читали и повторяли какія-то скучныя записки гражданскаго права, и, окончивъ ихъ, послали за ужиномъ, сложились на бутылку шампанскаго и разговорились о будущности, которая ожидаетъ ихъ. Какъ совсѣмъ иначе представлялась будущность молодому студенту! Тогда будущность была полна на-

слажденій, разнообразной дѣятельности, блеска, успѣховъ и несомнѣнно вела ихъ обоихъ къ лучшему, какъ тогда казалось, благу въ мірѣ—къ славѣ.

«Онъ уже идетъ и быстро идетъ по этой дорогѣ», подумалъ Нехлюдовъ про своего друга: «а я»...

Но зачѣмъ-же такъ долго останавливаться, спроситъ меня иной читатель, на повѣсти, представляющей дѣла давно минувшихъ дней, преданья старины глубокой? Неудачная дѣятельность Нехлюдова принадлежитъ ко временамъ крѣпостнаго права, есть явленіе историческое, невозможное въ настоящее время при свободѣ крестьянъ, и подробное обсужденіе этой дѣятельности не имѣетъ никакихъ отношеній къ современнымъ вопросамъ.

Но въ томъ-то и состоитъ особенность поэтическихъ произведеній, отражающихъ въ себѣ характеристическія и существенныя явленія жизни, что значеніе ихъ не утрачивается съ нѣсколькими реформами, какъ бы ни были важны послѣднія, и они надолго сохраняютъ свою силу, служа маяками, освѣщающими иногда длинныя перспективы временъ. — Такъ, напримѣръ, «Горе отъ ума», изображающая нравы московскаго общества 20-хъ годовъ, представляетъ въ себѣ многія черты жизни, встрѣчающіяся на каждомъ шагу и въ настоящее время, 50 лѣтъ спустя. Дѣятельность Чичикова и прочихъ героевъ «Мертвыхъ Душъ» тоже сдѣлалась невозможною со времени эмансипаціи, но это не мѣшаетъ имъ существовать попрежнему въ русской жизни; они всѣ остались тѣ же самые, и измѣнились только формы проявленія ихъ качествъ. То же самое можно сказать и о Нехлюдовѣ. Эмансипація не уничтожила подобныхъ героевъ, а только отняла у нихъ возможность дѣйствовать силою тамъ, гдѣ нельзя было ничего сдѣлать добровольно. Такъ Нехлюдовъ могъ прежде, еслибы захотѣлъ, заставить Чурисенка переселиться въ герардовскую избу, а Дутлова—купить лѣсъ; нынѣ онъ этого не въ состояніи сдѣлать; но онъ остался тѣмъ-же Нехлюдовымъ, и подобныхъ ему Нехлюдовыхъ вы можете встрѣтить на каждомъ шагу. Каждый маменькинъ сынокъ, читающій на досугѣ хорошія книжки и подъ вліяніемъ ихъ мечтающій посвятить всю жизнь народу, котораго онъ не знаетъ и на котораго онъ въ то же время привыкъ смотрѣть съ гордымъ пренебреженіемъ, есть Нехлю-

довъ съ головы до ногъ; каждый практическій дѣятель, видящій въ желѣзныхъ дорогахъ или сыровареніи панацею отъ всѣхъ народныхъ бѣдствій, каждый ревнитель народнаго просвѣщенія, воображающій, что стоитъ завести нѣсколько школокъ и выучить сотню сельскихъ дѣтей читать и писать, и образованіе широкою рѣкою польется въ массы народа; каждый газетный чиновникъ-публицистъ, измышляющій подъ сѣнію канцеляріи передовыя статьи о народныхъ нуждахъ и потребностяхъ; каждый судебный ораторъ въ родѣ выведеннаго Гл. Успенскимъ въ «Раззореніи» Шапкина, сожалѣющій, что половина слушателей не были въ университетѣ и потому не могутъ его понимать,—все это современныя воплощенія того же самаго Нехлюдова со всѣми его особенностями: полною неспособностью встать въ мало-мальски человѣческія отношенія съ народомъ и оказать ему хоть каплю истинной пользы, и въ то же время привычкою считать себя свѣтилами прогресса, воображать, что каждое слово, каждый жестъ ихъ долженъ осчастливить тысячи и возбудить со всѣхъ сторонъ чувства изумленія къ ихъ доблести и горячей благодарности. Повѣсть гр. Толстаго говоритъ всѣмъ этимъ господамъ: Вы хотите быть полезными народу? Но для этого прежде всего перестаньте принимать на себя роль народныхъ опекуновъ и благодѣтелей, перестаньте смотрѣть на народъ, какъ на несовершеннолѣтнихъ дѣтей, которыя безъ вашихъ заботъ должны погибнуть. Знайте, что какъ ни жалка, ни бѣдна жизнь народа, а все-таки это жизнь, и какъ всякая естественная жизнь подлежитъ своему самостоятельному развитію, требуя только тепла, воздуха, свѣта и пищи для того, чтобы разцвѣсти во всемъ своемъ цвѣтѣ... Заботьтесь-же только объ одномъ: чтобы доставить всѣ эти необходимыя условія для жизни и дать ей полный просторъ для развитія. Иначе вы будете представлять изъ себя садовника, который, поставивъ растеніе въ темнотѣ и оборвавъ листья, будетъ въ то же время унавоживать его землю и тщательно поливать ее, воображая, что у него что-нибудь выростетъ изъ этого. Знайте, что въ такомъ случаѣ ваши дѣйствительно полезныя мѣропріятія или будутъ производить неожиданный вредъ, или-же будутъ отскакиватъ отъ народа, какъ отъ стѣны горохъ, чисто вслѣдствіе той естественной оппозиціи, по которой вамъ самимъ часто въ большей степени нравится худшее свое, до че-

го вы дошли самостоятельно, чѣмъ лучшее, навязываемое со стороны, и притомъ людьми, къ которымъ вы не имѣете особеннаго довѣрія.

V.

Въ повѣсти «Утро помѣщика» представляется, какъ мы видѣли, первый шагъ въ жизни безхарактернаго героя. Здѣсь герой является передъ нами исполненный молодыхъ надеждъ и энергіи, не знающей удержа; онъ ищетъ опредѣленной цѣли жизни, и спѣшитъ испробовать свои силы въ какой-либо широкой и плодотворной дѣятельности. Такъ всегда начинаютъ подобные герои. Они не знаютъ мудраго пути начинать съ малаго и постепенно путемъ труда и борьбы доходить до великаго,—пути, по которому идутъ всѣ истинно-геніальные люди; нашимъ героямъ непремѣнно нужно или сразу все, или ничего. Примутся они за какое-нибудь дѣло, и тотчасъ-же вообразятъ себя благодѣтелями если не всего человѣчества, то цѣлаго края—поэтому и дѣло свое спѣшатъ поставить на ходули, придать ему сразу грандіозные цѣли и размѣры. — Но за то, какъ скоро возникаетъ ихъ очарованіе, такъ же скоро слѣдуетъ и разочарованіе. Жизнь не замедлитъ показать имъ всю искусственность, отвлеченность и эфемерность ихъ замысловъ. Такъ мы видѣли, что для Нехлюдова достаточно было года, чтобы убѣдиться въ несостоятельности своей дѣятельности. Но разъ сбитые съ своего пути, Нехлюдовы не ищутъ уже ни новаго пути, ни возвращенія на старый. Вся дальнѣйшая жизнь представляется рядомъ безцѣльныхъ скитаній и случайныхъ порывовъ, смотря по тому, куда дуетъ вѣтеръ. Начиная день, они не могутъ отдать себѣ хотя приблизительнаго отчета, что съ ними будетъ вечеромъ: можетъ быть женятся, можетъ быть очутятся на пути въ Америку, можетъ быть проиграютъ все свое состояніе и пустятъ въ лобъ пулю. Одно только, что неизмѣнно преслѣдуетъ ихъ всю жизнь, составляя существенное ихъ отличіе—это постоянный разладъ убѣжденій и дѣятельности. Убѣжденія ихъ попрежнему прекрасны, высоки, во всѣхъ отношеніяхъ безукоризненны и, попрежнему, едва только пытаются они осуществить которое нибудь, на дѣлѣ выходитъ какъ-то совершенно невольно, неотразимо, словно по

какому-то фатуму, тяготѣющему надъ ними, нѣчто совершенно противоположное.

Повѣсти «Люцернъ», «Альбертъ», «Казаки», «Маркеръ» представляютъ передъ нами рядъ подобныхъ скитаній и порывовъ безхарактернаго героя послѣ своего неудачнаго перваго шага.

Въ повѣсти «Люцернъ» мы встрѣчаемъ Нехлюдова, скитающагося по Европѣ въ качествѣ туриста. Остановившись въ Люцернѣ, онъ пошелъ вечеромъ гулять по набережной озера и заслушался пѣнія уличнаго тирольца. Тиролецъ пѣлъ такъ хорошо, что вокругъ него собралась толпа, которая жадно внимала ему. Элегантные путешественники различныхъ націй стояли на улицѣ и на балконахъ, притаивъ дыханіе. И каково-же было удивленіе Нехлюдова, когда по окончаніи пѣнія не только никто ничего не далъ бѣдному пѣвцу, но толпа осмѣяла его, когда онъ обратился къ ней съ протянутою шляпою. Нехлюдова тяжело поразила эта сцена, ему сдѣлалось больно, горько, по собственнымъ его словамъ, стыдно за маленькаго человѣка, за толпу, за себя, какъ будто онъ самъ просилъ денегъ, ему ничего не дали и надъ нимъ смѣялись... За симъ послѣдовалъ цѣлый рядъ рефлексій о несообразности жизни вообще и въ особенности относительно настоящаго факта. Нехлюдовъ началъ задавать себѣ вопросы въ родѣ того, что отчего этотъ безчеловѣчный фактъ, невозможный ни въ какой деревнѣ нѣмецкой, французской или итальянской, возможенъ здѣсь, гдѣ цивилизація, свобода и равенство доведены до высшей степени, гдѣ собираются путешествующіе, самые цивилизованные люди самыхъ цивилизованныхъ націй? Отчего эти развитые, гуманные люди, способные въ общемъ на всякое честное, гуманное дѣло, не имѣютъ человѣческаго сердечнаго чувства на личное доброе дѣло? И какимъ образомъ въ Швейцаріи, въ свободной странѣ, республикѣ, могъ существовать законъ, вслѣдствіе котораго тиролецъ рисковалъ быть посаженъ въ тюрму за свое невинное уличное пѣніе: неужели это свободное то, что люди называютъ, положительно свободное государство то, въ которомъ есть хоть одинъ гражданинъ, котораго сажаютъ въ тюрьму за то, что онъ, никому не вредя, никому не мѣшая, дѣлаетъ одно, что можетъ, для того, чтобы не умереть съ голода?

Всѣ эти размышленія были прекрасны, пока оставались одними размышленіями, но когда Нехлюдову вздумалось осуществить ихъ на практикѣ, оказалось нѣчто совсѣмъ неподходящее.

Нехлюдову захотѣлось отличиться, показать, что онъ вовсе не такой безчувственный и черствый человѣкъ, какъ элегантные англичане и прочая толпа, осмѣявшая тирольца. Но какъ же онъ могъ выразить это отличіе? Простой здравый смыслъ скажетъ вамъ, что сдѣлать это было очень просто: никто ничего пѣвцу не далъ и его осмѣяли, а Нехлюдову оставалось, не принимая участія въ этомъ смѣхѣ, дать пѣвцу денегъ, что послѣднему только и надо было. Тѣмъ и ограничился бы всякій простой, безъискусственный человѣкъ съ душею. Но Нехлюдову этого было недостаточно: онъ привыкъ каждый ничтожный поступокъ становить на ходули и возводить на степень необыкновеннаго геройства. Такъ и въ настоящемъ случаѣ ему захотѣлось устроить посредствомъ пѣвца демонстрацію безчувственной толпѣ и въ особенности элегантнымъ англичанамъ, громко заявить передъ ними, что вотъ, молъ, какой передъ ними гуманный человѣкъ, какое у него рѣдкое сердце и какъ глубоко онъ усвоилъ идею равенства: стыдитесь, молъ, и поучайтесь. И вотъ онъ послѣдовалъ за пѣвцомъ, остановилъ его, пригласилъ выпить съ нимъ вина, повелъ его въ самую фешенебльную гостиницу, произвелъ тамъ скандалъ, разругалъ швейцара и лакеевъ, какъ они смѣли сидѣть въ присутствіи его по той причинѣ, что онъ пьетъ вино съ человѣкомъ бѣдно одѣтымъ, тогда какъ предъ богатыми англичанами они не смѣли садиться; затѣмъ потребовалъ, чтобы его ввели въ лучшую залу и тамъ присутствіемъ пѣвца разогналъ чопорныхъ англичанъ, собиравшихся ужинать. Бѣдный, робкій пѣвецъ игралъ во всемъ этомъ самую жалкую роль не то жертвы, не то пассивнаго орудія героизма Нехлюдова, глоталъ вмѣстѣ съ шампанскимъ, которымъ угощалъ его разгнѣванный баринъ, горечь презрительныхъ подсмѣиваній, которыми со всѣхъ сторонъ его осыпали, и до чрезвычайности былъ радъ, когда наконецъ удалось ему избавиться отъ непрошеннаго защитника его правъ и убраться поскорѣй по добру, по здорову...

Все это, если хотите, имѣетъ въ основаніи со стороны Нехлюдова рядъ побужденій, безукоризненно честныхъ и высокихъ.

Но вдумайтесь поглубже въ его поступокъ, и вы найдете въ немъ безчеловѣчіе, превышающее бездушіе чопорныхъ англичанъ и толпы. Не дать денегъ уличному пѣвцу, это вовсе еще не значитъ оскорбить его, а напротивъ того—унизить себя передъ нимъ. Осмѣять его—въ этомъ, безспорно, видно желаніе унизить его человѣческое достоинство. Но заставить пострадать часъ, другой, употребивъ его жалкимъ пассивнымъ орудіемъ для выказанія своего геройства и показанія бездушія ближнихъ,—въ этомъ уже не одно только униженіе человѣческаго достоинства, а окончательное попраніе его, уничтоженіе личности. И послѣ этого Нехлюдовъ могъ кипятиться во имя идеи равенства на слугъ, которые сидѣли предъ пѣвцомъ, и на англичанъ, ушедшихъ изъ залы; какъ будто схватить съ улицы бѣднаго человѣка, робѣющаго передъ вами и несмѣющаго сопротивляться, привести его въ фешенеблную гостиницу на всеобщее посмѣяніе и великодушно напоить его лучшимъ шампанскимъ, такой поступокъ выше чѣмъ-нибудь отношенія слугъ и англичанъ къ пѣвцу и имѣетъ въ себѣ хотя блѣдную тѣнь равенства! И какой-же вышелъ изъ всего этого толкъ? Были ли хоть посрамлены лакеи и англичане и получили ли урокъ? Ничуть не бывало. Лакеи остались лакеями, при убѣжденіи, что гостиница, въ которой они служатъ, перестанетъ быть фешенеблною, если будутъ допускаемы въ нее уличные пѣвцы, а англичане, надо полагать, удалились изъ залы, не столько потому, что ихъ оскорбилъ видъ бѣдно одѣтаго человѣка, сколько съ мыслію, что, по всей вѣроятности, русскій варваръ, привыкшій у себя дома забавляться съ шутами, вздумалъ и заграницей потѣшиться тѣмъ же, избравъ себѣ шута въ уличномъ пѣвцѣ, а потому лучше уйти отъ возмутительной сцены. И дѣйствительно, поступокъ Нехлюдова по отношенію къ пѣвцу напоминаетъ весьма потѣхи нашихъ прадѣдовъ, которые, не довольствуясь повседневными шутами, любили подъ веселый часъ посадить рядомъ съ собой за столъ оборваннѣйшаго бѣдняка изъ толпы и забавляться, при видѣ, какъ онъ смущается, пьетъ лучшее вино, не пивъ до сегодня ничего кромѣ водки, и какъ присутствіемъ его возлѣ хозяина скандализируются какія-нибудь чопорныя барыни.

Разсказъ «Альбертъ» представляетъ подобный же эпизодъ изъ жизни безхарактернаго героя. Герой этого разсказа, Деле-

совъ, принимаетъ на себя роль покровителя искусства. Встрѣтивъ на петербургскомъ баликѣ полусумасшедшаго, спившагося музыканта Альберта и увлекшись его игрою, онъ рѣшается взять его въ свой домъ, устроить его карьеру и возвратить свѣту погибающій талантъ. При этомъ онъ, конечно, тотчасъ же становится въ позу благодѣтеля человѣческаго рода и начинаетъ гладить себя по головкѣ: «право, я не совсѣмъ дурной человѣкъ; даже совсѣмъ недурной человѣкъ. Даже очень хорошій человѣкъ, какъ сравню себя съ другими...». Но, какъ всѣ подобные благодѣтели человѣческаго рода, онъ смотритъ постоянно только на одну сторону своего дѣла: на величіе своей личности въ виду такого благороднаго дѣла; на личность же покровительствуемаго онъ не обращаетъ ровно никакого вниманія и ему не приходитъ и въ голову, что его великодушіе нисколько не разрѣшаетъ ему забывать уваженія къ человѣческимъ правамъ ближняго, на какой бы крайней степени паденія ни находился этотъ ближній. Такъ онъ думаетъ вылечить Альберта отъ пьянства и остепенить тѣмъ, что запираетъ его въ своей квартирѣ, велитъ человѣку никуда его не выпускать и не давать ему ни капли вина. Такое крайнее насиліе доводитъ Альберта до бѣшенства и великодушный подвигъ Делесова кончается слѣдующею сценою:

«Ночью Делесова разбудилъ стукъ упавшаго стола въ передней и звукъ голосовъ и шопота. Онъ зажегъ свѣчу и съ удивленіемъ сталъ прислушиватьея... Погодите, Дмитрію Ивановичу скажу, говорилъ Захаръ; голосъ Альберта бормоталъ что-то горячо и несвязно. Делесовъ вскочилъ и со свѣчею выбѣжалъ въ переднюю. Захаръ въ ночномъ костюмѣ стоялъ противъ двери, Альбертъ въ шляпѣ и альмавивѣ отталкивалъ его отъ двери и слезливымъ голосомъ кричалъ на него.

— Вы не можете не пустить меня. У меня паспортъ, я ничего не унесъ у васъ. Можете обыскать меня. Я къ полиціймейстеру пойду. Позвольте, Дмитрій Ивановичъ! обратился Захаръ къ барину, продолжая спиной защищать дверь. Они ночью встали, нашли ключъ въ моемъ пальто и выпили цѣлый графинъ сладкой водки. Это развѣ хорошо? А теперь уйти хотятъ. Вы не приказали, а потому я не могу пустить ихъ. Альбертъ увидавъ Делесова, еще горячѣе сталъ присту-

пать къ Захару. Не можетъ меня никто держать! не имѣетъ права! кричалъ онъ, все больше и больше возвышая голосъ.

— Отойди, Захаръ, сказалъ Делесовъ: — я васъ держать не хочу и не могу, но я совѣтывалъ бы вамъ остаться до завтра, обратился онъ къ Альберту.

— Никто меня держать не можетъ. Я къ полицiймейстеру пойду, все сильнѣе и сильнѣе кричалъ Альбертъ, обращаясь только къ Захару и не глядя на Делесова: — караулъ! вдругъ завопилъ онъ неистовымъ голосомъ.

— Да что же вы кричите такъ-то? вѣдь васъ не держатъ, сказалъ Захаръ, отворяя дверь.

Альбертъ пересталъ кричать. «Не удалось? Хотѣли уморить меня, нѣтъ!» бормоталъ онъ про себя, надѣвая галоши. Не простившись и, продолжая говорить что-то непонятное, онъ вышелъ въ дверь. Захаръ посвѣтилъ ему до воротъ и вернулся.

— И слава Богу, Дмитрiй Ивановичъ! а то долго ли до грѣха, сказалъ онъ барину: — и теперь серебро повѣрить надо...»

Въ повѣсти «Казаки» представляется одна изъ дальнѣйшихъ фазъ жизни безхарактерныхъ героевъ. Послѣ цѣлаго ряда всевозможныхъ несообразностей, въ родѣ вышеописанныхъ, расточивъ половину имущества, надѣлавъ долговъ, подобные герои въ одинъ прекрасный день вдругъ приходятъ къ убѣжденiю, что вся окружающая ихъ жизнь и ихъ собственная искусственна, нелѣпа, исполнена призрачности и лжи и что необходимо сразу разорвать съ нею и начать новую жизнь, простую, естественную на лонѣ природы, въ средѣ ея дѣтей непосредственно-наивныхъ, цѣльныхъ и нерастлѣнныхъ цивилизацiею. Подобныя идиллическiя стремленiя, родоначальникомъ которыхъ считается, какъ извѣстно, Руссо, присущи всѣмъ вѣкамъ, только въ каждый вѣкъ они находятъ различныя примѣненiя. Такъ въ 60-е годы герои, ищущiе разрыва съ своею средою и новой жизни, удалялись въ кружки, такъ называемыхъ, новыхъ людей и мечтали вмѣстѣ съ ними о заведенiи земледѣльческихъ колонiй на новыхъ основанiяхъ въ какихъ-нибудь дѣвственныхъ лѣсахъ, вдали отъ всякихъ человѣческихъ обществъ. Въ 30-е же и 40-е года безхарактерные герои стремились обыкновенно на Кавказъ, гдѣ имъ грезилась,

новая жизнь въ видѣ Амалатъ-бековъ, черкешенокъ, горъ, обрывовъ, страшныхъ потоковъ и опасностей...

Въ повѣсти «Казаки» и представляется намъ одинъ изъ такихъ россійскихъ Жанъ-Жаковъ-Руссо въ видѣ Оленина, который въ сущности есть тотъ же Нехлюдовъ и Делесовъ. Послѣ цѣлаго ряда безплодныхъ порывовъ—свѣтской жизни, службы, хозяйства, музыки, которымъ, по словамъ, гр. Толстаго, онъ отдавался на столько лишь, на сколько они не связывали его, и отъ которыхъ спѣшилъ поскорѣе отдѣлываться, какъ только начиналъ чуять приближеніе труда и мелочной борьбы съ жизнію,—Оленинъ опредѣлился юнкеромъ въ кавказскую армію съ цѣлью начать новую жизнь.

«Уѣзжая изъ Москвы—читаемъ мы въ повѣсти—онъ находился въ томъ счастливомъ настроеніи духа, когда, сознавъ прежнія ошибки, юноша вдругъ скажетъ себѣ, что все это было не то,—что все прежнее было случайно и незначительно,—что онъ прежде не хотѣлъ жить *хорошенько*,—но что теперь съ выѣздомъ его изъ Москвы, начинается новая жизнь, въ которой уже не будетъ больше тѣхъ ошибокъ, не будетъ раскаянія, а навѣрное будетъ одно счастіе».

Сообразно этимъ мыслямъ—«чѣмъ далѣе уѣзжалъ Оленинъ отъ центра Россіи, тѣмъ дальше казались отъ него всѣ его воспоминанія, и чѣмъ больше подъѣзжалъ къ Кавказу, тѣмъ отраднѣе становилось ему на душѣ. Уѣхать совсѣмъ и никогда не пріѣзжать назадъ, не показываться въ общество, приходило ему иногда въ голову. «А эти люди, которыхъ я здѣсь вижу,—*не люди*; никто изъ нихъ меня не знаетъ, и никто, никогда не можетъ быть въ Москвѣ въ томъ обществѣ, гдѣ я былъ, и узнать о моемъ прошедшемъ». И совершенно новое для него чувство свободы отъ всего прошедшаго охватывало его между этими грубыми существами, которыхъ онъ встрѣчалъ по дорогѣ, и которыхъ не признавалъ людьми наравнѣ съ своими московскими знакомыми. Чѣмъ грубѣе былъ народъ, чѣмъ меньше было признаковъ цивилизаціи, тѣмъ свободнѣе онъ чувствовалъ себя».

Такъ мечталъ Оленинъ, и не подозрѣвалъ онъ, что все прошлое, отъ чего онъ такъ жадно желалъ отрѣшиться, онъ везетъ съ собою на Кавказъ, что оно сидитъ во всемъ его существѣ и, какъ фатумъ, будетъ преслѣдовать его до гробо-

вой доски, что онъ носитъ на своемъ челѣ особенную печать проклятія, вслѣдствіе которой не знать ему мѣста на землѣ, гдѣ бы онъ могъ пріютиться. Не зналъ онъ также и того, что въ средѣ людей простыхъ, безъискусственныхъ и цѣльныхъ, вся ложь его существа, вся его дрянность должны обозначиться съ особенною яркостью во всемъ ужасающемъ видѣ, какъ черныя пятна на бѣломъ фонѣ.

Такъ и случилось. Явившись въ полкъ, Оленинъ первымъ дѣломъ всталъ въ самыя ложныя и неестественныя отношенія къ товарищамъ. Врагъ всякаго труда, онъ, конечно, постарался избѣгнуть служебной лямки, и это ему было очень легко сдѣлать, такъ-какъ его, какъ богатаго юнкера, не посылали ни на ученье, ни на работы; товарищи считали его аристократомъ и потому держали себя въ отношеніи къ нему съ достоинствомъ, а онъ чуждался ихъ общества; онъ, вотъ видите, имѣлъ безсознательное отвращеніе къ битымъ дорожкамъ и здѣсь также не пошелъ по избитой колеѣ жизни кавказскаго офицера.

Онъ началъ вести вполнѣ своеобразную жизнь въ казачьей станицѣ, въ которой поселился. Жители этой станицы были потомки раскольниковъ, въ отдаленныя времена бѣжавшихъ отъ преслѣдованій на берега Терека. Они сохранили вѣру и языкъ предковъ, но въ своихъ правахъ, понятіяхъ и обычаяхъ слились съ абреками, съ которыми постоянно дрались, что̀ не мѣшало имъ въ то же время скрещиваться съ врагами браками.—Это было племя въ одно и то же время землевладѣльческое и дико-воинственное, и при всей грубости нравовъ и понятій, въ этихъ людяхъ проглядывала та мужественная отвага, тѣ глубокія нравственныя начала, которыя вы можете встрѣтить на какой угодно степени цивилизаціи въ каждой средѣ, жизнь которой основана на трудѣ и борьбѣ, какой бы ни было борьбѣ: съ дикими племенами, съ стихіями природы или съ общественнымъ зломъ. Поселившись въ этой станицѣ, Оленинъ проводилъ всѣ дни въ охотѣ, въ бесѣдахъ съ старымъ казакомъ Ерошкой, котораго онъ щедро поилъ чихиремъ, и въ созерцаніи окуружающаго его быта, простота и естественность котораго приводила его въ восторгъ. Въ этомъ и заключалась такъ-называемая новая жизнь, въ сущности, какъ видите, столь-же праздная и пустая, какъ и старая, отъ которой Оле-

нинъ воображалъ себя отрѣшившимся. Оленинъ былъ въ восхищеніи отъ этой жизни, и во время своихъ скитаній по лѣса́мъ предавался слѣдующимъ размышленіямъ:

«Отчего я счастливъ, и зачѣмъ я жилъ прежде? раздумывалъ онъ: какъ я былъ требователенъ для себя, какъ придумывалъ и ничего не сдѣлалъ себѣ кромѣ стыда и горя! А вотъ какъ мнѣ ничего не нужно для счастія!» И вдругъ ему какъ будто открылся новый свѣтъ. «Счастіе вотъ что, сказалъ онъ самъ себѣ: счастіе въ томъ, чтобы жить для другихъ. И это ясно. Въ человѣка вложена потребность счастія; стало-быть она законна. Удовлетворяя ее эгоистически, то-есть отыскивая для себя богатства, славу, удобства жизни, любви, можетъ случиться, что обстоятельства такъ сложатся, что невозможно будетъ удовлетворить этимъ желаніямъ. Слѣдовательно, эти желанія незаконны, а не потребность счастія незаконна. Какія же желанія всегда могутъ быть удовлетворены, несмотря на внѣшнія условія? Какія? Любовь, самоотверженіе!...» Онъ такъ обрадовался и взволновался, открывъ эту, какъ ему казалось, новую истину, что вскочилъ, и въ нетерпѣніи сталъ искать, для кого-бы ему поскорѣе пожертвовать собой, кому-бы сдѣлать добро, кого-бы любить. Вѣдь ничего для себя не нужно, все думалъ онъ: отчего-же не жить для другихъ?»

Вы видите, въ какомъ заколдованномъ кругѣ вертится Оленинъ. Отъ какой бы жизни онъ ни отрѣшился и къ какой бы ни пришелъ, онъ не въ состояніи додуматься ни до какой другой нравственной теоріи, какъ только одной: отрѣшенія отъ своей личности въ пользу другихъ, но такого отрѣшенія, которое на практикѣ ведетъ всегда на оборотъ—къ уничтоженію личности ближняго ради возвышенія своей. Это своего рода нравственная лихорадка; подобно тому, какъ въ физической человѣкъ тѣмъ больше чувствуетъ холодъ, чѣмъ больше горитъ его тѣло, такъ и здѣсь: чѣмъ эгоистичнѣе человѣкъ, чѣмъ болѣе развиты въ немъ наклонность возвышаться, преобладать надъ личностями ближнихъ и жертвовать ими въ свою пользу, тѣмъ болѣе такой человѣкъ имѣетъ всегда пристрастіе къ теоріямъ нравственныхъ самоотреченій и самопожертвованій. «Жить для блага другихъ!» Сколько въ этомъ до сей поры мерещется нравственнаго величія и какъ эта фраза заставляетъ биться сердце каждаго юноши! Придетъ ли время, когда вполнѣ до-

думаются люди до того, сколько безчеловѣчія въ этой красивой фразѣ. Убѣдятся ли они когда нибудь, что истинная нравственность заключается не въ томъ, чтобы жить для блага другихъ, унижая этихъ другихъ своими самопожертвованіями, а въ томъ чтобы жить съ другими для общаго и взаимнаго блага?

Ложность такой теоріи не замедлила, конечно обнаружиться, едва только Оленину удалось осуществить ее на практикѣ. Онъ нанималъ квартиру у хорунжаго, у котораго была красавица дочка Маріана. Въ эту дѣвушку былъ влюбленъ удалой казакъ Лукашка. Но хорунжій былъ богатъ, а Лукашка бѣденъ, у него не было еще и коня. Желая облагодѣтельствовать Лукашку и помочь ему жениться на Маріанѣ, Оленинъ вдругъ ни съ того, ни съ сего подарилъ ему одного изъ своихъ коней. Конечно, въ этомъ не было еще большаго самопожертвованія для человѣка, который имѣлъ у себя до̀ма, въ имѣніи, какъ онъ самъ хвастался Лукашкѣ, до 100 головъ лошадей по 300 и 400 рублей каждая; но во всякомъ случаѣ подобный поступокъ былъ до такой степени не въ нравахъ простыхъ обитателей станицы, что поставилъ ихъ въ крайнее, весьма естественное недоумѣніе. И между тѣмъ, какъ Оленинъ, какъ ребенокъ, восхищался своею добротою и даже не могъ удержаться не подѣлиться своею радостью съ лакеемъ Ванюшею, разсказавъ ему не только, что онъ подарилъ Лукашкѣ лошадь, но и зачѣмъ подарилъ, и всю свою новую теорію счастія; между тѣмъ Лукашка, до подарка коня бывшій весьма расположенъ къ Оленину, проникся рядомъ соображеній, весьма неожиданныхъ для послѣдняго.

«Лукашка пошелъ одинъ на кардонъ и все раздумывалъ о поступкѣ Оленина. Хотя конь и нехорошъ былъ по его мнѣнію, однако стоилъ по крайней мѣрѣ сорокъ *монетовъ*, и Лукашка былъ очень радъ подарку. Но зачѣмъ былъ сдѣланъ этотъ подарокъ, этого онъ не могъ понять, и потому не испытывалъ ни малѣйшаго чувства благодарности. Напротивъ, въ головѣ его бродили темныя подозрѣнія въ дурныхъ умыслахъ юнкера. Въ чемъ состояли эти умыслы, онъ не могъ дать себѣ отчета, но и допустить мысль, что такъ ни за что, по добротѣ, незнакомый человѣкъ подарилъ ему лошадь въ сорокъ *монетовъ*, ему казалось невозможно. Какъ бы пьяный былъ, тогда-бы еще понятно было, хотѣлъ покуражиться. Но юнкеръ былъ трезвъ,

а потому хотѣлъ подкупить его на какое нибудь дурное дѣло. «Ну да врешь!» думалъ Лукашка. «Конь-то у меня, а тамъ видно будетъ. Я самъ малый не промахъ. Еще кто кого проведетъ! Посмотримъ!» думалъ онъ, испытывая потребность быть на сторожѣ противъ Оленина, и потому не разсказывалъ, какъ ему достался конь. Однимъ говорилъ, что купилъ; отъ другихъ отдѣлывался уклончивымъ отвѣтомъ. Однако въ станицѣ скоро узнали правду. Мать Лукашки, Маріана, Илья Васильевичъ и другіе казаки, узнавшіе о безпричинномъ подаркѣ Оленина, пришли въ недоумѣніе и стали опасаться юнкера. Несмотря на такія опасенія, поступокъ этотъ возбудилъ въ нихъ большое уваженіе къ *простотѣ* и богатству Оленина.

— Слышь, Лукашкѣ коня въ пятьдесятъ монетовъ бросилъ юнкирь-то, что у Ильи Васильича стоитъ, говорилъ одинъ.—Богачъ!

— Слыхалъ, отвѣчалъ другой глубокомысленно:—должно услужилъ ему. Поглядимъ, поглядимъ, что изъ него будетъ. Эко дьяволу счастье.

— Экой народъ продувной изъ юнкирей, бѣда! говорилъ третій:—какъ разъ подожжетъ или что».

Такимъ образомъ вмѣсто ожидаемаго поклоненія его геройской добротѣ, Оленинъ поступкомъ своимъ возбудилъ въ станицѣ недоброжелательство и подозрительность въ отношеніи къ себѣ и сразу всталъ въ ложныя и неестественныя отношенія къ окружающимъ его людямъ.

И что же! въ концѣ концовъ оказалось, что Лукашка былъ правъ въ своихъ предчувствіяхъ чего-то недобраго отъ Оленина: дальнѣйшее поведеніе послѣдняго оправдало недоброжелательство къ нему Лукашки.

Оленинъ подарилъ Лукашкѣ коня съ цѣлью способствовать ему этимъ въ женитьбѣ на Маріанѣ. Но мало-по-малу онъ самъ влюбился въ Маріану. Сначала онъ долго упорствовалъ въ своемъ самоотверженіи, стараясь подавить въ себѣ любовь къ Маріанѣ, въ пользу Лукашки, но когда случай позволилъ ему сблизиться съ Маріаною, страсть его дошла до такого разгара, что забыто было все, и Лукашка, и самоотверженіе,—и Оленинъ былъ готовъ приписаться въ казаки и жениться на Маріанѣ. Молодая дѣвушка въ сознаніи своей молодости и красоты кокетничала съ Оленинымъ.—Весьма естественно, онъ возбудилъ

ея женское любопытство своеобразностью своей жизни, вѣчною задумчивостью и отчужденностью отъ всѣхъ. Кромѣ того, безъ сомнѣнія, ее прельстили слухи о его несмѣтныхъ богатствахъ и щедрости—это былъ соблазнъ, показывающій, что герои, подобные Оленину, распространяютъ ядъ своего собственнаго растлѣнія и на другихъ людей, съ которыми они вступаютъ въ сношенія. Но недолго продолжалось это заблужденіе.—Когда Лукашка былъ смертельно раненъ въ сшибкѣ съ абреками, ея любовь къ нему вдругъ воскресла въ ней съ прежнею силою; вмѣстѣ съ тѣмъ къ Оленину она почувствовала крайнее нравственное омерзеніе и его ухаживаніе за нею окончилось слѣдующею сценою!

— Маріана! сказалъ онъ: — а Маріана! можно войти къ тебѣ?

Вдругъ она обернулась. На глазахъ ея были чуть замѣтныя слезы. На лицѣ была красивая печаль. Она посмотрѣла молча и величаво.

— Оставь, сказала она. Лицо ея не измѣнилось, но слезы полились у ней изъ глазъ.

— О чемъ ты? Что ты?

— Что? повторила она грубымъ и жестокимъ голосомъ.— Казаковъ перебили, вотъ что.

— Лукашку? сказалъ Оленинъ.

— Уйди, чего тебѣ надо?

— Маріана! сказалъ Оленинъ, подходя къ ней.

— Никогда ничего тебѣ отъ меня не будетъ.

— Маріана, не говори, умолялъ Оленинъ.

— Уйди, постылый! крикнула дѣвка, топнула ногой и угрожающе подвинулась къ нему. И такое отвращеніе, и презрѣніе, и злоба выразились на лицѣ ея, что Оленинъ вдругъ понялъ, что ему нечего надѣяться; что онъ прежде думалъ о неприступности этой женщины, была несомнѣнная правда.

Оленинъ ничего не сказалъ ей и выбѣжалъ изъ хаты. Послѣ этого ему оставалось одно: идти своей натуральной дорогой: т.-е. опредѣлиться въ штабъ, что онъ и сдѣлалъ. «Не простившись ни съ кѣмъ, и черезъ Ванюшку расплатившись съ хозяевами, онъ собрался ѣхать въ крѣпость, гдѣ стоялъ полкъ, читаемъ мы въ повѣсти. Одинъ дядя Ерошка провожавъ его. Они выпили, еще выпили и еще выпили. Такъ же какъ во время

его проводовъ изъ Москвы, ямская тройка стояла у подъѣзда. Но Оленинъ уже не считался, какъ тогда, самъ съ собою и не говорилъ себѣ, что все, что онъ думалъ и дѣлалъ здѣсь, было *не то*. Онъ уже не обѣщалъ себѣ новой жизни. Онъ любилъ Маріанку больше чѣмъ прежде, и зналъ теперь, что никогда не можетъ быть любимымъ ею».

«Записки Маркера» представляютъ послѣднія нравственныя судороги безхарактернаго человѣка, послѣ цѣлаго ряда всевозможныхъ пертурбацій. — Разочарованный во всѣхъ своихъ величавыхъ порывахъ, во всѣхъ своихъ надеждахъ на обновленіе жизни, на счастіе, потерявшій уваженіе и ко всей своей средѣ, и къ самому себѣ, убѣдившійся, что жизнь, окружающая его, и самъ онъ, представляютъ рядъ лжи и несообразностей и въ то же время съ презрѣніемъ отвергнутый всѣмъ, что не носитъ на себѣ печати этого страшнаго растлѣнія,—Нехлюдовъ дошелъ до той страшной сердечной пустоты, въ которой человѣкъ ничего уже не ищетъ въ жизни, какъ только минутныхъ наслажденій, чтобы уйти отъ себя, забыться. Въ такомъ состояніи онъ сходится съ весьма сомнительнаго вида завсегдатаями какого-то сомнительнаго трактирчика, втягивается въ игру, проигрываетъ послѣдніе остатки своего состоянія и наконецъ пускаетъ себѣ въ лобъ пулю, оставивъ послѣ себя письмо, въ которомъ читаемъ мы слѣдующаго рода ужасающія признанія:

«Богъ далъ мнѣ все, чего можетъ желать человѣкъ: богатство, имя, умъ, благородныя стремленія. Я хотѣлъ наслаждаться и затоптать въ грязь все, что было во мнѣ хорошаго.

«Я не обезчещенъ, не несчастенъ, не сдѣлалъ никакого преступленія; но я сдѣлалъ хуже: я убилъ свои чувства, свой умъ, свою молодость.

«Я опутанъ грязной сѣтью, изъ которой не могу выпутаться и къ которой не могу привыкнуть. Я безпрерывно падаю, падаю, чувствую свое паденіе и не могу остановиться....

«И что погубило меня? Была-ли во мнѣ какая нибудь сильная страсть, которая бы извинила меня? Нѣтъ.

«Хороши мои воспоминанія.

«Одна ужасная минута забвенія, которой я никогда не забуду, заставила меня опомниться. Я ужаснулся, когда увидѣлъ, какая неизмѣримая пропасть отдѣляла меня отъ того, чѣмъ я

хотѣлъ и могъ быть. Въ моемъ воображеніи возникли надежды, мечты и думы моей юности.

«Гдѣ тѣ свѣтлыя мысли о жизни, о вѣчности, о Богѣ, которыя съ такою ясностію и силой наполняли мою душу? Гдѣ безпредметная сила любви, отрадной теплотой согрѣвавшая мое сердце? Гдѣ надежда на развитіе, сочувствіе ко всему прекрасному, любовь къ роднымъ, къ ближнимъ, къ труду, къ славѣ? Гдѣ понятіе обязанности!

«— А какъ-бы я могъ быть хорошъ и счастливъ, ежели-бы я шелъ по той дорогѣ, которую, вступая въ жизнь, открылъ мой свѣжій умъ и дѣтское, истинное чувство! Не разъ пробовалъ я выйти изъ колеи, по которой шла моя жизнь, на эту свѣтлую дорогу. Я говорилъ себѣ: употреблю все, что есть у меня воли, и не могъ. Когда я оставался одинъ, мнѣ становилось неловко и страшно съ самимъ собою. Когда я былъ съ другими, я забывалъ *невольно* свои убѣжденія, не слыхалъ болѣе внутренняго голоса и снова падалъ.

«Наконецъ я дошелъ до страшнаго убѣжденія, что не могу подняться, пересталъ думать объ этомъ и хотѣлъ забыться; безнадежное раскаяніе еще сильнѣе тревожило меня. Тогда мнѣ въ первый разъ пришла мысль о самоубійствѣ...».

Какое страшное сознаніе, и сколько въ то же время правдивости и честности въ немъ! Увы! прошли тѣ наивныя времена, когда безхарактерные люди, колотя руками въ грудь, всенародно каялись въ своей дрянности и несостоятельности. Добролюбовъ съ своихъ статьяхъ не мало потѣшался надъ подобными самоуниженіями, не зная, конечно, что будетъ впереди. А впереди произошло то, что сарказмы его произвели свои дѣйствія, самоугрызенія вышли теперь изъ моды, унеся съ собою послѣдній остатокъ правды, который вы могли добиться у безхарактернаго человѣка нашей интеллигенціи. Нынѣ вы ни отъ кого ужь не услышите тѣхъ откровенныхъ сознаній, какія были весьма нерѣдки въ 40-ые и 50-ые годы; подобныя сознанія исчезли изъ самыхъ сокровенныхъ тайниковъ души современныхъ намъ безхарактерныхъ людей. Впрочемъ, надо признаться, что тутъ дѣйствуютъ не одни сарказмы Добролюбова: много здѣсь имѣютъ вліянія духъ и обстоятельства времени. Прежде всѣ общественныя отношенія интеллигентнаго героя были замкнуты въ такомъ тѣсномъ кругѣ и столь были нелѣпы

и неестественны, что онъ не могъ, при всемъ своемъ желаніи, ни въ чемъ найти ни утѣшенія, ни оправданія, и естественно, что въ честномъ сознаніи своей несостоятельности видѣлъ единственную заслугу и право хоть на какое-нибудь уваженіе. Но нынѣ жизнь создала множество такого рода дѣятельностей, въ которыхъ тотъ же самый герой, принося не болѣе пользы, чѣмъ и прежде, можетъ съ достоинствомъ подвизаться на свободной, нейтральной почвѣ, не приходя въ особенно роковыя столкновенія съ людьми не своей среды и оставаясь поэтому совершенно довольнымъ и собою и окружающею его жизнью. Онъ можетъ сказать нѣсколько рѣчей, проникнутымъ дѣловымъ, практическимъ тономъ, въ земскомъ собраніи или па какомъ нибудь съѣздѣ, засѣданіи того или другаго общества,—рѣчей, которыя, можно надѣяться, будутъ приняты въ соображеніе, хотя и останутся безъ послѣдствій. Онъ можетъ сдѣлаться адвокатомъ, концессіонеромъ желѣзной дороги, биржевымъ игрокомъ, разразиться цѣлымъ рядомъ передовыхъ статей въ той или другой газетѣ о пользѣ развитія свеклосахарной промышленности или о излишнемъ распространеніи пьянства въ какой-нибудь Пошехонской губерніи, можетъ наконецъ заняться устройствомъ благородныхъ концертовъ съ благотворительною цѣлію или суетиться и бѣгать до упаду по случаю заведенія общества бережливости, въ тѣхъ видахъ, чтобы люди, которымъ ничего не стоитъ проиграть въ вечеръ 100 рублей въ карты, могли покупать хлѣбъ по 2¼ копѣйки вмѣсто 2½ и проч. проч. При такихъ условіяхъ безукоризненная слава нашего современнаго героя можетъ рости не по днямъ, а по часамъ, деньги сыпаться въ карманы горстями, а, что самое главное, время можетъ быть занято до такой степени, что не останется ни минуты свободной для того, чтобы отдать себѣ отчетъ во всей своей дѣятельности и предаться самоугрызеніямъ при сознаніи, что мы въ сущности тѣ же Нехлюдовы, если не похуже еще. Поэтому всему и такой страшный исходъ, въ какому пришелъ Нехлюдовъ, сдѣлался въ настоящее время почти невозможенъ.

Современные Нахлюдовы не вѣшаютъ болѣе головы, а напротивъ того, чѣмъ ниже падаютъ они нравственно, тѣмъ выше ее задираютъ. Они не оплакиваютъ уже своихъ юношескихъ мечтаній облагодѣтельствовать родъ человѣческій, слиться съ

народомъ и пр. и пр., и только посмѣиваются надъ ними съ практической точки зрѣнія, какъ надъ ребяческими мечтами. Предаваясь оргіямъ и разврату, они дѣлаютъ это не съ тѣмъ, чтобы забыться, уйти отъ своихъ разъѣдающихъ думъ; нѣтъ, они просто развлекаются въ часы досуга, и эти развлеченія въ свою очередь не могутъ привести ихъ къ исходу Нехлюдова, потому что послѣдній забывался, проживая свое наслѣдіе, а они развлекаются, срывая въ то же время новые и новые куши. Развѣ иной въ разгарѣ своихъ развлеченій зарвется до того, что залѣзетъ въ земскій или казенный сундукъ, да и то при этомъ несчастномъ случаѣ только развѣ одинъ изъ десяти окончитъ нехлюдовскою смертію, десять-же предпочтутъ убраться за границу. Однимъ словомъ, вѣкъ лишнихъ людей прошелъ, лишніе люди смѣнились людьми нужными, какъ справедливо замѣтилъ недавно одинъ изъ нашихъ публицистовъ, но прибавимъ мы къ этому справедливому замѣчанію, нужные люди остаются въ сущности попрежнему лишними, и нехлюдовщина продолжаетъ разъѣдать нашу жизнь.

Всѣ разобранныя нами произведенія гр. Толстаго достаточно знакомятъ насъ съ характеромъ его поэтическаго творчества. Творчество это представляется намъ реальнымъ въ истинномъ и высшемъ смыслѣ этого слова. Главный, отличительный признакъ этой реальности—полное отсутствіе всякой идеализаціи, преувеличенія, вымысла.—Произведенія гр. Толстаго отражаютъ, какъ чистое и вѣрное зеркало, людей въ ихъ натуральный ростъ, такими, каковы они представляются намъ въ дѣйствительности, со всѣми ихъ недостатками и слабостями.—Разобравши цѣлый рядъ повѣстей, мы не встрѣтили ни одного типа, который не былъ-бы всецѣло взятъ изъ жизни, въ которомъ мы не видѣли-бы обыкновенныхъ людей, ежедневно встрѣчающихся въ жизни; въ то же время мы не нашли не одного такого характера, который представлялъ бы искусственное воплощеніе различныхъ идеальныхъ качествъ, и о которомъ можно было бы сказать, что хорошо было бы встрѣтить въ жизни такого господина или такую госпожу, но что навѣрное никогда ихъ не встрѣтишь, потому что художникъ ихъ выдумалъ, а не взялъ изъ дѣйствительности. Далѣе затѣмъ мы видимъ, что стоя на такой реальной почвѣ, гр. Л. Толстой обращаетъ вниманіе, не на первое, что только

бросается ему на глаза; его поражаетъ постоянно одно изъ самыхъ характеристическихъ явленій нашего общества,— именно крайняя искусственность, ходульность и призрачность жизни нашей интеллигентной среды; это явленіе и составляетъ главное содержаніе большинства его произведеній.—При этомъ мы должны замѣтить, что подобное содержаніе не искусственно придумывается и проводится писателемъ, а составляетъ вполнѣ естественный результатъ его изученія жизни и непроизвольно отражается во всѣхъ его твореніяхъ, отчего они и производятъ такое сильное, неотразимое впечатлѣніе. Впечатлѣніе это еще болѣе усиливается тѣмъ, что сопоставляя интеллигентную среду съ иными слоями общества, гр. Л. Толстой въ такой же мѣрѣ чуждъ идеализаціи этихъ слоевъ, какъ чуждъ онъ идеализаціи интеллигентнаго слоя; напротивъ того мы видѣли, что по большей части онъ сопоставляетъ своихъ безхарактерныхъ героевъ съ самыми повидимому невзрачными представителями иныхъ слоевъ общества, но въ тоже время какъ-то невольно, можетъ быть безъ вѣдома самого автора, эти невзрачные люди въ родѣ комическаго нѣмца, гувернера Карла Ивановича (въ повѣсти Дѣтство), убогаго Чуриса, бездомнаго уличнаго пѣвца тирольца, воинственно-грубыхъ казаковъ и казачекъ—оставляютъ въ васъ болѣе теплое и отрадное впечатлѣніе, чѣмъ всѣ эти Нехлюдовы, Делесовы и Оленены со своими идеальными стремленіями и нравственнымъ убожествомъ; ваше сердце какъ-то невольно отдыхаетъ на этихъ людяхъ; можетъ быть потому, что въ нихъ при всемъ отсутствіи внѣшняго лоска образованности и свѣтскости, вы встрѣчаете неизмѣримо болѣе той простой, непосредственной и тѣмъ болѣе высокой человѣчности, той цѣльности и невыставляющейся на показъ и на ходули силы, которыя вы тщетно будете искать въ элегантныхъ герояхъ съ ихъ принятыми напрокатъ гуманными идеями и мишурными доблестями

То же самое вы встрѣчаете и въ прочихъ повѣстяхъ гр. Толстаго, на которыхъ я не буду долго останавливаться, иначе статья моя вышла-бы безконечна. Такъ въ повѣсти «Три смерти»—рядомъ съ величественною смертью дерева, срубленнаго дровосѣками, и не менѣе величественною смертію ямщика, поражающаго васъ тѣмъ непритворно-прозаическимъ спокойствіемъ, съ которымъ встрѣчаетъ онъ свой конецъ, Тол-

стой представляетъ смерть молодой барыни, окруженной попеченіями родственниковъ и докторовъ и при самомъ послѣднемъ издыханіи незабывающей капризничать, попрекать въ своей смерти мужа и рисоваться своимъ положеніемъ.

Подобныя-же параллели вы встрѣтите на каждой страницѣ въ очеркахъ севастопольской и кавказской войны. Здѣсь также, рядомъ съ напускною аффектаціею мишурнаго героизма, подъ внѣшнею оболочкою котораго скрывается часто самая не героическая трусость, рядомъ съ тщеславнымъ хвастовствомъ, съ какимъ мнимые герои разсказываютъ о своихъ небывалыхъ подвигахъ, искажая и преувеличивая дѣла, въ которыхъ они участвовали, васъ поражаетъ простое, непритворно-спокойное и въ то же время серьёзное отношеніе къ своему дѣлу нижнихъ чиновъ. Не напрашиваясь на героизмъ и не помышляя о немъ, послѣдніе являются въ сущности передъ вами истинными героями: отъ нихъ зависитъ исходъ всякаго сраженія, они всегда находятся ближе къ смерти, ихъ болѣе падаетъ, и въ то же время они спокойнѣе самыхъ отчаянныхъ храбрецовъ встрѣчаютъ смерть и вмѣстѣ съ тѣмъ имъ не приходитъ и въ голову хвастаться и тщеславиться своимъ мужествомъ.

Очерки Севастопольской войны имѣютъ и другое важное достоинство; именно что они представляютъ первое вполнѣ реальное отношеніе искусства къ военнымъ дѣйствіямъ.—Въ очеркахъ этихъ военныя дѣйствія впервые представляются во всей своей прозаичности, такъ, какъ они совершаются на самомъ дѣлѣ, разоблаченныя отъ того ореола бранныхъ ужасовъ и героическихъ аффектацій, въ какомъ эти дѣйствія представляются въ разсказахъ хвастливыхъ очевидцевъ и въ произведеніяхъ художниковъ романтическаго періода нашей литературы.—Чтобы понять, какой громадный шагъ сдѣлало въ этомъ отношеніи искусство, слѣдуетъ рядомъ съ очерками гр. Л. Толстаго припомнить хотя-бы описаніе Полтавской битвы Пушкина или Бородино Лермонтова. У гр. Толстаго вы не найдете и слѣда такихъ ужасающихъ батальныхъ картинъ, чтобы рука бойцовъ колоть устала и ядрамъ пролетать мѣшала гора кровавыхъ тѣлъ. Читая очерки гр. Толстаго или хотя-бы описаніе того-же Бородинскаго сраженія въ «Войнѣ и мирѣ», вы сразу чувствуете всю ходульность и риторичность вышеупомя-

нутыхъ картинъ Пушкина и Лермонтова, которыя и теперь еще принимаются многими за чистую монету и во всѣхъ школахъ заучиваются и разбираются дѣтьми, какъ образцы истинно художественнаго воспроизведенія сраженій.

Въ этомъ отношеніи гр. Толстой имѣлъ полное право сказать въ концѣ первыхъ своихъ очерковъ о севастопольской войнѣ:

«Гдѣ выраженіе зла, котораго должно избѣгать? гдѣ выраженіе добра, которому должно подражать въ этой повѣсти? Кто злодѣй, кто герой ея? Всѣ хороши и всѣ дурны....

«Герой-же моей повѣсти, котораго я люблю всѣми силами души, котораго старался воспроизвести во всей красотѣ его и который всегда былъ есть и будетъ прекрасенъ—правда».

VI.

Въ судьбѣ гр. Л. Толстаго есть много общаго съ судьбою Гоголя. Дѣятельность Гоголя, какъ всѣмъ извѣстно, имѣетъ два періода: въ первый періодъ онъ писалъ свои произведенія, не задаваясь никакими особенными замыслами: повинуясь своему непосредственному творчеству, онъ воспроизводилъ жизнь такъ, какъ она представлялась его художественному наблюденію, и несмотря на такую повидимому безцѣльность творчества, каждое произведеніе его этого періода исполнено глубокаго и важнаго содержанія, что̀ зависѣло ни отъ чего иного, какъ отъ громадной силы творческихъ способностей Гоголя, умѣвшаго быстро схватывать общія и существенныя явленія жизни. Въ концѣ этого періода онъ началъ писать «Мертвыя Души», имѣя первоначально въ виду опять таки ничего болѣе, какъ нѣсколько картинъ изъ нравовъ русскаго захолустья.— Но вотъ наступилъ для Гоголя періодъ мистицизма; сообразно новому психическому настроенію, Гоголю недостаточно уже показалось прежняго непосредственнаго творчества.

Онъ началъ стремиться къ тому, чтобы каждый его шагъ въ жизни былъ исполненъ высшихъ цѣлей, стремился къ осуществленію тѣхъ мистическихъ идеаловъ, которые онъ себѣ поставилъ; сообразно этому онъ сталъ задавать себѣ вопросы: къ чему я пишу? какая цѣль всего этого осмѣянія пошлости?

Вся его литературная дѣятельность показалась ему безцѣльною, и онъ началъ ее искусственно направлять къ своимъ идеаламъ.—Мы знаемъ, какъ это отразилось на «Мертвыхъ Душахъ». Въ первой части «Мертвыхъ Душъ» мы видимъ того-же Гоголя, какой извѣстенъ намъ по «Миргороду» «Арабескамъ», «Ревизору», но чѣмъ далѣе подвигаемся мы въ чтеніи второй части, тѣмъ болѣе Гоголь-художникъ превращается передъ нами въ Гоголя-мистика, являются божественные помѣщики и божественные откупщики, очевидно, взятые не изъ жизни, а отвлеченно задуманные въ высшихъ соображеніяхъ; начинаются мистическія разсужденія и, надо полагать, что еслибы Гоголю удалось кончить «Мертвыя Души», въ третьей части не было-бы уже и слѣда чего либо художественнаго, какихъ-либо характеровъ, сценъ, а былъ бы рядъ поученій въ духѣ «Переписки съ друзьями».

Совершенно то же самое представляетъ гр. Л. Толстой въ своей литературной дѣятельности.—Всѣ произведенія его до «Войны и мира» являются передъ нами плодомъ непосредственнаго творчества и соотвѣтствуютъ вполнѣ первому періоду литературной дѣятельности Гоголя. Богатство ихъ содержанія въ свою очередь зависитъ отъ массы художественныхъ наблюденій гр. Толстаго и силы его творческихъ способностей, при помощи которыхъ онъ усвоилъ эту массу и вывелъ изъ нея нѣсколько существенныхъ обобщеній жизни.

Далѣе слѣдуетъ произведеніе гр. Толстаго «Война и миръ», которое по обширности замысла играетъ такую-же роль относительно предъидущихъ произведеній гр. Толстаго, какую играютъ Мертвыя Души въ ряду прочихъ произведеній Гоголя. Отъ мелкихъ очерковъ, частныхъ эпизодовъ жизни, гр. Толстой приступаетъ къ обширной эпопеѣ, имѣющей цѣлію представить цѣлую историческую эпоху во всемъ разнообразіи ея жизни.

И опять-таки подобно Гоголю, гр. Толстой въ первой половинѣ своего произведенія (въ первыхъ 3-хъ томахъ) является передъ нами тѣмъ-же гр. Толстымъ, какимъ мы его знали прежде.—Повидимому, онъ не имѣетъ въ виду ничего инаго, какъ только представить галлерею картинъ изъ жизни великосвѣтскаго общества начала нынѣшняго столѣтія.—Съ этой стороны романъ не только представляется безукоризненнымъ,

но его можно поистинѣ назвать явленіемъ небывалымъ еще въ нашей литературѣ, однимъ изъ замѣчательнѣйшихъ памятниковъ ея. Въ самомъ дѣлѣ, въ литературѣ нашей вы найдете множество романовъ, повѣстей, драмъ и комедій и даже поэмъ изъ великосвѣтской жизни,—но вы не найдете такого полнаго, обстоятельнаго, рельефнаго изображенія этой жизни, какое представляется вамъ въ «Войнѣ и мирѣ». Здѣсь вы видите рядъ существенныхъ типовъ великосвѣтской среды, исчерпывающихъ все ея содержаніе. Поистинѣ такіе характеры, какъ семейство Болконскихъ, Курагиныхъ, Ростовыхъ, Пьеръ Безухій, Долоховъ, Билибинъ и пр. и пр. — представляютъ типы, нисколько не менѣе существенные, чѣмъ безсмертные типы «Мертвыхъ Душъ» и могутъ служить для той среды, представителями которой являются они, такими же родовыми названіями, кличками, какъ Чичиковъ, Маниловъ, Ноздревъ, Плюшкинъ и проч. Типы эти изслѣдованы во всѣхъ основныхъ пружинахъ своей жизни и въ самыхъ мельчайшихъ психическихъ движеніяхъ. Всѣхъ ихъ можно подраздѣлить на четыре разряда. Одни изъ нихъ, каковы Курагины, Долоховъ представляютъ послѣднюю и крайнюю степень нравственнаго растлѣнія, доходящую до отсутствія въ нихъ всего человѣческаго не только по отношенію къ людямъ иныхъ слоевъ общества, но и къ стоящимъ на одной съ ними высотѣ; это римляне послѣдняго періода имперіи, люди, приближаться къ которымъ положительно опасно, потому что въ случаѣ надобности они не только готовы унизить ваше человѣческое достоинство, лишить васъ чести, пустить васъ по міру въ одной рубашкѣ, но даже и отправить васъ на тотъ свѣтъ. При этомъ нужно замѣтить, что самые страшные изъ этихъ плотоядныхъ звѣрей суть такіе, которые при всѣхъ своихъ чудовищныхъ свойствахъ сохраняютъ извѣстную долю сдержанности, такта, изворотливости,—которые постоянно себѣ на умѣ и умѣютъ надѣвать на себя личины различныхъ добродѣтелей, каковъ, напримѣръ, князь Курагинъ; не менѣе ужасенъ и Долоховъ съ своею отчаянною дерзостью, стальными нервами и обаяніемъ недюжинныхъ силъ, сидѣвшихъ въ этомъ человѣкѣ. Въ лицѣ Долохова гр. Толстой окончательно развѣнчиваетъ и ставитъ на свое мѣсто тотъ демоническій типъ, который въ 30-е и 40-е годы былъ столь любезенъ нашей художественной лите-

ратурѣ, что она, и до сихъ поръ, не можетъ вспомнить о немъ безъ нѣкотораго томнаго вздоха. Долоховъ—это почти тотъ же Печоринъ,—но вмѣсто удивленія возбуждающій подъ правдивымъ перомъ гр. Толстаго одно омерзеніе.—Большаго снисхожденія заслуживаютъ типы въ родѣ Анатолія Курагина и сестры его Елены Безухой,—въ томъ отношеніи, что животные инстинкты до такой уже степени заглушаютъ въ нихъ и разсудокъ, и волю, что по большей части герои эти сами дѣлаются жертвами своего разврата.

Ко второй категоріи принадлежатъ карьеристы въ родѣ Бориса Друбецкаго, Берга—выслуживающіе и наживающіеся. Вѣчно приглаженные и припомаженные, умѣренные въ своихъ страстяхъ и привычкахъ, сдержанные и почтительные, они имѣютъ видъ порядочныхъ людей, но въ сущности въ нихъ не болѣе человѣчности, чѣмъ и въ людяхъ первой категоріи. Они не сдѣлаютъ вамъ безъ нужды зла,—и только, но не ждите отъ нихъ добра, помощи, участія: сухи и холодны они ко всему, въ чемъ не видятъ своего личнаго блага. Ихъ дружба и любовь—опредѣляются различными служебными видами, и какъ бы вы глубоко ни были привязаны къ одному изъ такихъ господъ, если только можно быть къ нимъ привязаннымъ, будьте увѣрены, что выжавши изъ васъ весь нужный для нихъ сокъ, они васъ бросятъ, какъ тряпку, едва только потеряютъ въ васъ надобность. Такъ Борисъ прекратилъ дружбу съ Ростовымъ, которымъ былъ облагодѣтельствованъ, какъ только всталъ на свои ноги. Въ своихъ служебныхъ и другихъ узко-своекорыстныхъ разсчетахъ, они не любятъ бывать въ обществѣ людей, не только стоящихъ ниже ихъ, но и равныхъ, и предпочитаютъ забираться въ высшія сферы, гдѣ низкопоклонничая и услуживая, мало-по-малу втираются въ довѣріе, затѣмъ незамѣтно становятся на равную ногу и лѣзутъ еще выше.

Къ третьей категоріи относятся Ростовы. Это люди, у которыхъ вы найдете много человѣческаго: они способны безкорыстно любить и увлекаться, способны подъ-часъ на какой-нибудь высокій порывъ подъ вліяніемъ минуты, но вмѣстѣ съ тѣмъ, вы видите въ нихъ полное отсутствіе всякой цѣли въ жизни, какого нибудь серьёзнаго дѣла, малѣйшаго анализа жизни и людей. Это какія-то взрослыя дѣти съ безмятежными

дѣтскими вѣрованіями и воззрѣніями на міръ, слѣпо отдающіяся настоящей минутѣ, вѣчно жаждущія широкаго и свѣтлаго веселья, счастія. Если жизнь иногда и угоститъ ихъ какою нибудь горькою минутою, стоитъ погладить ихъ по головкѣ и поднесть имъ новую игрушку, и они мигомъ забываются, утѣшаются и опять довольны и веселы; если вдругъ подвернутся обстоятельства, которыя нарушаютъ неприкосновенность ихъ дѣтскихъ воззрѣній, они слѣпо гонятъ отъ себя прочь сомнѣнія и считаютъ какимъ-то преступленіемъ допускать въ себѣ малѣйшую самостоятельность мысли. Такъ когда имѣніе ихъ отъ слишкомъ широкой жизни разстраивается, они спѣшатъ выписать изъ полка сына своего Николушку, воображая, что онъ какимъ-то небеснымъ чудомъ выручитъ изъ бѣды. Николушка пріѣзжаетъ; ничего не понимая въ счетахъ и разсчетахъ по имѣнію, набрасывается на управляющаго Митеньку, осыпавъ его градомъ ругательствъ, сбрасываетъ его съ лѣстницы, и все семейство сразу успокоивается послѣ такой сцены, какъ будто отъ одного этого имѣніе должно поправиться, и затѣмъ снова начинается рядъ веселыхъ праздниковъ и охотъ. Такъ впечатлительная Наташа, почитавшая своимъ долгомъ влюбляться въ каждаго встрѣчнаго новаго мужчину, вдругъ вздумала послѣ помолвки своей съ княземъ Андреемъ бѣжать съ Анатолемъ Курагинымъ. Послѣ скандала, какой вышелъ изъ этого, и отказа жениха, она впала въ отчаяніе, была близка къ смерти, но стоило Пьеру Безухову радушно улыбнуться ей и сказать нѣсколько словъ участія, и она снова разцвѣла, и всего прежняго какъ ни бывало. Такъ Николай Ростовъ послѣ тильзитскаго мира, несправедливости, которой подвергся другъ его Денисовъ, ужасающаго зрѣлища госпиталей раненныхъ, вдругъ исполнился неожиданныхъ сомнѣній, готовыхъ поколебать весь его экстазъ, которымъ онъ проникался на различныхъ смотрахъ и парадахъ; но онъ, ударивъ злобно по столу кулакомъ, вскричалъ товарищу, который выражалъ подобныя же сомнѣнія:

— Наше дѣло исполнять свой долгъ, рубиться и не думать, вотъ и все. И сомнѣній его какъ ни бывало.

Къ четвертой категоріи относятся люди, развившіе въ себѣ высшія умственныя и нравственныя стремленія путемъ чтенія и размышленій. Они постоянно спрашиваютъ себя: зачѣмъ мы

живемъ, ищутъ цѣли жизни, стараются анализировать и опредѣлять различныя явленія, окружающія ихъ, отношенія свои къ другимъ людямъ. Таковы князья Болконскіе—отецъ, дочь Марія и сынъ Андрей, Пьеръ Безухій. Но такъ-какъ они продолжаютъ стоять въ тѣхъ же ненормальныхъ условіяхъ жизни, то цѣли, которыя они себѣ ставятъ, не выходятъ естественно изъ ихъ жизни и натуры, а искусственно придумываются, чтобы хоть чѣмъ нибудь наполнить пустоту жизни, и какъ такія цѣли ни прекрасны бываютъ въ теоріи, осуществленныя или обращаются въ ничто, или вмѣсто добра приносятъ неожиданное зло тѣмъ людямъ, къ которымъ относятся. Однимъ словомъ, здѣсь мы встрѣчаемся съ тою же нехлюдовщиною.

Такъ старикъ Болконскій, отставной генералъ-аншефъ екатерининскихъ временъ, жившій безвыѣздно въ деревнѣ, твердившій, что есть только два источника людскихъ пороковъ: праздность и суевѣріе, и вслѣдствіе этого убѣжденія наполнявшій свою жизнь никому ненужною дѣятельностью въ родѣ точенія на токарномъ станкѣ, перестроекъ по имѣніямъ и выкладокъ изъ высшей математики, державшій весь домъ подъ гнетомъ суроваго деспотизма,—воображалъ, что существенная цѣль, оставшаяся ему въ жизни—воспитаніе дочери Маріи. Но все это воспитаніе заключалось въ томъ, что онъ до двадцати лѣтъ давалъ ей уроки алгебры и геометріи, глумился надъ ея некрасивостью и распредѣлялъ всю ея жизнь въ безпрерывныхъ занятіяхъ. Молодая дѣвушка до такой степени была подавлена его деспотизмомъ, что входя въ кабинетъ отца, молилась предварительно, чтобы свиданіе сошло благополучно. Подъ вліяніемъ такого страха, мололая дѣвушка, очевидно, не могла ничего понимать изъ геометрическихъ толкованій отца, что̀ каждый разъ окончательно выводило изъ себя старика и происходили бурныя сцены. Подъ вліяніемъ такого деспотизма, Марія кинулась въ крайній мистицизмъ, читала мистическія книги, окружала себя странниками и калѣками, мечтала сама сдѣлаться странницею, и воображала, что главная цѣль ея жизни—самоотверженіе ради отца. Обезличеніе ея при этомъ доходило до такой степени, что она, столь терпѣвшая отъ отца, приходила въ ужасъ, когда братъ ея, князь Андрей, относился въ ея глазахъ къ отцу критически.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, живя постоянно въ отвлеченномъ мірѣ духовныхъ созерцаній, перемѣшанныхъ съ сухими алгебраическими выкладками,—она не имѣла ни малѣйшаго понятія ни о людяхъ, ни о жизни, до крайней и самой комической наивности. Такъ, когда князь Курагинъ пріѣхалъ къ нимъ сватать сына, она тотчасъ-же плѣнилась молодымъ человѣкомъ. Онъ ей показался добръ, храбръ, рѣшителенъ, мужественъ и великодушенъ. Потомъ она застала весьма скандалезную сцену между Анатоліемъ и гувернанткою-француженкою M-le Bourienne; но и тутъ она не разочаровалась въ своемъ жинихѣ; она поняла въ своей наивности сцену эту такъ, что Анатоль и M-le Bourienne влюбились другъ въ друга; въ то же время разсудила—что она не должна мѣшать ихъ счастію, такъ-какъ цѣль ея жизни—самоотверженіе, и отказала жениху на этомъ основаніи.—Но еще комичнѣе представляется сцена ея съ возмутившимися крестьянами при нашествіи французовъ.—Возбужденные ложными слухами, крестьяне ожидали отъ французовъ воли, и не только не хотѣли сами переселяться при ихъ нашествіи, но не соглашались отпустить и барышню, которая осталась въ имѣніи одна послѣ смерти отца. Между тѣмъ Марія поняла ихъ волненіе такимъ образомъ, что они боятся, что она уѣдетъ и оставитъ ихъ въ жертву французамъ, и она обратилась къ собравшимся крестьянамъ съ такою рѣчью:

— Я очень рада, что вы пришли, начала княжна Марія, не поднимая глазъ и чувствуя, какъ быстро и сильно билось ея сердце.—Мнѣ Дронушка сказалъ, что васъ раззорила война. Это наше общее горе, и я ничего не пожалѣю, чтобы помочь вамъ. Я сама ѣду, потому что опасно здѣсь... и непріятель близко... потому что... Я вамъ отдаю все, мои друзья, и прошу васъ взять все, весь хлѣбъ нашъ, чтобы у васъ не было нужды. А если вамъ сказали, что я отдаю вамъ хлѣбъ съ тѣмъ, чтобы вы остались здѣсь, то это неправда. Я, напротивъ, прошу васъ уѣзжать со всѣмъ вашимъ имуществомъ въ нашу подмосковную, и тамъ я беру на себя и обѣщаю вамъ, что вы не будете нуждаться. Вамъ дадутъ и домы, и хлѣба.— Княжна остановилась. Въ толпѣ только слышались вздохи.

— Я не отъ себя дѣлаю это, продолжала княжна, я это дѣлаю именемъ покойнаго отца, который былъ вамъ хорошимъ бариномъ, и за брата, и за его сына.

— Вишь научила ловко, за ней въ крѣпость поди! Домà разори, да въ кабалу и ступай. Какъ же? Я хлѣбъ, молъ, отдамъ! слышались голоса въ толпѣ. Княжна Марья, опустивъ голову, вышла изъ круга и пошла въ домъ.

«Долго эту ночь, читаемъ мы далѣе, княжна Марья сидѣла у открытаго окна въ своей комнатѣ, прислушиваясь къ звукамъ говора мужиковъ, доносившагося съ деревни, но она не думала о нихъ. Она чувствовала, что сколько бы она ни думала о нихъ, она не могла бы понять ихъ...»

Становится просто жалко и страшно за человѣка при видѣ такого крайняго идіотизма, до котораго была доведена дѣвушка, сама по себѣ неглупая и съ различными идеальными стремленіями.

Что касается до брата ея, князя Андрея, то на первый взглядъ онъ вамъ можетъ показаться человѣкомъ съ глубокимъ умомъ, твердымъ и энергическимъ характеромъ, солиднымъ, практическимъ, но вглянувшись пристальнѣе въ различныя пертурбаціи его жизни, вы открываете въ немъ тѣ же знакомыя вамъ черты Нехлюдова. Женившись, Богъ вѣсть какъ, на пустомъ и кокетливомъ свѣтскомъ ребенкѣ, онъ скучаетъ женою, скучаетъ свѣтскою жизнію. «Свяжи, говоритъ онъ, себя съ женщиной, и, какъ скованный колодникъ, теряешь всякую свободу. И все что есть въ тебѣ надеждъ и силъ, все только тяготитъ и раскаяніемъ мучаетъ тебя. Гостиныя сплетни, балы, тщеславіе, ничтожество,—вотъ заколдованный кругъ, изъ котораго я не могу выйти. Я теперь отправляюсь на войну, на величайшую войну, какая только бывала, а я ничего не знаю и никуда не гожусь...»

Однакожъ онъ отправился-таки на войну, и здѣсь мы встрѣчаемся съ поразительною двойственностью логики въ подобныхъ людяхъ: съ одной стороны вы видите въ немъ сознаніе, что онъ ничего не знаетъ и никуда не годится, но это сознаніе не мѣшаетъ ему мечтать, что онъ совершитъ одинъ или нѣсколько такихъ подвиговъ, что сдѣлается спасителемъ отечества и слава его вознесется наравнѣ съ Наполеономъ. Эти мечты особенно обуяли его, когда онъ узналъ о переходѣ французовъ чрезъ Таборскій мостъ и объ опасности, въ которую была этимъ переходомъ поставлена русская армія. «Извѣстіе это, читаемъ мы въ романѣ, было горестно и вмѣстѣ съ

тѣмъ пріятно князю Андрею. Какъ только онъ узналъ, что русская армія находится въ такомъ безнадежномъ положеніи, ему пришло въ голову, что ему-то именно предназначено вывести русскую армію изъ этого положенія, что вотъ онъ, тотъ Тулонъ, который выведетъ его изъ рядовъ неизвѣстныхъ офицеровъ и откроетъ ему первый путь къ славѣ! Слушая Билибина, онъ соображалъ уже, какъ, пріѣхавъ къ арміи, онъ на военномъ совѣтѣ подастъ мнѣніе, которое одно спасаетъ армію, и какъ ему одному будетъ поручено исполненіе этого плана».

Не правда-ли, какъ напоминаютъ подобныя мечты весь сонмъ Нехлюдовыхъ.

Мы уже говорили выше, что сразу безъ труда, безъ борьбы сдѣлаться историческимъ героемъ, благодѣтелемъ и спасителемъ человѣческаго рода—объ этомъ только и мечтаютъ Нехлюдовы, въ этомъ только и полагаютъ они всю цѣль жизни; всѣ другія, болѣе скромныя цѣли, кажутся имъ жалкимъ удѣломъ толпы, недостойными ихъ милости.

Здѣсь мы опять встрѣчаемся съ однимъ изъ тѣхъ сопоставленій, которыя составляютъ отличительную черту таланта гр. Толстаго и такъ рѣзко оттѣняютъ несостоятельность его героевъ. Между тѣмъ, какъ князь Андрей все ждалъ минуты, когда онъ со знаменемъ въ рукахъ спасетъ все россійское войско, онъ встрѣтилъ накапунѣ передъ дѣломъ при Шенграбенѣ въ палаткѣ маркитанта маленькаго, грязнаго, худаго артиллерійскаго офицера Тушина, который былъ безъ сапогъ, отдавши ихъ сушить маркитанту. Въ немъ не было и тѣни чего-нибудь героическаго, и вѣроятно ему и въ голову не приходило спасать Россію. Робкій и застѣнчивый передъ начальствомъ, онъ представлялъ въ своей фигурѣ что-то особенное, совершенно не военное, нѣсколько комическое, но чрезвычайно привлекательное. И каково-же было удивленіе князя Андрея, когда на другой день, между тѣмъ какъ онъ безъ пользы слонялся по полю сраженія, этотъ невзрачный офицерикъ оказался истиннымъ героемъ и тѣмъ болѣе поразительнымъ, что геройство это было совершенно безсознательное. Будучи начальникомъ батареи, расположенной въ центрѣ, онъ одинъ съ небольшою ротою, безъ прикрытія, держался съ четырьмя пушками до самаго конца дѣла, отразилъ картечью двѣ атаки и

зажегъ деревню Шенграбенъ, между тѣмъ какъ непріятель выставилъ противъ этой назойливой батареи десять пушекъ, полагая, что тутъ сосредоточены главныя наши силы и никакъ не воображая дерзости стрѣльбы четырехъ, никѣмъ не защищенныхъ, пушекъ. Поразительнѣе всего при этомъ было то, что Тушинъ и не замѣчалъ своего отчаяннаго геройства. Онъ былъ на батареѣ, какъ дома, покуривалъ свою коротенькую трубочку, дружески разговаривалъ со своими пушками, называя ихъ различными прозвищами, иногда поморщивался, когда возлѣ него падалъ какой-нибудь солдатикъ, и только тогда окончилъ свое дѣло, когда получилъ черезъ Болконскаго приказаніе отступать. И, какъ часто встрѣчается съ истинными героями, вмѣсто удивленія и награды, онъ получилъ выговоръ отъ главнокомандующаго, зачѣмъ при отступленіи не успѣлъ захватить съ собою всѣхъ пушекъ.

«Въ то время на порогѣ показался Тушинъ, читаемъ мы въ романѣ: — робко пробиравшійся изъ-за спинъ генераловъ. Обходя генераловъ въ тѣсной избѣ, сконфуженный какъ и всегда при видѣ начальства, Тушинъ не разсмотрѣлъ древка знамени и споткнулся на него. Нѣсколько голосовъ засмѣялось.

— Какимъ образомъ орудіе оставлено? спросилъ Багратіонъ, нахмурившись не столько на капитана, сколько на смѣявшихся, въ числѣ которыхъ громче всѣхъ былъ Жерковъ. Тушину теперь только, при видѣ грознаго начальства, во всемъ ужасѣ представилась его вина и позоръ въ томъ, что онъ, оставшись живъ, потерялъ два орудія. Онъ такъ былъ взволнованъ, что до сей минуты не успѣлъ подумать объ этомъ. Смѣхъ офицеровъ еще больше сбилъ его съ толку. Онъ стоялъ передъ Багратіономъ съ дрожащею нижнею челюстью, и едва проговорилъ: Не знаю... ваше сіятельство... людей не было, ваше сіятельство.

— Вы бы могли изъ прикрытія взять!

Что прикрытія не было, этого не сказалъ Тушинъ, хотя это была сущая правда. Онъ боялся *подвести* этимъ другаго начальника, и молча, остановившимися глазами, смотрѣлъ прямо въ лицо Багратіону, какъ смотритъ сбившійся ученикъ въ глаза экзаменатору.

Молчаніе было довольно продолжительно. Князь Багратіонъ, видимо, не желая быть строгимъ, не находилъ что сказать,

остальные не смѣли вмѣшаться въ разговоръ. Князь Андрей исподлобья смотрѣлъ на Тушина, а пальцы его рукъ нервически двигались.

— Ваше сіятельство, прервалъ князь Андрей молчаніе своимъ рѣзкимъ голосомъ: — вы меня изволили послать къ батареѣ капитана Тушина. Я былъ тамъ и нашелъ двѣ трети людей и лошадей перебитыми, два орудія исковерканными и прикрытія никакого.

Князь Багратіонъ и Тушинъ одинаково упорно смотрѣли теперь на сдержанно и взволнованно говорившаго Болконскаго.

— И ежели, ваше сіятельство, позволите мнѣ высказать свое мнѣніе, продолжалъ онъ:—то успѣхомъ дня мы обязаны болѣе всего дѣйствію этой батареи и геройской стойкости капитана Тушина съ его ротой, сказалъ князь Андрей, и не ожидая отвѣта, тотчасъ-же всталъ и отошелъ отъ стола.

Князь Багратіонъ посмотрѣлъ на Тушина, и, видимо не желая выказать недовѣрія къ рѣзкому сужденію Болконскаго, и вмѣстѣ съ тѣмъ чувствуя себя не въ состояніи вполнѣ вѣрить ему, наклонилъ голову и сказалъ Тушину, что онъ можетъ идти. Князь Андрей вышелъ за нимъ.

— Вотъ спасибо, выручилъ, голубчикъ, сказалъ ему Тушинъ.

Князь Андрей оглянулъ Тушина и, ничего не сказавъ, отошелъ отъ него. Князю Андрею было грустно и тяжело. Все это было такъ странно, такъ не похоже на то, чего онъ надѣялся».

Я не знаю, нужно-ли входить въ дальнѣйшія разъясненія всей глубины и мѣткости подобнаго сопоставленія мишурнаго, кичливаго стремленія къ геройству, изъ котораго никогда ничего не выходитъ, какъ изъ лопнувшаго мыльнаго пузыря, рядомъ съ истиннымъ геройствомъ, которое сплошь и рядомъ всплываетъ неожиданно въ жизни въ какомъ-нибудь маленькомъ, незамѣтномъ, смѣшномъ человѣкѣ, и сіяетъ кроткою, гуманною простотою, соединяясь иногда съ наивною робостью и застѣнчивостью передъ ложнымъ блескомъ различныхъ надутыхъ и пустыхъ величій. Вышеприведенная сцена говоритъ сама по себѣ ясно и вразумительно: ничтожному изъ малыхъ сихъ ничего не стоитъ затмить тебя, высокопарный герой высшаго полета. Выведеніе на сцену Тушина рядомъ съ Болконскимъ принадлежитъ, по моему мнѣнію, къ числу самыхъ

свѣтлыхъ, можно сказать великихъ проблесковъ таланта гр. Толстаго.

Послѣ того, какъ Болконскому не удалось спасти отъ гибели русскую армію, раненый онъ вышелъ въ отставку, и захандрилъ. Отъ скуки онъ занялся различными либеральными идеями, бродившими въ то время въ обществѣ; такъ, занявшись устройствомъ имѣній, онъ перечислилъ 300 душъ крестьянъ въ вольные хлѣбопашцы (это былъ одинъ изъ первыхъ примѣровъ въ Россіи), въ другихъ барщину замѣнилъ оброкомъ. Это было поистинѣ единственное доброе дѣло, которое онъ сдѣлалъ впродолженіе всей своей жизни. Но вы подумаете, можетъ быть, что онъ это сдѣлалъ, проникнутый тою гуманною, христіанскою, теплою любовью къ низшимъ міра сего, которая одна могла бы смирить его гордыню, смягчить его черствое сердце, утолить его праздную тоску и наполнить пустоту его жизни?.. Нѣтъ, видно, то безпредѣльное небо, которое созерцалъ онъ съ такимъ умиленіемъ, раненый при Аустерлицѣ — внушало ему болѣе любви къ самому себѣ, чѣмъ къ ближнимъ. По крайней мѣрѣ, мы видимъ, что послѣ всѣхъ своихъ возвышенныхъ мыслей онъ не сдѣлался хоть на столько человѣчнѣе, чтобы постыдиться произносить подобныя циническія рѣчи:

— Ну, вотъ ты хочешь освободить крестьянъ, говорилъ онъ Пьеру: — это очень хорошо; но не для тебя (ты, я думаю, никого не засѣкалъ и не посылалъ въ Сибирь), и еще меньше для крестьянъ. Ежели ихъ бьютъ, сѣкутъ, посылаютъ въ Сибирь, то я думаю, что имъ отъ этого нисколько не хуже. Въ Сибири ведетъ онъ ту же свою скотскую жизнь, а рубцы на тѣлѣ заживутъ, и онъ также счастливъ, какъ и былъ прежде. А нужно это для тѣхъ людей, которые гибнутъ нравственно, наживаютъ себѣ раскаяніе, подавляютъ это раскаяніе и грубѣютъ отъ того, что у нихъ есть возможность казнить право и неправо. Вотъ кого мнѣ жалко, и для кого бы я желалъ освободить крестьянъ. Ты можетъ быть не видалъ, а я видѣлъ, какъ хорошіе люди, воспитанные въ этихъ преданіяхъ неограниченной власти, съ годами, когда они дѣлаются раздражительнѣе, дѣлаются жестоки, грубы, знаютъ это, не могутъ удержаться и все дѣлаются несчастнѣе и несчастнѣе. Князь Андрей говорилъ это съ такимъ увлеченіемъ, что Пьеръ не-

вольно подумалъ о томъ, что мысли эти наведены были Андрею его отцомъ. Онъ ничего не отвѣчалъ ему.

— Такъ вотъ кого мнѣ жалко—человѣческаго достоинства, спокойствія совѣсти, чистоты, а не ихъ спинъ и лбовъ, которыя, сколько ни сѣки, сколько ни брей, все остаются такими же спинами и лбами».

Подумаешь, до какого отсутствія всякой здравой логики можетъ довести человѣка безчеловѣчіе узкаго сословнаго эгоизма. Андрей не въ силахъ оказывается понять той простой истины, что грубость, жестокость потому только и могутъ считаться пороками, ведущими за собой угрызенія совѣсти, что онѣ причиняютъ страданія тѣмъ людямъ, на которыхъ обрушиваются. Если же князь Андрей полагалъ, что сколько ни сѣки спинъ, ни брей лбовъ, они все останутся такими же спинами и лбами, и что мужикамъ нисколько не хуже, если ихъ бьютъ, сѣкутъ, посылаютъ въ Сибирь,—то спрашивается, что же послѣ этого находилъ онъ худаго въ грубости и жестокости людей своей среды. На какомъ иномъ основаніи мы не раскаяваемся въ жестокости и не грубѣемъ, когда колемъ на щепы дерево или рвемъ на клочки бумагу, какъ не на томъ убѣжденіи, что дерево и бумага не чувствуютъ при этомъ ни нравственной, ни физической боли?

Если во всякомъ случаѣ лучшій представитель своей среды является передъ нами въ такомъ печальномъ видѣ, то я не знаю, нужно ли послѣ того много распростаняться о Пьерѣ Безухомъ, объ этой жалкой игрушкѣ въ рукахъ всѣхъ окружавшихъ его людей, у котораго вся жизнь представляетъ рядъ непредвидимыхъ случайностей, бросающихъ его, какъ куклу, то въ ту, то въ другую сторону, безъ малѣйшей упругости сопротивленія съ его стороны. Отвлеченный теоретикъ, увлекавшійся французскою революціею и поклонявшійся Наполеону, онъ все ищетъ, какимъ бы заняться ему дѣломъ, и вдругъ неожиданно дѣлается первымъ богачемъ, наслѣдуя титулы и имѣнія графа Безухова; втягивается въ омутъ свѣтской жизни, опивается, объѣдается, женится на Еленѣ Курагиной, увлекшись бѣлизною ея плечъ, для того чтобы разойтись съ нею при первой ея измѣнѣ и вызвать на дуэль перваго ея любовника. Столько-же неожиданно дѣлается потомъ изъ вольтеріанца массономъ, встрѣтясь во время пути на станціи съ старымъ массономъ временъ

Екатерины, пишетъ мистическій дневникъ, разъѣзжаетъ по своимъ имѣніямъ съ цѣлію улучшить бытъ крестьянъ, заводитъ школы, больницы, аптеки и остается доволенъ своею дѣятельностью, особенно торжественными встрѣчами, какія устраиваютъ ему крестьяне по приказу управляющихъ, и не замѣчаетъ при этомъ, сколько новыхъ тягостей налагаютъ на крестьянъ эти управляющіе по причинѣ его благодѣтельныхъ распоряженій. Передъ войною 12-го года онъ, посредствомъ мистическихъ выкладокъ, преобразовавши при этомъ свою фамилію въ l'Russe Besuhof, опредѣлилъ, что судьба его связана таинственною связью съ судьбою Наполеона, и исполнился великой радости, мечтая, что «его любовь къ Ростовой, антихристъ, нашествіе Наполеона, комета, 666, l'empereur, Napoleon и l'Russe Besuhof, все это вмѣстѣ должно было созрѣть, разразиться и вывести его изъ того заколдованнаго, ничтожнаго міра московскихъ привычекъ, въ которыхъ онъ чувствовалъ себя плѣненнымъ, и привести его къ великому подвигу и великому счастію». Въ такихъ мечтаніяхъ онъ полетѣлъ въ дѣйствующую армію, не опредѣляясь однакоже въ военную службу, безцѣльно толкался по батареямъ во время бородинскаго сраженія, остался въ Москвѣ во время вступленія въ нее французовъ; тутъ созрѣла у него мысль убить Наполеона, онъ одѣлся въ мужицкое платье, купилъ пистолетъ и ножъ, но вмѣсто исполненія своего трагическаго замысла, очень весело побесѣдовалъ о любви съ французскимъ капитаномъ за бутылкой бордо, и потомъ былъ захваченъ французами по подозрѣнію въ поджигательствѣ на пожарѣ, гдѣ онъ спасалъ изъ огня какого-то ребенка.

Однимъ словомъ, въ Пьерѣ Безуховъ является передъ нами Нехлюдовъ начала нынѣшняго столѣтія въ полномъ своемъ блескѣ, со всѣми своими характеристическими особенностями, въ такой неподкрашенной правдѣ, въ какой одинъ только гр. Толстой умѣетъ воспроизводить подобные типы.

VII.

Тремя первыми частями исчерпывается, по нашему мнѣнію, романъ во всемъ, что только есть въ немъ лучшаго. Не отрицаю, что въ слѣдующихъ частяхъ есть въ немъ множество пре-

красныхъ сценъ и картинъ, стоящихъ вполнѣ въ уровнѣ таланта гр. Толстого, но со второю половиною романа случилась исторія, во многомъ напоминающая собою исторію съ «Мертвыми Душами» Гоголя. Чѣмъ далѣе читаете вы романъ, тѣмъ болѣе и болѣе непосредственно правдивое художественное творчество автора смѣняется передъ вами—странною неестественностью, надуманностію. Безпристрастное отношеніе къ изображаемымъ предметамъ смѣняется односторонними, пристрастными взглядами на нихъ съ точки зрѣнія мистическихъ теорій; художественныя сцены и картины все болѣе и болѣе смѣняются длинными отвлеченными разсужденіями, причемъ гр. Толстой не замѣчаетъ, какъ одну и ту же канитель, растягивая на десяткахъ страницъ, онъ повторяетъ десятки разъ; наконецъ послѣдняя часть шестаго тома представляетъ изъ себя одни сплошныя разсужденія на различныя историко-философскія темы; художникъ исчезаетъ здѣсь совершенно, уступая мѣсто мыслителю.

Такое странное и печальное явленіе можно объяснить себѣ только однимъ способомъ. До созданія «Войны и Мира» гр. Толстой ограничивался одними наблюденіями конкретныхъ фактовъ жизни, дѣлая изъ нихъ тѣ художественныя обобщенія, которыя онъ и представилъ намъ въ своихъ произведеніяхъ. При этомъ міросозерцаніе его, основныя философскія убѣжденія оставались, такъ-сказать, нетронутыми, въ той степени развитія, въ какой гр. Толстой оставилъ нѣкогда школьную скамью. Такъ, напримѣръ, его историческіе взгляды не шли дальше учебниковъ, въ которыхъ всѣ историческіе факты объясняются доброю и злою волею стоящихъ впереди историческихъ дѣятелей и вожаковъ. Задумавши писать историческій романъ, изображающій жизнь цѣлой эпохи и притомъ эпохи, сильной важными историческими событіями, гр. Толстой необходимо приступилъ къ изученію ея по различнымъ памятникамъ, мемуарамъ, біографіямъ и сочиненіямъ европейскихъ и русскихъ историковъ. Такое изученіе раздвинуло умственный горизонтъ гр. Толстаго, открывши ему новыя области жизни и мысли, о которыхъ до того времени онъ имѣлъ самыя элементарныя, смутныя понятія. Въ головѣ его зароились новыя мысли и начался умственный процессъ, поглотившій всѣ его силы. Путемъ этого процесса гр. Толстой дошелъ до того, что снова

открылъ Америку и изобрѣлъ порохъ и книгопечатаніе, иначе сказать, онъ додумался до такихъ историко-философскихъ истинъ, которыя давно уже были открыты до него, но онъ ихъ снова открылъ для самаго себя, и вообразилъ при этомъ весьма естественно, и какъ это часто бываетъ, что истины эти должны быть новостію и для всего человѣчества. Такъ напримѣръ, для какого мало-мальски серьёзно образованнаго человѣка можетъ быть въ настоящее время новостію, что историческое событіе зависитъ не отъ одной воли того или другого лица, а имѣетъ за собою тысячи различныхъ причинъ, совокупность которыхъ и производитъ это событіе? Эта истина давно уже сдѣлалась банальною въ области исторіи, и никто, держа ее въ головѣ и принимая въ соображеніе, не станетъ распространяться о ней, подобно тому, какъ не почтетъ нужнымъ писать трактатъ о томъ, что воздухъ состоитъ изъ кислорода и азота или что 2+2=4. Между тѣмъ человѣкъ, впервые додумавшійся до такой идеи, весьма естественно можетъ проникнуться ею до такого крайняго увлеченія, что будетъ чувствовать потребность проповѣдывать эту идею на всѣхъ перекресткахъ, развивая ее на тысячи ладовъ и подкрѣпляя всевозможными доводами изъ областей философіи, психологіи, исторіи и пр. Увлеченіе всякою новою идеею имѣетъ такой характеръ маніи до тѣхъ поръ, пока человѣкъ не свыкается съ нею и она не дѣлается заурядною идеею его.—Подобное увлеченіе новичка идеею исторической причинности мы видимъ въ гр. Толстомъ. Онъ забываетъ ради нея о своемъ романѣ и о его герояхъ. Мало того, что при каждомъ удобномъ случаѣ онъ возвращается къ ней и на тысячу ладовъ повторяетъ одно и то же,—но, какъ я уже говорилъ, послѣднюю часть романа всецѣло посвящаетъ философскимъ разсужденіямъ все на ту же тему, и все для того, чтобы убѣдить насъ, что походъ Наполеона въ Россію зависѣлъ не отъ одной его личной воли, честолюбивыхъ замысловъ, а отъ сцѣпленія цѣлаго ряда причинъ. Когда вы читаете всѣ подобныя разсужденія, вамъ становится съ одной стороны смѣшно за автора, съ такою наивною горячностью посвящающаго васъ въ свое давно открытое открытіе; съ другой стороны—неловко и стыдно за себя, какъ это и должно быть, если вашъ пріятель вдругъ заподозритъ васъ, что вы

земной шаръ считаете плоскостью, и начнетъ съ жаромъ убѣждать васъ, что земля шарообразна.

Въ то же время, какъ и каждый новичекъ идеи, графъ Толстой какъ только опускается отъ своей излюбленной идеи къ фактамъ и пытается приложить ее къ нимъ, передъ вами обнаруживается вся неопытность его обращаться съ нею, все неумѣнье обсуждать историческіе факты на ея основаніи. Мы можемъ вѣрить въ разумную цѣлесообразность всей вселенной, но отнюдь не историческихъ событій, совершающихся на такомъ атомѣ, какъ нашъ земной міръ. Съ одной стороны подъ совокупностью причинъ исторія разумѣетъ рядъ факторовъ естественныхъ, изъ которыхъ весьма многіе потому уже не могутъ вызывать событій ради какихъ-либо высшихъ цѣлей, что они лишены всякой сознательности. Съ другой стороны, самое понятіе объ отношеніи слѣдствія къ причинѣ не представляетъ ничего общаго съ понятіемъ объ отношеніи цѣли и намѣренія: слѣдствіе есть только явленіе, неизмѣнно вызывающееся другимъ явленіемъ, а отнюдь не цѣль своей причины. Далѣе затѣмъ разумная цѣлесообразность событій опровергается и тѣмъ, что въ исторіи мы видимъ на каждомъ шагу такую-же слѣпую инерцію движеній, какъ и въ физическихъ явленіяхъ. Совершается какой-нибудь историческій толчокъ, возбуждающій извѣстное движеніе народовъ, и движеніе это долго идетъ по своему направленію, послѣ того какъ всякій смыслъ его давно уже потерянъ. Такъ между двумя народами иногда возбуждается ненависть вслѣдствіе какихъ либо основательныхъ причинъ, но ненависть эта долго переживаетъ эти причины и въ свою очередь возбуждаетъ рядъ событій, зависящихъ уже отъ нея самой. Наполеоновскія войны носили именно этотъ характеръ слѣпой и неосмысленной инерціи. Когда европейскія государства составили реакціонную коалицію для подавленія революціи, тогда борьба Франціи съ этою коалиціею имѣла свое разумное основаніе: это была борьба двухъ противоположныхъ началъ. Но мало-по-малу, когда революція во Франціи была подавлена тѣмъ самымъ орудіемъ, которымъ она защищалась противъ враговъ, то-есть войскомъ, смыслъ борьбы Франціи съ европейскою коалиціею былъ потерянъ, между тѣмъ разъ возбужденное движеніе продолжалось все по одному направленію по слѣпой инерціи. Французы поклонялись

Наполеону и шли за нимъ, попрежнему возбуждаемые революціоннымъ энтузіазмомъ и мечтая, что цѣль наполеоновскихъ войнъ—вводить во всѣ страны Европы новыя начала; европейскія государства въ свою очередь въ Наполеонѣ видѣли исчадіе революціи и боролись съ нимъ во имя охранительныхъ началъ; самъ Наполеонъ вѣрилъ въ революціонное значеніе своихъ войнъ, вслѣдствіе чего вводилъ въ завоеванныя имъ страны свои кодексы и конституціи. И до такой степени была сильна инерція въ этомъ отношеніи, что идея о революціонномъ значеніи семейства Наполеона продолжала существовать до нашего времени, до Седана. Къ ней пріурочивали и крымскую войну, и освобожденіе Италіи; не будь Седана, окажись Наполеонъ III побѣдителемъ въ войнѣ съ Пруссіею, очень можетъ быть, что и въ настоящее время весьма многіе видѣли бы въ этой побѣдѣ торжество революціоннаго Наполеона надъ прусскимъ феодализмомъ.

Но совершенно иначе объясняетъ гр. Толстой значеніе Наполеоновскихъ войнъ. Для него не существуетъ въ исторіи ошибокъ, вѣковыхъ заблужденій, народныхъ сумасшествій, неосмысленныхъ движеній, не ведущихъ часто за собою ничего кромѣ всеобщаго вреда, невозградимыхъ потерь и гибели. Доказывая на десяткахъ страницъ идею исторической причинности, онъ въ то же время ратуетъ за разумную цѣлесообразность событій. По его мнѣнію, всѣ причины, которыми историки объясняютъ наполеоновскія войны, суть причины мелкія, второстепенныя, не исключая даже и французской революціи. Все это даже не причины, а просто слѣдующія другъ за другомъ событія, изъ которыхъ мы совершенно произвольно и безосновательно предыдущее считаемъ причиною послѣдующаго. Настоящія же причины недоступны для нашего ума; онѣ стоятъ гдѣ-то за кулисами исторической сцены, въ видѣ какого-то таинственнаго предопредѣленія, которое движетъ народами по своему благоусмотрѣнію и сталкиваетъ ихъ сообразно своимъ замысламъ. Такъ и въ настоящемъ случаѣ причина Наполеоновскихъ войнъ заключается не въ революціи, не въ европейской коалиціи, не въ честолюбіи Наполеона. Ничуть ни бывало: по неисповѣдимымъ историческимъ причинамъ, по недоступнымъ человѣческому уму предусмотрѣніямъ положено гдѣ-то, чтобы европейскіе народы двигались въ началѣ нынѣшняго столѣтія сначала

съ запада на востокъ, потомъ съ востока на западъ: они и давай двигаться, такъ что даже самая французская революція произошла не почему-нибудь другому, какъ потому, чтобы послужить сигналомъ этого движенія: надо же было съ чего-нибудь начать двигаться. Вотъ какъ курьезно понимаетъ гр. Толстой идею исторической причинности. Вы думаете, что безсиліе генія совершить что-либо по своему личному произволу, вопреки законамъ исторической жизни и народнымъ стремленіямъ, оправдалось по отношенію къ Наполеону въ томъ простомъ и очевидномъ фактѣ, что всѣ его завоеванія рушились прахомъ, основать общеевропейскую имперію ему не удалось, народы снова сложились въ тѣ же группы, въ которыхъ существовали прежде, и даже многія безспорно полезныя преобразованія, которыя сдѣлалъ Наполеонъ въ завоеванныхъ имъ государствахъ, были отвергнуты, какъ навязанныя силою извнѣ. Нѣтъ, отсутствіе личной свободы со стороны Наполеона заключалось въ томъ, что все что̀ ни замышлялъ онъ, казалось-бы, повидимому, совершенно произвольно по своей иниціативѣ и въ личныхъ видахъ, все это клонилось къ тому, чтобы совершилась предусмотрѣнная прогулка народовъ съ запада на востокъ и обратно. Такимъ же самымъ образомъ и русскіе отступали передъ Наполеономъ вовсе не потому, что военныя силы ихъ были значительно слабѣе наполеоновскихъ и полководцы робѣли въ виду военнаго генія Наполеона, а опять-таки вслѣдствіе того же высшаго предусмотрѣнія: надо было, чтобы прогулка съ запада на востокъ дошла до своего надлежащаго пункта, Москвы, а потомъ, само собою, должно было начаться обратное шествіе. Неужели гр. Толстой, который рядомъ съ подобными курьёзами высказываетъ столько свѣтлыхъ и реальныхъ взглядовъ на частности той же самой войны, не понимаетъ, какой дикій, чисто-восточный фатализмъ проповѣдуетъ онъ въ то же время? Замѣтьте при этомъ, что онъ считаетъ отжившимъ взглядъ древнихъ на историческія событія, основывающійся на произвольномъ управленіи народами и царями воли божествъ. А самъ между тѣмъ проводитъ тотъ же самый взглядъ, замѣняя только личную волю человѣкообразныхъ божествъ древняго міра предопредѣленіями какихъ-то таинственныхъ, безусловныхъ силъ безличныхъ и между тѣмъ сознательныхъ и разумныхъ. «На вопросъ о томъ, что̀ составляетъ причину историческихъ

событій, говоритъ онъ, представляется другой отвѣтъ, заключающійся въ томъ, что ходъ міровыхъ событій предопредѣленъ свыше, зависитъ отъ совпаденія всѣхъ произволовъ людей, участвующихъ въ этихъ событіяхъ, и что вліяніе Наполеоновъ на ходъ этихъ событій есть только внѣшнее, фиктивное».

Становится просто непонятно, какъ можетъ столь дико заблуждаться столь свѣтлый умъ, который во многихъ мѣстахъ романа такъ мѣтко судитъ объ отношеніи историческихъ личностей къ массамъ и высказываетъ неоднократно мысли, вполнѣ основательныя; такова, напримѣръ, мысль, что историческія событія совершаются всегда, даже въ самыхъ деспотическихъ государствахъ, не государственными людьми, а массами, отъ духа которыхъ, энергіи, готовности исполнить то или другое приказаніе зависитъ не только успѣхъ предпріятія, но и слава генія: полководецъ идетъ во главѣ арміи недеморализованной, энергической, исполненной по той или другой причинѣ жажды борьбы и побѣдъ — онъ побѣждаетъ, то-есть побѣждаетъ армія, и побѣда зависитъ отъ совокупныхъ дѣйствій всѣхъ солдатъ, но приписывается она полководцу и онъ попадаетъ въ геніи; въ противномъ случаѣ историки не замедлятъ открыть вамъ бездну ошибокъ, зависящихъ, конечно, отъ неспособности полководца — и не обращаютъ при этомъ вниманія на то обстоятельство, что въ разгарѣ сраженія половина приказаній полководца остается неисполненными за невозможностью, часто просто потому, что адъютантъ, несущій приказаніе, падаетъ убитый и раненый на дорогѣ, въ то же время дѣлается войсками множество удачныхъ и неудачныхъ движеній, помимо всякихъ приказаній начальства. Все это совершенно справедливо, — и, развивая далѣе подобныя свѣтлыя мысли гр. Толстаго, мы можемъ замѣтить, что и во внутренней жизни народа наблюдается таже зависимость историческихъ дѣятелей отъ духа и настроенія массъ. Въ геніи попадаетъ обыкновенно не тотъ, который измышляетъ изъ своей головы что-либо непредвидѣнное, а кто уловляетъ духъ времени, настроеніе массъ, ихъ потребность или готовность принять рядъ полезныхъ реформъ; отъ всего этого прямо зависитъ успѣшность самыхъ реформъ, такъ-какъ онѣ исполняются, конечно, не лично геніальнымъ преобразователемъ, онъ только ихъ предлагаетъ, утверждаетъ, а масса приводитъ ихъ въ исполненіе, и конечно

можетъ если не активнымъ сопротивленіемъ, то пассивнымъ бездѣйствіемъ, непониманіемъ, наконецъ, парализовать всѣ его дѣйствія. Все это несомнѣнно; только все-таки остается непонятнымъ, зачѣмъ же для объясненія различныхъ настроеній массъ, не довольствуясь реальными и опредѣленными причинами, необходимо гр. Толстому прибѣгать къ какимъ-то сверхъестественнымъ и таинственнымъ? Что за причина такого страннаго заблужденія ума, такъ неожиданно повернувшаго къ мистицизму?

Не желая слѣдовать примѣру гр. Толстаго и считать подобное заблужденіе слѣдствіемъ таинственныхъ и неразгаданныхъ причинъ, мы постараемся объяснить его причинами очевидными, и надѣемся, что объясненіе наше покажется читателямъ небезосновательнымъ. Дѣло въ томъ, что умственный процессъ, возбудившійся въ гр. Толстомъ изученіемъ событій начала нынѣшняго столѣтія, принялъ не обыкновенное, естественное теченіе, а осложнился особенными, посторонними вліяніями искусственныхъ теорій весьма сомнительнаго свойства. Здѣсь встрѣтились два противоположныхъ теченія: одно теченіе чистое и прозрачное, какъ хрусталь — это теченіе самостоятельной дѣятельности ума гр. Толстаго, который перенесъ свой индуктивный методъ отъ изученія окружающей его жизни къ изученію жизни прошлой и приложилъ къ послѣдней тѣ же обобщенія, найдя въ ней факты иными только по своей внѣшности, но подобными по сущности: — ту же искусственность, ходульность, нравственную распущенность и безцѣльность жизни интеллигентныхъ слоевъ общества, рядомъ съ полезной естественною жизнію безъискусственно-простыхъ, цѣльныхъ и сильныхъ людей труда. Отсюда онъ и пришелъ къ окончательному выводу, что исторію производитъ народъ, событія совершаются усиліями и трудами темныхъ массъ, отъ стремленій и настроеній которыхъ зависитъ все и вся. Но онъ не могъ остановиться на этомъ истинномъ и глубокомъ выводѣ. Здѣсь вмѣшалась другая струя мысли — и помутила чистоту ясныхъ и свѣтлыхъ воззрѣній гр. Толстаго. Это роковая струя погубившая не одинъ талантъ на Руси! Мы имѣемъ здѣсь дѣло съ особеннаго рода мистицизмомъ, представляющимъ, если хотите, одну изъ неизбѣжныхъ стадій умственнаго развитія, но тѣмъ не менѣе это все-таки процессъ край-

не-болѣзненный, показывающій намъ, что наша психическая природа подобно физической имѣетъ свои критическіе недуги, которые, какъ весеннія грозы, даютъ могучій толчекъ развертывающимся силамъ.

Но необходимо, чтобы весеннія грозы дѣйствительно были весенними; подъ осень-же тѣже самыя грозы способны производить лишь неизгладимыя опустошенія, ускоряющія приходъ зимы. Такъ и въ человѣческой природѣ тѣже критическіе недуги, которые очень легко переносятся въ юности и обновляютъ молодыя силы, напротивъ того, въ старости принимаютъ весьма зловѣщій характеръ. Старческій организмъ не въ состояніи бываетъ осилить ихъ и приходитъ въ полное разстройство.

Это именно произошло съ Гоголемъ. Вся бѣда заключалась въ томъ, что мистическій періодъ развитія Гоголь началъ переживать слишкомъ поздно для своихъ лѣтъ, чтобы переварить его и выйти изъ него побѣдителемъ, и ни умственныя, ни физическія силы его не выдержали кризиса.

Мы боимся, чтобы и съ гр. Л. Толстымъ не случилось того-же. По крайней мѣрѣ, когда вы читаете «Войну и міръ», вамъ кажется, что съ каждой страницей на васъ словно надвигаются какія-то мрачныя тучи и затмѣваютъ яркіе лучи поэзіи гр. Л. Толстаго. И если-бы вышеозначенныя теоретическія разсужденія встрѣчались въ романѣ отдѣльными клочками, были-бы сами по себѣ, не вмѣшиваясь въ актъ поэтическаго творчества художника. Но мы, напротивъ того, видимъ, что воззрѣнія эти стремятся покорить своей власти образы поэта, придать имъ свой особенный мистическій оттѣнокъ, совершенно исказивши ихъ жизненную правду. Возьмите вы напримѣръ эпизодъ вліянія на Пьера Каратаева.

Начало увлеченія Пьера простыми людьми послѣ бородинскаго сраженія стоитъ совершенно на реальной почвѣ. Весьма естественно, что запутавшійся въ омутѣ свѣтской пустоты, разочарованный и нравственно надломленный, Пьеръ могъ увлечься видомъ простыхъ и сильныхъ людей, съ невозмутимымъ спокойствіемъ, безъ всякаго хвастовства и напускнаго геройства смотрѣвшихъ въ глаза смерти; понятно, что онъ долженъ былъ ясно почувствовать, въ сравненіи съ правдой, простотой и силой этихъ людей, ощущеніе своей ничтожности и лживости, и

проникнуться стремленіемъ *«войти въ эту общую жизнь всѣмъ существомъ, проникнуться тѣмъ, что дѣлаетъ ихъ такими...»* Такія мысли и чувства мы видѣли уже въ цѣломъ рядѣ героевъ гр. Толстаго, и можемъ встрѣтить ихъ зачастую въ жизни. Не менѣе естественно выведенъ типъ Каратаева.

Простой, гуманный, одаренный художественною натурою и теплымъ сердцемъ, много испытавшій въ жизни,—Каратаевъ самъ по себѣ являлся бы весьма живою и удачно очерченною личностью въ романѣ, если-бы гр. Толстой не возвелъ его на пьедесталъ, представивъ въ немъ какого-то вдохновеннаго глашатая народной мудрости, исполненной неизрѣченныхъ глубинъ, чуть что не живое олицетвореніе божественной правды и благости. Вліяніе его на Пьера было столь сильно, по словамъ гр. Толстаго, что Пьеръ совершенно переродился: онъ самъ исполнился кроткой терпимости и благодушія, подъ обаяніемъ которыхъ во всемъ сталъ видѣть Бога, все ему показалось ведущимъ къ благу, всѣ люди сдѣлались его друзьями и, незамѣтно для самихъ себя, почувствовали потребность повѣрять ему всѣ сокровенныя свои тайны. Нѣтъ, говорилъ Пьеръ, вы не можете понять, чему я научился у этого безграмотнаго человѣка-дурачка.

Неужели гр. Толстой до такой степени потерялъ свое художественное чутье правды, что не понимаетъ, сколько надуманной неестественности и лжи во всемъ этомъ? Гдѣ въ жизни встрѣчалъ онъ подобныя чудодѣйственныя превращенія?.. Развѣ только въ письмахъ Гоголя, описывавшаго друзьямъ своимъ различныя свои просіянія и умиротворенія...

Вообще въ послѣднихъ частяхъ романа чаще и чаще вы встрѣчаетесь съ гоголевскою философіею различныхъ просіяній. Такъ длинное описаніе смерти князя Андрея преисполнено разсужденій на такія темы, что счастіе, находящееся внѣ матеріальныхъ силъ, внѣ матеріальныхъ внѣшнихъ вліяній на человѣка, счастье одной души, счастье любви—понять можетъ всякій человѣкъ, но сознать и предписать его могъ только одинъ Богъ, что любя человѣческою любовью можно отъ любви перейти къ ненависти; но божеская любовь не можетъ измѣниться; ничто, ни смерть, ничто не можетъ разрушить ее; она есть сущность души и пр.

Положимъ, что гр. Толстой не дошелъ еще до того, чтобы дарить насъ подобными изреченіями отъ своего лица; онъ очень ловко влагаетъ ихъ въ уста умирающаго человѣка, для котораго подобныя размышленія могутъ быть весьма естественны, но во всякомъ случаѣ допущеніе, чтобы цѣлыя страницы были заняты подобными разсужденіями, хотя бы и въ устахъ героя, да и вообще весь мистическій колоритъ кончины Андрея, — все это весьма зловѣщіе знаки.

Признаемся откровенно, намъ страшно за гр. Толстаго. Мы боимся, что одинъ изъ самыхъ могучихъ, свѣтлыхъ и симпатичныхъ талантовъ настоящаго времени погибнетъ такъ же ужасно, какъ погибъ талантъ Гоголя. Очень можетъ быть, что такъ и будетъ. Не впервые намъ приходится оплакивать подобный печальный исходъ нашихъ талантовъ, причемъ замѣчательно, что къ нему приходятъ обыкновенно наиболѣе сильныя и свѣтлыя дарованія.

Вороны почувствовали уже любимый имъ запахъ и не замедлили слетѣться. Такъ въ «Зарѣ», вскорѣ послѣ появленія романа «Война и Миръ», гр. Толстой объявленъ геніемъ, а романъ его однимъ изъ величайшихъ произведеній настоящаго времени. О, еслибы могъ почувствовать гр. Толстой, сколько злой ироніи заключается для него въ похвалѣ «Зари»!.. Если бы только онъ понялъ, что не за то превознесла его «Заря», что въ его произведеніяхъ можно найти дѣйствительно великаго, а именно за то, что предвѣщаетъ начало печальнаго паденія его таланта, за тѣ затхлыя тенденціи, въ которыхъ онъ сошелся съ «Зарею»... Но гр. Толстой, который самъ проникся уже этими тенденціями, конечно принялъ за чистую монету похвалы «Зари», и ему остается только, подобно Гоголю, вообразить себя пророкомъ и начать провозглашать людямъ вѣщіе глаголы. Повидимому онъ уже и начинаетъ: такъ въ настоящее время онъ издаетъ букварь для народныхъ школъ и въ началѣ нынѣшняго года въ дружественныхъ своихъ органахъ «Зарѣ» и «Бесѣдѣ» напечаталъ по повѣсти, предназначенныя для этого букваря... Повѣсть, помѣщенная въ № 2 «Зари», «Кавказскій плѣнникъ», напоминаетъ намъ прежняго гр. Толстаго; она столь-же проста, безъискусственна, реальна и исполнена такого-же глубокаго содержанія, какъ и всѣ его предыдущія произведенія. Что же касается до повѣсти «Богъ

правду любитъ, да не скоро скажетъ», помѣщенной въ № 3 «Бесѣды», то она представляетъ пересказъ каратаевской легенды о купцѣ, невинно сосланномъ въ каторгу и встрѣтившемся тамъ съ настоящимъ виновникомъ преступленія, за которое былъ сосланъ; легенда эта преисполнена дикаго фатализма и мистицизма, и довольно сказать, что въ ней-то именно Пьеръ наиболѣе прозрѣлъ глубину народной мудрости и пришелъ отъ нея въ окончательное умиленіе, чтобы понять, что это за прелесть такая!..

Все это очень печально!.. И все это происходитъ ни отъ чего другаго, какъ отъ того, что гр. Толстой покинулъ прежній путь творчества, зависящій отъ естественныхъ обобщеній въ поэтическіе образы частныхъ фактовъ жизни, и промѣнялъ его на идущій отъ предвзятыхъ теорій, произвольно подчиняющихъ себѣ поэтическіе образы, искажающихъ ихъ, иногда и побуждающихъ поэта просто выдумывать образы изъ своей фантазіи...

Только одно индуктивное творчество есть истинно свободное, реальное и полезное, потому что только оно одно можетъ вполнѣ вѣрно и безпристрастно изображать передъ вами правду жизни, а отъ одной правды только и можно ждать истинной пользы...

1872 г.

РАЗЛАДЪ ХУДОЖНИКА И МЫСЛИТЕЛЯ.

(По поводу романа гр. Л. Толстаго „Анна Каренина“).

РАЗЛАДЪ ХУДОЖНИКА И МЫСЛИТЕЛЯ.

(По поводу романа гр. Л. Толстаго «Анна Каренина»).

А вы, друзья какъ ни садитесь,
Все въ музыканты не годитесь.

Вслѣдствіе того, что романъ тянулся очень долго, печатался съ большими промежутками, причемъ крайнее обиліе художественныхъ картинъ, сценъ, всякаго рода деталей и нюансовъ, всецѣло поглощало вниманіе читателя,—произошелъ немалый скандалъ: большинство рецензентовъ, усердно трактовавшихъ о романѣ съ появленія первыхъ страницъ его въ «Русскомъ Вѣстникѣ» и до выхода послѣдней части, впало въ просакъ, незамѣтивши громаднаго слона въ видѣ основной идеи произведенія. На романъ смотрѣли не иначе, какъ на рядъ художественныхъ картинъ изъ великосвѣтской жизни, связанныхъ лишь двумя параллельно идущими любовными сюжетами, но не имѣющихъ ни малѣйшей идейной подкладки, того высшаго философскаго синтеза, который осмыслилъ-бы все изображенное въ произведеніи. Раздѣлясь на два лагеря, поклонники и порицатели романа спорили между собою лишь о томъ, законна или незаконна идейная безсодержательность его. Порицатели ворчали на то, что авторъ только и дѣлаетъ, что водитъ читателя изъ одного салона въ другой, знакомя его до мельчайшихъ подробностей, какъ великосвѣтскіе люди обѣдаютъ, танцуютъ, ведутъ приходорасходные счеты, женятся, рожаютъ, купаютъ дѣтей, совершаютъ вольныя и невольныя прелюбодѣянія, стрѣляютъ дупелей,—и не мало не заботится о раскрытіи внутренняго смысла всего этого. Поклонники же, въ свою очередь, тѣмъ именно и восхищались, что авторъ является чуждымъ всякихъ тенденцій безхитростнымъ бытописателемъ и

сердцевѣдомъ, совершеннымъ протоколистомъ по рецепту Золя. Восхищались тѣми или другими мѣстами, типами, глубиною психическаго анализа различныхъ сценъ,—и далѣе этого не шли всѣ восхищенія. Я въ жизнь свою не забуду, какъ одному изъ поклонниковъ болѣе всего понравилось въ романѣ изображеніе сердечныхъ тайнъ великосвѣтской барыни, и онъ печатно заявилъ свой восторгъ по поводу того, что гр. Толстой будто-бы «возвысился до общечеловѣчности, съумѣвши изящную даму, лучшую изъ всѣхъ по уму, образованію, честности, представить такою-же плотоядною, вздорною, эгоистичною и грубою, какъ крестьянская баба» — и ничего выше этого не нашелъ онъ въ романѣ. Только когда вышла послѣдняя часть, и въ ней съ особенною рельефностью, почти что въ голомъ, отвлеченномъ видѣ выступила идея романа, рецензенты ухватились за нее, но высказали о ней лишь нѣсколько незначительныхъ словъ, и то лишь въ приложеніи къ одной послѣдней части, а не ко всему роману въ его цѣломъ составѣ.

Я воображаю, въ какое уныніе должны были привести гр. Л. Толстаго всѣ эти толки рецензентовъ, и въ особенности поклонниковъ, ничего не прозрѣвшихъ въ концѣ концовъ въ романѣ его, какъ лишь стремленіе унизить—я ужъ не знаю что: деревенскую-ли бабу насчетъ Анны Карениной, или наоборотъ. Помилуйте, авторъ изъ силъ выбился, чтобы отъ первой страницы до послѣдней черезъ весь романъ провести свою завѣтную идею, которая можетъ быть составляетъ продуктъ всей его жизни, и вдругъ читатели ничего не усматриваютъ, кромѣ мастерскаго изображенія грѣхопаденія Анны! Это болѣе чѣмъ обидно, это въ своемъ родѣ — трагично. Разъясненіе этого трагическаго казуса и будетъ составлять предметъ настоящей статьи, и къ этому разъясненію я приступаю безъ всякихъ околичностей.

Кромѣ вышеупомянутыхъ причинъ,—растянутости печатанія и обилія деталей,—трагическій казусъ, о которомъ мы говорили, имѣетъ еще и другую, болѣе существенную причину. Дѣло въ томъ, что я не помню другаго такого произведенія, въ которомъ художникъ находился-бы въ подобномъ-же антагонизмѣ съ мыслителемъ, какъ романъ гр. Л. Толстаго. Онъ представляетъ изъ себя вполнѣ тотъ знаменитый возъ басни Крылова, который лебедь тащитъ въ облака, ракъ пятитъ на-

задъ, а щука тянетъ въ воду. Мыслитель говоритъ одно, а художникъ представляетъ вамъ совсѣмъ другое; мыслитель требуетъ, чтобы художникъ такъ вотъ и такъ иллюстрировалъ его идею, а художникъ беретъ да и мажетъ кистью передъ вами совершенно наперекоръ мыслителю. Но такъ какъ художникъ въ тысячу разъ и сильнѣе, и правдивѣе мыслителя, то онъ его кладетъ въ лоскъ. Несчастный мыслитель низверженъ, затертъ, онъ тонетъ, задыхается въ разбушевавшихся стихіяхъ художественнаго творчества, изрѣдка онъ напоминаетъ вамъ о своей гибели, протягивая вамъ руки и испуская неистовые вопли. Эти вопли дико поражаютъ вашъ слухъ среди художественнаго пиршества, но тотчасъ-же и заглушаются новыми приливами поэтическихъ волнъ, и только въ послѣдней части мыслитель выносится передъ вами въ голомъ, обезображенномъ видѣ, — но это уже болѣе ничего, какъ лишь истерзанный трупъ, выкинутый на берегъ враждебными волнами, какъ не имѣющій ничего съ ними общаго.

Для того, чтобы вполнѣ разъяснить это странное, ненормальное и болѣзненное явленіе, мы займемся сначала анатоміей выброшеннаго трупа, изслѣдуемъ, что хотѣлъ сказать намъ авторъ, какъ мыслитель, а за тѣмъ посмотримъ, что сказалъ онъ намъ, какъ художникъ.

Объ основныхъ воззрѣніяхъ гр. Л. Толстаго было такъ много рѣчей въ послѣднее время, что я не считаю нужнымъ много распространяться объ этомъ. Всѣмъ и каждому нынѣ извѣстно, что воззрѣнія эти представляютъ не малую путаницу, въ безпредѣльномъ хаосѣ, которой вы найдете частичку мистицизма, частичку особеннаго рода московскаго культурнаго абсентеизма, частичку, наконецъ, чего-то туманнаго, неопредѣленнаго, безъименнаго, въ чемъ слышится не то вліяніе новѣйшаго народолюбства, не то отрыжка сентиментализма въ духѣ Ж. Ж. Руссо. Слѣдуетъ только отдать справедливость, что несчастный мыслитель, разгромляемый художникомъ, является въ послѣднемъ романѣ болѣе послѣдовательнымъ и опредѣленнымъ, чѣмъ во всѣхъ предыдущихъ. Здѣсь преобладаетъ передъ нами московско-культурный абсентизмъ, на подкладкѣ мистицизма, народолюбства-же почти незамѣтно. Оттого и основная идея романа довольно ясна и проста. Ее можно даже выразить нѣсколькими словами. Вся суть заключается въ томъ, что

единственное спасеніе для русскаго человѣка — быть самимъ собою, жить безхитростно и непосредственно, какъ создала его природа, твердо держась основныхъ культурныхъ началъ; малѣйшее же отклоненіе отъ этихъ началъ куда-либо въ сторону—тотчасъ-же поселяетъ разладъ и во внутренней, и во внѣшней жизни русскаго человѣка; и чѣмъ болѣе это отклоненіе, тѣмъ и разладъ—больше, такъ что люди, которые совсѣмъ уже сошли съ культурной почвы, обезличились и обезцвѣтились,—представляютъ изъ себя ни что иное, какъ среду полнаго нравственнаго разложенія: здѣсь начинается область душевной агоніи, отчаянья, скорби и скрежета зубовъ; здѣсь гнѣздятся всѣ адскіе пороки и отсюда истекаютъ всѣ страшныя преступленія. Такова основная идея романа, взятая въ общей отвлеченной формулѣ. Формула эта имѣетъ, повидимому, славянофильскій характеръ. Но по ближайшемъ разсмотрѣніи оказывается, что для того, чтобы твердо стоять на почвѣ и обрѣсти тѣмъ душевный миръ, спасеніе и праведность, далеко недостаточно держаться различныхъ славянофильскихъ принциповъ, т. е. принадлежать къ православной церкви и исповѣдывать всѣ ея догматы, любить братьевъ славянъ и желать имъ въ будущемъ всякихъ благъ, но не иначе, конечно, какъ подъ гегемоніею Россіи, ненавидѣть гнилой Западъ и въ особенности нѣмцевъ, и не вдаваться ни въ какія умствованія и разсужденія, а быть ниже воды и тише травы, терпѣливо и безропотно перенося всякое иго, потому что, какъ размышлялъ Левинъ, еще при Рюрикѣ народъ сказалъ варягамъ: «княжите и владѣйте нами. Мы радостно обѣщаемъ полную покорность. Весь трудъ, всѣ униженія, всѣ жертвы мы беремъ на себя; но не судимъ и рѣшаемъ». Нѣтъ, этого всего оказывается еще недостаточно: нужно быть кромѣ того еще особеннаго рода избранникомъ; необходимо *родиться на почвѣ* и возрости на ней. А это возможно лишь въ двухъ положеніяхъ: въ положеніи мужика-крестьянина, или столбоваго дворянина помѣщика, всю жизнь прожившаго въ своемъ имѣніи, и ничѣмъ болѣе не занимающагося, какъ лишь сельскимъ хозяйствомъ. Да, первое условіе, чтобы кромѣ сельскаго хозяйства ничѣмъ болѣе не заниматься, потому что всякое постороннее занятіе является уже отклоненіемъ отъ культурной почвы на томъ основаніи, что все остальное оказывается за-

имствованнымъ нами съ Запада, не говоря уже о бюрократизмѣ, о формахъ городской свѣтской жизни, о судахъ, о наукѣ, о литературѣ, но даже и земскія учрежденія, народныя школы и больницы, фабрики и желѣзныя дороги и пр. и пр. Все это, какъ заимствованное съ Запада и не приросшее къ русской жизни, не вошедшее въ ея плоть и кровь,—есть искусственность, натяжка, заключаетъ въ себѣ большій или меньшій процентъ лжи и такъ или иначе поселяетъ разладъ во внутренней и внѣшней жизни русскаго человѣка. Повидимому такой взглядъ на вещи коренится на славянофильской почвѣ, но въ сущности онъ идетъ нѣсколько дальше: это тотъ послѣдній, крайній выводъ, который обыкновенно кончаетъ тѣмъ, что отрицаетъ всякую возможность практическаго осуществленія того ученья, изъ котораго онъ выходитъ. И дѣйствительно, разъ гр. Л. Толстой становится на такую исключительную точку зрѣнія, онъ необходимо долженъ отвергнуть и славянофильство въ томъ видѣ, въ какомъ оно осуществляется на практикѣ. Славянофильство—есть явленіе жизни городской, ложной въ самыхъ своихъ основаніяхъ, оно возникло на почвѣ науки и философіи, заимствованныхъ съ Запада, оно допускаетъ разныя умствованія и разсужденія, обнаруживающія своего рода гордость разума, оно не ограничивается одною пассивною готовностью полной покорности и принятія на себя всѣхъ жертвъ и униженій, а изъявляетъ претензію судить и рѣшать и допускаетъ активное вмѣшательство въ вопросы о судьбахъ славянъ. Наконецъ къ славянофильству принадлежатъ не одни только столбовые дворяне, ни о чемъ не помышляющіе, какъ лишь о сельскомъ хозяйствѣ, но и свѣтскіе шаркуны, и чиновники, и профессора, и газетчики, люди безпочвенные, исполненные всевозможной лжи и полнаго разлада съ самими собой. Г. Толстой не остановился и передъ этимъ послѣднимъ выводомъ изъ своей точки зрѣнія: онъ не замедлилъ поразить и самое славянофильство, отнесясь отрицательно къ самому дорогому и излюбленному моменту его проявленія—тому общественному движенію въ пользу славянъ, какимъ ознаменовался 1876 годъ. Онъ прямо называетъ славянскій вопросъ «однимъ изъ тѣхъ модныхъ увлеченій, которыя всегда, смѣняя одно другое, служатъ обществу предметомъ занятія», признаетъ, «что много было людей занимавшихся этимъ дѣломъ, съ ко-

рыстными, тщеславными цѣлями, что газеты печатали много ненужнаго и преувеличеннаго, съ одною цѣлію обратить на себя вниманіе и перекричать другихъ, что при этомъ общемъ подъемѣ общества, выскочили впередъ и кричали громче другихъ всѣ неудавшіеся и обиженные: главнокомандующіе безъ армій, министры безъ министерствъ, журналисты безъ журналовъ, начальники партій безъ партизановъ. Что же касается до народа, то г. Толстой отрицаетъ всякую народность этого движенія. Тѣ сотни, тысячи добровольцевъ, которые шли въ Сербію воевать съ турками, по его мнѣнію, значили только, что въ восьмидесятимилліонномъ народѣ всегда найдутся не сотни, какъ теперь, а десятки тысячъ людей, потерявшихъ общественное положеніе, безшабашныхъ людей, которые всегда готовы—въ шайку Пугачева, въ Хиву, въ Сербію»... «Писаря волостные, учителя и изъ мужиковъ одинъ на тысячу, можетъ быть, знаютъ, о чемъ идетъ дѣло. Остальные-же 80 милліоновъ, не только не выражаютъ своей воли, но не имѣютъ ни малѣйшаго понятія, о чемъ имъ надо-бы выражать свою волю. Какое-же мы имѣемъ право говорить, что это воля народа.»

Это и есть то, что я не могу никакъ иначе назвать, какъ московско-культурнымъ абсентеизмомъ. Это своего рода феодализмъ, но не тотъ средневѣковый феодализмъ, который замыкался въ зàмки, окружалъ себя вассалами и отстаивалъ право чеканить монету и грабить по дорогѣ проѣзжихъ купцовъ, а нашъ доморощенный феодализмъ самоновѣйшей чеканки, обходящійся безъ зàмковъ и вассаловъ и не предъявляющій претензій ни на какія иныя права, какъ лишь на право восклицать: моя хата съ краю, ничего не знаю, и мнѣ на все наплевать. «Я считаю аристократомъ себя и людей подобныхъ мнѣ, говорилъ Левинъ Облонскому:—которые въ прошедшемъ могутъ указать на три-четыре честныя поколѣнія семей, находившихся на высшей степени образованія, и которые никогда ни предъ кѣмъ не подличали, никогда ни въ комъ не нуждались, кàкъ жили мой отецъ, мой дѣдъ. Мы—аристократы, а не тѣ, которые могутъ существовать только подачками отъ сильныхъ міра сего, и кого купить можно за двугривенный».

«Я думаю, говоритъ въ другомъ мѣстѣ Левинъ: что двигатель всѣхъ нашихъ дѣйствій есть все-таки личное счастіе. Теперь, въ земскихъ учрежденіяхъ, я, какъ дворянинъ, не

вижу ничего, чтобы содѣйствовало моему благосостоянію. Дороги не лучше, и не могутъ быть лучше; лошади мои везутъ меня и по дурнымъ. Доктора и пункта (медицинскаго) мнѣ не нужно. Мировой судья мнѣ не нуженъ,—я никогда не обращаюсь къ нему и не обращусь. Школы мнѣ не только не нужны, но даже вредны. Для меня земскія учрежденія—просто повинность платить восемнадцать копѣекъ съ десятины, ѣздить въ городъ, ночевать съ клопами и слушать всякій вздоръ и гадости,—а личный интересъ меня не побуждаетъ».

Представлю читателю еще одну выписку, чтобы передъ нами вполнѣ рельефно очертился тотъ идеалъ московско-культурнаго абсентеизма, въ которомъ гр. Л. Толстой полагаетъ все спасеніе для русскаго человѣка.

«Прежде (это началось почти съ дѣтства и все росло до полной возмужалости), когда Левинъ старался сдѣлать что-нибудь такое, что сдѣлало-бы добро для всѣхъ, для человѣчества, для Россіи, для всей деревни, онъ замѣчалъ, что мысли объ этомъ были пріятны, но сама дѣятельность всегда бывала нескладная, не было полной увѣренности въ томъ, что дѣло необходимо нужно, и сама дѣятельность, казавшаяся сначала столь большою, все уменьшаясь и уменьшаясь, сходила на нѣтъ; теперь-же, когда онъ, послѣ женитьбы, сталъ болѣе и болѣе ограничиваться жизнію для себя,—онъ, хотя не испытывалъ болѣе никакой радости при мысли о своей дѣятельности, чувствовалъ увѣренность, что дѣло его необходимо, видѣлъ, что оно спорится гораздо лучше, чѣмъ прежде, и что оно становится больше и больше. Теперь онъ, точно противъ воли, все глубже и глубже врѣзывался въ землю, какъ плугъ, такъ что ужъ и не могъ выбраться, не отворотивъ борозды».

«Жить семьѣ такъ, какъ привыкли жить отцы и дѣды, то-есть, въ тѣхъ-же условіяхъ образованія, и въ тѣхъ-же воспитывать дѣтей,—было непремѣнно нужно. Это было такъ-же нужно, какъ обѣдать, когда ѣсть хочется; а для этого такъ-же нужно знать, какъ приготовить обѣдъ, нужно было вести хозяйственную машину въ Покровскомъ такъ, чтобы были доходы. Такъ-же несомнѣнно, какъ нужно отдать долгъ, нужно было держать родовую землю въ такомъ положеніи, чтобы сынъ, получивъ ее въ наслѣдство, сказалъ такъ-же спасибо отцу, какъ Левинъ говорилъ спасибо дѣду за все то, что онъ

настроилъ и насадилъ. И для этого нужно было не отдавать землю въ наймы, а самому хозяйничать, держать скотину, навозить поля, сажать лѣса».

Вотъ вамъ единственный рецептъ душевнаго мира, праведности и счастія. Другаго пути никакого гр. Л. Толстой не признаетъ; внѣ его все—искусственность и ложь, и какъ слѣдствіе искусственности и лжи—уныніе, разочарованіе, зубовный скрежетъ угрызеній и отчаянья.

Сообразно этой идеи и дѣйствующія лица романа распредѣлены одесную и ошую по большей или меньшей ихъ культурности и почвенности. Крайнюю правую представляетъ собою конечно ужъ Константинъ Дмитріевичъ Левинъ, устами котораго глаголетъ самъ авторъ. Это главный герой романа, воплощенный идеалъ автора, человѣкъ мало того, что твердо стоящій на почвѣ, но, какъ мы сейчасъ видѣли, врѣзывающійся въ нее, какъ плугъ. Далѣе за Левинымъ слѣдуетъ семья князей Щербацкихъ, такой-же старый дворянскій московскій домъ, какъ и домъ Левиныхъ, и всегда бывшій въ близкихъ и дружескихъ отношеніяхъ съ послѣднимъ. Въ этой семьѣ культурнѣе всѣхъ оказывается самъ старый князь, всѣ симпатіи и антипатіи котораго являются постоянно вполнѣ солидарными съ Левинымъ. За тѣмъ слѣдуютъ княжны Кити и Долли. Что же касается до старой княгини, то, хотя по своему типу и характеру она и много заключаетъ въ себѣ культурныхъ свойствъ, но зараженная свѣтскимъ тщеславіемъ и суетностью, она значительно уступаетъ князю и прочимъ членамъ семьи, за то и платится: устроиваетъ несчастный бракъ своей дочери Долли за князя Облонскаго и чуть не губитъ младшую дочь Кити сватовствомъ за графа Вронскаго, увлекшись блестящимъ мундиромъ, связями и петербургскимъ свѣтскимъ лоскомъ графа.

За князьями Щербацкими можно поставить дворянина Свіяжскаго, предводителя дворянства въ томъ уѣздѣ, гдѣ было имѣніе Левина. Хотя этотъ Свіяжскій и зараженъ былъ либерализмомъ и всякими новѣйшими заимствованными съ Запада идеями, но въ тоже время это былъ одинъ изъ тѣхъ людей, «разсужденіе которыхъ, очень послѣдовательное, идетъ само по себѣ, а жизнь, чрезвычайно опредѣленная и твердая въ своемъ направленіи, идетъ сама по себѣ, совершенно не-

зависимо и почти всегда въ разрѣзъ съ разсужденіемъ», — и по своей жизни онъ, чтобы тамъ ни разсуждалъ, твердо держался почвы; а посему его тоже слѣдуетъ поставить одесную, и пожалуй даже мѣстомъ выше тщеславной княгини Щербацкой.

Затѣмъ идетъ уже лѣвая сторона, въ которой фигурируютъ всѣ прочія дѣйствующія лица романа: здѣсь мы видимъ такого писателя, какъ Сергѣй Ивановичъ Кознышевъ, который горечь неудачи шестилѣтняго труда «Опыта обзора основъ и формъ государственности въ Европѣ и Россіи», топитъ въ искусственномъ увлеченіи славянскимъ вопросомъ; здѣсь такой патентованный ученый, какъ Метровъ, который слѣпо мѣряетъ русскую жизнь на аршинъ западно-европейскихъ экономическихъ теорій; здѣсь такой докторъ, какъ московская знаменитость на консиліумѣ у князей Щербацкихъ, который потребовавши осмотра больной Кити, «съ особеннымъ удовольствіемъ, казалось, настаивалъ на томъ, что дѣвичья стыдливость есть только остатокъ варварства, и что нѣтъ ничего естественнѣе, какъ то, чтобы еще нестарый мужчина ощупывалъ молодую обнаженную дѣвушку»; здѣсь знаменитый петербургскій адвокатъ, который вмѣсто участія и скорби исполняется злобною радостью, когда къ нему приходитъ совѣщаться о разводѣ мужъ, обманутый женою, въ лицѣ Алексѣя Александровича Каренина, и глаза адвоката преисполняются торжествомъ, восторгомъ, блескомъ, похожимъ на тотъ зловѣщій блескъ, который несчастный Каренинъ видалъ въ глазахъ жены. Здѣсь-же и самъ онъ—Алексѣй Александровичъ Каренинъ, бюрократическая машина, съ безцвѣтными оловянными глазами и съ длинными хрящеватыми ушами, свидѣтельствующими объ ограниченности умственныхъ способностей. Здѣсь и набожная графиня Лидія Ивановна, великосвѣтская сектантка, религіозное увлеченіе которой, вмѣсто того чтобы смягчить ея сердце, сдѣлало его еще болѣе черствымъ и безчеловѣчнымъ; здѣсь и княгиня Бетси Тверская со своимъ свѣтскимъ кругомъ, который, по словамъ автора, «былъ собственно свѣтъ,—свѣтъ баловъ, обѣдовъ, блестящихъ туалетовъ, свѣтъ, державшійся одною рукою за дворъ, чтобы не спуститься до полусвѣта, который члены этого круга думали, что презирали, но съ которымъ вкусы у него были не только сходные, но одни и тѣ же». Здѣсь и князь Степанъ Аркадьевичъ Облон-

скій—эпикуреецъ и сластолюбецъ съ ногъ до головы, раззоряющій семейство своимъ мотовствомъ и оскорбляющій жену своею невѣрностью.

На самомъ-же такъ сказать низу этого адскаго винта красуются люди, окончательно отрѣшившіеся ото всего культурнаго, обезличившіеся вполнѣ и потерявшіе всякую почву подъ ногами. Таковъ Николай Левинъ, который въ университетѣ и годъ послѣ университета, не смотря на насмѣшки товарищей, жилъ, какъ монахъ, въ строгости исполняя всѣ обряды религіи, службы, посты, и избѣгая всякихъ удовольствій, въ особенности женщинъ; и потомъ, вдругъ его какъ прорвало, онъ сблизился съ самыми гадкими людьми, и пустился въ самый безпутный развратъ, взялъ изъ деревни мальчика воспитывать, и въ припадкѣ злости такъ избилъ, что началось дѣло по обвиненію въ причиненіи увѣчья; проигралъ деньги шулеру, далъ ему вексель и самъ подалъ на него жалобу, доказывая, что тотъ его обманулъ, ночевалъ ночь въ части за буйство, поѣхалъ служить въ западный край, и тамъ попалъ подъ судъ за побои, нанесенные старшинѣ; въ концѣ концовъ вступилъ въ сожитіе съ нѣкоей Марьей Николаевной, которую взялъ изъ распутнаго дома и вошелъ въ какія-то темныя сношенія съ соціалистами. Послѣ такого ужаснаго господина остаются только преступный осквернитель чужаго ложа графъ Алексѣй Кириллович Вронскій и сообщница его по прелюбодѣянію Анна Аркадьевна Каренина, о которыхъ намъ предстоитъ еще много рѣчей впереди.

Но гр. Л. Толстой не ограничивается только тѣмъ, что дѣлитъ свои дѣйствующія лица на два лагеря, — правыхъ и лѣвыхъ, для того чтобы однихъ похвалить и поставить имъ хорошій баллъ за поведеніе, а другихъ наказать выговоромъ и дурнымъ аттестатомъ. Не ограничивается онъ также однимъ раскрытіемъ различныхъ естественныхъ, историческихъ или соціологическихъ причинъ, по которымъ культурные люди преуспѣваютъ и обрѣтаютъ душевный миръ, нравственное совершенство и счастіе, а некультурные — душевный разладъ, угрызеніе преступной совѣсти и отчаянье. Нѣтъ, кромѣ того онъ изъявляетъ еще претензію разскрыть намъ нѣкіе таинственные пути Провидѣнія. Онъ поставилъ эпиграфомъ своего романа евангельскій текстъ: «Мнѣ отмщеніе, и Азъ воздамъ»,

и этимъ онъ какъ-бы хотѣлъ выразить, что само Небо заботится, чтобы люди твердо стояли на культурной почвѣ, и если они отрѣшаются отъ культурности, то оно вооружается противъ нихъ своимъ страшнымъ гнѣвомъ. Николай Левинъ, графъ Вронскій и Анна Каренина, какъ наиболѣе сошедшіе съ почвы, являются въ романѣ преступными жертвами небеснаго отмщенія.

Вотъ въ какомъ видѣ представляется намъ графъ Л. Толстой, какъ мыслитель. И если-бы этотъ мыслитель преобладалъ надъ художникомъ, т. е. если-бы онъ былъ послѣдовательнѣе, тверже, фанатичнѣе, а художникъ былъ-бы менѣе вѣренъ своимъ творческимъ инстинктамъ, менѣе чутокъ, менѣе искрененъ и правдивъ, — тогда автору очень легко было-бы провести свою тенденцію самымъ убѣдительнымъ образомъ для читателя. Стоило только иначе освѣтить и слегка подтасовать изображенные факты, прибавить болѣе черныхъ красокъ съ одной стороны, болѣе свѣтлыхъ—съ другой, такъ чтобы Анна Каренина, Вронскій и Николай Левинъ—ничего-бы не возбуждали въ читателѣ, кромѣ нравственнаго омерзенія и ужаса передъ чернотою ихъ душъ, а Левинъ и князья Щербацкіе рисовались въ самомъ обольстительномъ сіяніи,—и дѣло было-бы въ шляпѣ. Такъ обыкновенно и поступаютъ плохіе тенденціозные художники въ родѣ напримѣръ Бол. Маркевича: они ужъ если нарисуютъ передъ вами излюбленнаго имъ культурнаго героя, то такимъ красавцемъ, такимъ умнымъ, такимъ храбрымъ, честнымъ, великодушнымъ, что у васъ въ глазахъ рябитъ, глядя на него, за то вокругъ героя, куда ни оглянитесь — одно нравственное и физическое уродство, малодушіе, низость, подлость, распутство. Вотъ что называется — быть непоколебимо твердымъ въ заданной тенденціи и вѣрнымъ ей. Но въ романѣ гр. Л. Толстаго художникъ, какъ мы выше сказали, презрѣлъ мыслителя, возмутился противъ него, пошелъ своею дорогою и привелъ читателя къ выводамъ, которые можно назвать пожалуй діаметрально-противуположными тенденціи романа. Посмотримъ-же, что намъ сказалъ художникъ вопреки мыслителю.

А художникъ первымъ дѣломъ взялъ, да и уничтожилъ всѣ тѣ перегородки, которыя наставилъ мыслитель, и перемѣшалъ всѣ дѣйствующія лица, поставивъ передъ нами въ одинъ

рядъ, какъ правыхъ, такъ и лѣвыхъ, предоставивъ любоваться всѣми ими безразлично. Изобразивши хотя и мрачными красками, но далеко не такими, какъ-бы слѣдовало по рецепту мыслителя, лѣвую сторону, онъ въ тоже время не пощадилъ и правую, и выдалъ намъ съ головою своихъ культурныхъ героевъ. Онъ поступилъ въ этомъ отношеніи совершенно такъ, какъ поступаютъ правдивые, но тѣмъ не менѣе ужасные свидѣтели, которыхъ призываютъ въ судъ защитники для оправданія кліентовъ, а они вдругъ начинаютъ свидѣтельствовать къ еще большему обвиненію подсудимыхъ. Въ результатѣ вышла грустная, безнадежно мрачная картина, на темномъ фонѣ которой люди, претендующіе быть лучшими представителями своей среды, оказываются вдругъ чуть-что не хуже худшихъ. Это была-бы геніальная и злѣйшая иронія, если-бы только художникъ сознавалъ, что онъ дѣлаетъ, и иронизировалъ-бы на самомъ дѣлѣ.

Гр. Толстой, въ своемъ романѣ, вводитъ васъ въ яркій земной рай, въ который раскрыты двери лишь немногимъ избранникамъ, и знакомитъ насъ съ нѣсколькими такими счастливцами, которымъ повидимому можно отъ всей души позавидовать. Они живутъ въ своемъ раю, какъ птицы небесныя, не сѣютъ, не жнутъ, и въ житницы не собираютъ, а только срываютъ цвѣты удовольствій, да и какихъ еще удовольствій: все что только есть на земномъ шарѣ наиболѣе красиваго, рѣдкаго, цѣннаго и услаждающаго чувства, — все это стекается со всѣхъ концовъ міра въ ихъ роскошные и благоухающіе чертоги. Стоитъ только пожелать имъ чего-либо въ предѣлахъ земнаго, и тотчасъ-же это является къ ихъ услугамъ съ возможною попѣшностью. Стоитъ захворать имъ насморкомъ, и ничего не стоитъ имъ собрать вокругъ одра больнаго первѣйшихъ знаменитостей со всей Европы. Для нихъ не существуетъ ни буйства стихій, ни усталости путешествій, потому что по дорогамъ, въ морѣ, или по улицамъ города—они повсюду продолжаютъ быть окружены такимъ же комфортомъ, какъ и дома: ни вѣтеръ не пахнетъ, ни одна капля дождя не упадетъ на нихъ. А когда они сходятся праздновать свой радостный праздникъ жизни, когда при блескѣ тысячи огней, среди тропическихъ растеній, подъ чарующіе звуки музыки, смѣшивающіеся съ пѣвучими, нѣжными звуками лучшаго въ мірѣ языка,

мелькаютъ и кружатся ихъ разодѣтыя, раздушенныя пары, когда лица ихъ сіяютъ радостью и взаимнымъ радушіемъ, когда вы видите, что самыя ихъ веселыя игривыя рѣчи направлены умышленно къ тому, чтобы лишь развлекать и услаждать чувства, а отнюдь не смущать сердца и не отягощать вниманія какою нибудь головоломною и серьезною темою, — вамъ невольно приходитъ въ голову: вотъ оно, наконецъ, осуществленіе земнаго эдема, вотъ оно — передъ вами во очію царство гармоніи различныхъ западныхъ утопистовъ или Новый Сіонъ нашихъ раскольниковъ. И еще бы! вы возьмите хоть то во вниманіе, что здѣсь люди дошли до такой утонченности нравовъ, какая только мыслима на землѣ: здѣсь невозможно ни какое излишество: не только какая-нибудь безобразная пьяная сцена и громкій разговоръ, но даже малѣйшій грубый жестъ или тривіальное слово; здѣсь о нѣкоторыхъ принадлежностяхъ туалета не позволяютъ себѣ даже и думать, не только что говорить. Однимъ словомъ, каждое малѣйшее движеніе головою или ногою, каждый звукъ голоса доведены здѣсь до полнаго изящества съ цѣлію свидѣтельствовать о красотѣ и достоинствѣ царя земли — человѣка.

А между тѣмъ оказывается, что трудно представить себѣ людей, болѣе несчастныхъ и жалкихъ, чѣмъ эти завидные счастливцы. По крайней мѣрѣ такими изображаетъ ихъ гр. Л. Толстой. Весь романъ отъ первой страницы до послѣдней исполненъ какими то нравственными судорогами. Передъ нами словно нѣсколько темныхъ дикарей, которые сбились съ пути въ поискахъ обѣтованной земли, и блуждаютъ въ блатахъ и дебряхъ, забывши, откуда они пришли и куда идутъ. У каждаго изъ нихъ невообразимая путаница въ головѣ, и когда они бесѣдуютъ, они такъ мало понимаютъ другъ друга, какъ будто съ ними только что случилось нѣчто въ родѣ вавилонскаго столпотворенія и у нихъ смѣсились языки. Каждый изъ нихъ по своему ищетъ счастія, но въ концѣ концовъ оказывается, что если кто изъ нихъ пользуется хоть относительнымъ спокойствіемъ и довольствомъ, такъ это лишь тѣ «счастливцы, ума недальняго лѣнивцы», которымъ удалось разъ навсегда заглушить въ себѣ все человѣческое, и не поднимая никакихъ вопросовъ, не задавая себѣ никакихъ задачъ, поплыть по теченію, беззавѣтно отдавшись однимъ чисто свинскимъ инстинк-

тамъ, памятуя лишь одно, что après nous le déluge. Но и изъ этихъ блаженныхъ людей, ненарушимымъ счастіемъ пользуются лишь тѣ, которые усвоили себѣ мудрость наслаждаться благами чревоугодія, не дѣлая выбора изъ этихъ благъ, не устремляя всю свою алчность непремѣнно на одно какое-нибудь благо, а безразлично срывая каждый цвѣтокъ удовольствія, попадающійся подъ руку: ананасы такъ ананасы, огурцы такъ орурцы, вчера фленсбургскія устрицы, а сегодня — кислая капуста съ лучкомъ, —ничего,—подавай намъ и капустицы. Но такихъ лицъ въ романѣ немного; Стива Облонскій, Васенька Весловскій, княжна Бетси — и только. Для этого безмятежнаго пользованія жизнію во всѣхъ ея формахъ и видахъ необходимъ особеннаго рода темпераментъ, который не каждому дается. Большинство же дѣйствующихъ лицъ романа выбираютъ какой нибудь особенный свой излюбленный лакомый кусокъ и всѣ свои душевныя силы употребляютъ на снисканіе именно этого куска; всякій другой кажется имъ и солонъ, и горекъ, и безвкусенъ. Но такъ какъ избранный лакомый кусокъ не всегда тотчасъ же попадаетъ въ ротъ алчущему: то кто нибудь другой его перебьетъ, то самъ по себѣ кусокъ оказывается почему либо недоступнымъ, и вотъ—начинаются муки неудовлетворенной страсти, оскорбленнаго самолюбія, разочарованія, отчаянія. И замѣчательно, что только въ подобныя горькія минуты жизни въ этихъ людяхъ пробуждаются высшіе человѣческіе инстинкты. Они вдругъ словно прозрѣваютъ, что кромѣ ихъ, несчастныхъ лишеніемъ одного желаннаго лакомаго куска, есть еще тысячи, милліоны еще болѣе несчастныхъ, которые можетъ быть въ продолженіи всей жизни не видѣли даже и вдали-то чего-либо похожаго на лакомство. Сердца ихъ, которыя до того времени были глухи и слѣпы ко всему, что выходило изъ предѣловъ ихъ личныхъ, чревоугодныхъ вожделѣній, смягчаются вдругъ, исполняются разными нѣжными и гуманными стремленіями; у нихъ является жажда кормить алчущихъ, поить жаждущихъ и врачевать недугующихъ. Но это просвѣтлѣніе длится обыкновенно очень недолго. Имъ становится и жутко, и неловко; они чувствуютъ себя сейчасъ же не въ своей тарелкѣ и затѣмъ, словно устыдившись своей слабости, дѣлаются еще черствѣе, жесточе и безчеловѣчнѣе.

Въ самомъ дѣлѣ, гр. Л. Толстой съ такою систематичностью провелъ черезъ всѣ почти главныя дѣйствующія лица романа это явленіе, что мы можемъ разсматривать его въ самыхъ разнообразныхъ формахъ. Такъ Вронскій, когда лакомый кусокъ въ видѣ Анны Карениной, оказался вдругъ далеко не столь сладкимъ, какъ онъ ожидалъ, и сердце его наполнилось горечью и мракомъ, началъ поощрять бѣдныхъ тружениковъ искусства, а потомъ вздумалъ строить въ своей усадьбѣ больницу для крестьянъ по всѣмъ правиламъ современной науки, не упустивши завести при этомъ даже особенное кресло съ машинкой въ тѣхъ видахъ, «что больной не можетъ ходить—слабъ еще, или болѣзнь ногъ, но ему нуженъ воздухъ—и онъ ѣздитъ, катается»... Анна Каренина, въ свою очередь, когда адъ, наполнившій ея сердце, дошелъ до самаго страшнаго разгара, тоже бросилась въ своего рода филантропію, взяла ва свои руки семейство спившагося англичанина, бывшаго тренеромъ у Вронскаго, сама начала готовить мальчиковъ по-русски въ гимназію, а дѣвочку взяла къ себѣ. Левинъ, когда лакомый кусочекъ, въ видѣ Кити, пронесся мимо его рта, увлекся, какъ мы увидимъ ниже, разными проектами улучшенія быта крестьянъ, и даже у самого у него явилось минутное поползновеніе войти въ шкуру мужика. M-lle Варенька, воспитанница нѣкоей m-me Шталь, послѣ неудачной любви бросается въ религіозный экстазъ и наполняетъ свою жизнь разными христіанскими подвигами въ родѣ ухаживанія за больными и чтенія евангелія преступникамъ. Даже Кити, добродушно наивная Кити, съ птичьимъ умишкомъ и инстинктами насѣдки, ни о чемъ не помышлявшая, какъ лишь о томъ, кого-бы осчастливить законнымъ предоставленіемъ своихъ прелестей, даже эта самая Кити, когда ей не удалось осчастливить Вронскаго, и ея душевный міръ, равно какъ и физическое здоровье, пошатнулись, тоже увлеклась примѣромъ Вареньки, прониклась жаждою христіанскихъ подвиговъ и начала ухаживать на водахъ за больнымъ художникомъ Петровымъ. Но когда послѣдній принялъ ухаживанія ея не въ религіозномъ, а совсѣмъ въ иномъ смыслѣ и влюбился въ нее къ ужасу своей жены, Кити «какъ-будто очнулась, почувствовала всю трудность безъ притворства и хвастовства удержаться на той высотѣ, на которую она хотѣла подняться; кромѣ

того она почувствовала всю тяжесть этого міра горя, болѣзней, умирающихъ, въ которомъ она жила; ей мучительны показались тѣ усилія, которыя она дѣлала надъ собой, чтобы любить это, и поскорѣй захотѣлось на свѣжій воздухъ, въ Россію, въ Покровское».

Наконецъ, даже самъ Алексѣй Александровичъ Каренинъ, чуть не съ пеленокъ обратившійся въ бюрократическую машину, въ которомъ все человѣческое совсѣмъ окостенѣло до такой степени, что онъ каждый разъ приходилъ чуть не въ неистовство, когда осмѣливались передъ нимъ плакать, котораго ничто въ жизни такъ не радовало, какъ красота симметрически расположенныхъ на его столѣ письменныхъ принадлежностей, который до такой степени не привыкъ къ какимъ либо душевнымъ движеніямъ, что запутался, произнося слово *перестрадалъ* и у него вышло *пеле-педе-страдалъ*,—даже и этотъ административный манекенъ, въ самую трудную минуту жизни, у постели тяжело больной жены, испыталъ нѣчто въ родѣ нравственнаго просвѣтлѣнія и умягченія и оказался способнымъ протянуть братскую руку примиренія счастливому сопернику.

На первомъ планѣ романа разыгрывается передъ нами трагедія страсти Анны Карениной и Вронскаго. Къ этой-то трагедіи гр. Л. Толстой, въ качествѣ мыслителя, и отнесъ грозный эпиграфъ: «Мнѣ отмщеніе и Азъ воздамъ». Но художникъ и пальцемъ не пошевелилъ, чтобы оправдать этотъ эпиграфъ; напротивъ того, когда вы слѣдите за всѣми перипитіями этой драмы, то сначала вамъ дѣлается нѣсколько смѣшно при видѣ высокопарнаго приложенія такого грознаго изрѣченія къ банальной великосвѣтской комедіи, а потомъ вы приходите въ полное недоумѣніе: неужели же, думаете вы, въ этой средѣ, можетъ быть въ жизни и дѣятельности самого Алексѣя Александровича Каренина, не нашлось бы ничего, въ неизмѣримо большей степени достойнаго отмщенія и воздаянія, чѣмъ этотъ любовный пантомимъ, разыгранный двумя праздными существами съ одной стороны отъ скуки, а съ другой—изъ самой естественной жажды любви и счастія.

Оба они, и Вронскій и Анна, сходились въ томъ отношеніи, что ни въ дѣтствѣ, ни въ юности не испытали ни капли ничего согрѣвающаго душу. «Вронскій, говоритъ авторъ: ни-

когда не зналъ семейной жазни. Мать его была въ молодости блестящая свѣтская женщина, имѣвшая во время замужества, и въ особенности послѣ, много романовъ, извѣстныхъ всему свѣту. Отца своего онъ почти не помнилъ и былъ воспитанъ въ Пажескомъ корпусѣ. Выйдя очень молодымъ блестящимъ офицеромъ изъ школы, онъ сразу попалъ въ колею богатыхъ петербургскихъ военныхъ. Хотя онъ и ѣздилъ изрѣдка въ петербургскій свѣтъ, всѣ любовные интересы его были внѣ свѣта. Въ Москвѣ въ первый разъ онъ испыталъ, послѣ роскошной и грубой петербургской жизни, прелесть сближенія со свѣтскою, милою и невинною дѣвушкой (Кити), которая полюбила его».

Правда, что ухаживаніе за Кити Вронскаго имѣло нѣсколько дурной и предосудительный характеръ празднаго свѣтскаго волокитства безъ намѣренія жениться, но во всякомъ случаѣ близость первой неиспорченной женщины начала будить въ сердцѣ свѣтскаго шалопая кое-какіе и человѣческіе инстинкты. «Я самъ себя чувствую лучше, чище, говорилъ онъ себѣ: я чувствую, что у меня есть сердце, и что есть во мнѣ много хорошаго». А когда онъ вышелъ отъ Щербацкихъ, онъ прикинулъ воображеніемъ мѣсто, куда онъ могъ-бы ѣхать. Клубъ? партія безика, шампанское съ Игнатовымъ? Нѣтъ, не поѣду. Chateau des fleurs, тамъ найду Облонскаго, куплеты, cancan? Нѣтъ, надоѣло. Вотъ именно за то и люблю Щербацкихъ, что самъ лучше дѣлаюсь. Поѣду домой». Онъ прошелъ прямо въ свой номеръ у Дюссо, велѣлъ подать себѣ ужинать, и потомъ, раздѣвшись, только успѣлъ положить голову на подушку, заснулъ крѣпкимъ сномъ».

Какъ ни безцѣльно было ухаживаніе Вронскаго за Кити, но очень возможно, что дѣло кончилось-бы серьезнымъ увлеченіемъ и женитьбою. Но чувство не успѣло еще созрѣть, какъ появленіе Анны въ Москву дало совсѣмъ иной оборотъ дѣлу. Блестящая и обаятельная Анна, женщина въ полномъ разцвѣтѣ, сразу затмила простенькую и наивную Кити, и къ тому же у нея, какъ мы сказали выше, было болѣе духовнаго сродства съ Вронскимъ. Дѣтства ея авторъ не описываетъ, но даетъ понять, что и ея сердце было такъ же мало согрѣто, какъ и Вронскаго. Въ замужествѣ ея за Каренинымъ не было и слѣда любви: это была какая то дрянная интрига ея тетки,

какая именно—авторъ почти не даетъ ни малѣйшаго разъясненія. Но за то въ одномъ мѣстѣ романа онъ заставляетъ Анну очень обстоятельно и краснорѣчиво признаться, какова была жизнь ея въ теченіи восьми лѣтъ замужества.

— «Правъ! правъ! проговорила она: разумѣется, онъ всегда правъ, онъ христіанинъ, онъ великодушенъ! Да, низкій, гадкій человѣкъ! И этого никто, кромѣ меня, не понимаетъ и не пойметъ, и я не могу растолковать. Они говорятъ: религіозный, нравственный, честный, умный человѣкъ; но они не видятъ, что̀ я видѣла. Они не знаютъ, какъ онъ восемь лѣтъ душилъ мою жизнь, душилъ все, что было во мнѣ живаго,—что онъ ни разу и не подумалъ о томъ, что я живая женщина, которой нужна любовь. Не знаютъ, какъ на каждомъ шагу онъ оскорблялъ меня и оставался доволенъ собою. Я-ли не старалась, всѣми силами старалась, найти оправданіе своей жизни? Я-ли не пыталась любить его, любить сына, когда уже нельзя было любить мужа? Но прошло время, я поняла, что я не могу больше себя обманывать, что я живая, что я не виновата, что Богъ меня сдѣлалъ такою, что мнѣ нужно любить и жить»...

Однимъ словомъ, какъ Вронскій, такъ и Анна бросились въ объятія другъ къ другу просто потому, что обоимъ въ одинаковой степени было такъ-же холодно и безпріютно на свѣтѣ, какъ какимъ-нибудь бѣднякамъ, которые гдѣ-нибудь на холодномъ чердачкѣ жмутся другъ къ другу, чтобы взаимно согрѣть свои окоченѣлые члены. И въ этомъ вся ихъ вина, и за это авторъ, въ качествѣ мыслителя, ниспосылаетъ на нихъ отмщеніе и воздаяніе. Но курьезнѣе всего то, что по ходу драмы отмщеніе и воздаяніе обрушивается на героевъ вовсе не за самый ихъ грѣхъ. Въ свѣтѣ и не такъ еще грѣшатъ разныя княжны Бетси и Стивы Облонскіе,—и все это имъ сходитъ, какъ съ гуся вода. И герои наши могли грѣшить, сколько душѣ угодно, лишь бы все было шито и крыто. Праздные люди судачили бы о нихъ гдѣ-нибудь за уголкомъ, но продолжали-бы принимать ихъ у себя, бывать у нихъ, и разсыпаться передъ ними въ любезностяхъ и всякихъ душевныхъ пожеланіяхъ. Алексѣй Александровичъ пеле-меле—страдалъ-бы себѣ въ тихомолку, но въ концѣ концовъ остался-бы доволенъ, что жена его съумѣла поддержать достоинство его дома и утѣшился-бы новымъ повы-

шеніемъ по службѣ. Но виновники вздумали вдругъ отнестись къ своей любви гораздо честнѣе, чѣмъ другіе, осмѣлились любить другъ друга открыто передъ всѣмъ свѣтомъ, не остановились передъ тѣмъ, чтобы пожертвовать своей любви положеніемъ въ свѣтѣ, связями, карьерой. За эту дерзость и безумство и послѣдовало, собственно говоря, отмщеніе и воздаяніе. Свѣтъ не могъ простить ослушникамъ, преступившимъ вѣковѣчный и существенный законъ его, требующій сохраненія блестящей внѣшности и порядочности во чтобы то ни стало, хотя-бы цѣною самаго возмутительнаго лицемѣрія и самой постыдной лжи. Началась положительная травля со стороны людей, которые въ тысячу разъ были преступнѣе и во всѣхъ отношеніяхъ ниже и гаже. Аннѣ нельзя было носу показать даже въ театръ, чтобы не испытать скандала со стороны какой-нибудь чопорной охранительницы нравственности, которая можетъ быть изъ этого-же театра готовилась отправиться на свиданіе съ любовникомъ. Даже та самая мать Вронскаго, которая въ юности только и дѣлала, что падала, сначала поощряла блестящую свѣтскую связь сына, потомъ возстала на нее, когда увидѣла, что это не шуточная свѣтская шалость, а роковая страсть, грозящая повредить карьерѣ сына. Но самое дѣятельное и безчеловѣчное участіе въ травлѣ принадлежитъ въ качествѣ обманутаго мужа, Алексѣю Александровичу. У этой бюрократической деревяшки хватило однако же на столько іезуитскаго ехидства, чтобы облечь свои преслѣдованія въ личину религіозно-христіанскихъ обязанностей, и сначала онъ пытался было во имя этихъ обязанностей пригвоздить виновную супругу къ своему ложу силою своихъ супружескихъ правъ, а потомъ, когда это ему не удалось, и послѣ минутнаго смягченія у постели больной, онъ удвоилъ свою месть, отлично понявши, чѣмъ дойти несчастную женщину: онъ отнялъ у нея сына и запретилъ ей видѣться съ нимъ. Сцена тайнаго свиданія Анны съ сыномъ представляетъ верхъ трагическаго паѳоса; это одна изъ лучшихъ сценъ въ романѣ; одна изъ лучшихъ сценъ въ нашей литературѣ. Въ ней художникъ окончательно топчетъ въ грязь мыслителя. Здѣсь передъ нами вся, какъ на ладони, судьба этой несчастной женщины, судьба русской женщины вообще,—и сердце ваше наполняется глубокой жалостью къ ней и безпощаднымъ него-

дованіемъ къ ея мучителямъ. Не согрѣтая материнскою любовью, воспитанная лишь на показъ для продажи на свѣтскомъ базарѣ, навязанная безсердечному идіоту обманомъ и хитростью, въ родѣ того, какъ цыгане сбываютъ на ярмаркѣ лошадей, униженная и оскорбленная во всѣхъ своихъ завѣтныхъ чувствахъ, она пьетъ послѣднюю страшную чашу униженія: ее заставляютъ тайкомъ въ родѣ воровки красться для того, чтобы только мелькомъ взглянуть на своего ребенка...

Да пусть эта самая Анна Каренина была бы въ тысячу разъ потеряннѣе, чѣмъ она есть на самомъ дѣлѣ, пусть бы она шаталась по Невскому, вытаскивала бы платки изъ кармановъ, почевала на Сѣнной въ домѣ Вяземскаго,—но есть преступленіе, которое превышаетъ всѣ возможныя преступленія на земномъ шарѣ: это—отнять ребенка у матери, и изверги, которые отваживаются на это безчеловѣчіе, заслуживаютъ въ тысячу разъ страшнѣйшаго воздаянія и отмщенія, чѣмъ эта самая мать, будь она наипотеряннѣйшая женщина.

Но этимъ еще не исчерпываются всѣ испытанія, какими люди истерзали женщину за то, что она осмѣлилась открыто отдаться своей страсти безъ всякой лжи и притворства. Когда въ новомъ семейномъ гнѣздышкѣ, свитомъ Анною и Вронскимъ, вкрался мракъ, хаосъ и разладъ, зависѣвшіе единственно оттого, что гнѣздышко это было свито на воздухѣ и не имѣло никакой твердой почвы подъ собою, когда оба обитателя этого воздушнаго гнѣздышка убѣдились, что для ихъ примиренія и успокоенія необходимъ формальный разводъ Анны съ своимъ мужемъ, оказалось вдругъ, что этотъ разводъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и судьба двухъ любящихся людей всецѣло зависятъ отъ какого-то проходимца, парижскаго комми, ясновидящаго Жюля Ландо. Дѣло въ томъ, что Алексѣй Александровичъ, разставшись съ женою, кинулся въ религіозное великосвѣтское сектаторство подъ вліяніемъ той самой графини Лидіи Ивановны, которую онъ въ прежнія временя называлъ самоваромъ, а Лидія Ивавовна свела его съ этимъ самымъ Ландо, обратившимся въ графа Беззубова. Алексѣй Александровичъ до такой степени подчинился сомнамбулическимъ вѣщаніямъ французскаго прикащика, что нѣсколькихъ безсвязныхъ словъ послѣдняго совершенно было достаточно ему, чтобы изрѣчь свое veto относительно развода. Это была послѣдняя капля, переполнившая

чашу. Послѣ этого послѣдняго посрамленія, нѣтъ ничего мудренаго, что измученнымъ, истерзаннымъ нервамъ Анны въ каждомъ взглядѣ Вронскаго, въ каждомъ его невинномъ шагѣ и движеніи, начало грезиться охлажденіе, измѣна и желаніе избавиться отъ нея. Въ концѣ концовъ только и оставалось ей, что броситься подъ поѣздъ, а ему—искать смерти въ Сербіи.

Я не спорю, ничего нѣтъ особенно высокаго и доблестнаго въ исключительной отдачѣ такой низменной страсти, какъ половая, и люди, которыхъ ничто не интересуетъ въ жизни, какъ лишь эта страсть, и которые считаютъ все для себя потеряннымъ, если имъ не удастся полное удовлетвореніе ея, сами по себѣ очень жалкіе люди. Я готовъ въ то же время согласиться, что Анна и Вронскій отчасти и сами виноваты въ своей гибели: они возросли въ свѣтской обстановкѣ и до такой степени свыклись и сжились съ нею, что она сдѣлалась такою же неотъемлемою стихіею ихъ, какъ воздухъ. Поэтому если у нихъ и хватило мужества разорвать со свѣтомъ, но они были не въ состояніи обойтись безъ него и какъ нибудь иначе устроить свою жизнь въ какой нибудь другой стихіи, въ которой для нихъ недоступна была бы вся та травля, которую воздвигъ на нихъ свѣтъ. Они погибли, какъ погибаетъ рыба, выкинутая на песокъ, или мятежный матросъ, выброшенный за бортъ корабля за своеволіе и буйство.

Но не станемъ требовать отъ нихъ того, чего они не могли дать, и будемъ разсматривать ихъ относительно, въ предѣлахъ условій ихъ среды и жизни. Въ такомъ случаѣ вы должны будете отдать имъ полную справедливость, что въ тѣхъ узкихъ рамкамъ, въ которыхъ вращается ихъ жизнь и ихъ интересы, оня являются людьми въ своемъ родѣ цѣльными, отдаваясь своей страсти безъ всякихъ колебаній и сомнѣній, съ героическою готовностью пожертвовать ей и самую жизнь. Очень жалко, что на сценѣ является такая неизменная страсть, какъ половая, но тѣмъ не менѣе остается несомнѣннымъ, что люди, способные съ такою непосредственною полнотою отдаться любви, съ неменьшею цѣльностью пожертвовали бы собою и всякой другой, болѣе высокой страсти, если бы они могли увлечься ею при иныхъ условіяхъ жизни и среды. Важно не одно содержаніе жизни тѣхъ или другихъ людей, но и самые люди, представляющіеся мѣхами, носящими это содержаніе. И если

желательно, чтобы содержаніе было дѣльное, то не менѣе необходимо, чтобы и мѣхи были хорошіе, крѣпкіе и твердые. Если жалко бываетъ видѣть плохое содержаніе въ здоровыхъ, крѣпкихъ мѣхахъ, то еще въ большей степени жалко, если прекрасное содержаніе вливается въ дрянные, ветхіе, кругомъ продырявленные мѣхи. А въ жизни на каждомъ шагу мы встрѣчаемъ такъ, что и содержаніе то выѣденнаго яйца не стоитъ, да и мѣхи то являются чортъ знаетъ какіе. Особенно въ нашей русской жизни мы такъ не избалованы цѣльными характерами и могучими страстями, что насъ невольно радуетъ, словно вѣетъ на насъ какимъ-то свѣжимъ, ободряющимъ воздухомъ изъ иныхъ странъ, при видѣ каждаго такого проявленія, хотя бы и не Богъ вѣсть какого высокаго свойства. Понятно, чтъ 30—40 лѣтъ тому назадъ, въ эпоху Лермонтова, Анна и Вронскій были-бы вознесены на пьедесталъ, какъ избранные люди, цѣлою головою выше всѣхъ окружающихъ, и за то непонятые, опозоренные и погубленные «пошлою толпою». Для насъ конечно они не могутъ уже быть въ такой степени героями, какъ для нашихъ дѣдовъ и отцовъ, потому что потребности наши возвысились и расширились и насъ не можетъ удовлетворить героизмъ любви; мы жаждемъ инаго, болѣе содержательнаго героизма. Оттого графу Л. Толстому въ качествѣ художника ничего не стоило развѣнчать своихъ героевъ и представить ихъ во всемъ ихъ реальномъ убожествѣ. Но и развѣнчанные они значительно выигрываютъ по сравненіи съ прочими дѣйствующими лицами и особенно съ героемъ россійской культурности Константиномъ Левинымъ, котораго гр. Л. Толстой, въ качествѣ мыслителя, преподноситъ намъ, какъ положительный типъ для примѣра и поученія. Они мѣднаго пятака не имѣютъ за душою, да хоть въ любви то мужественны, тверды и идутъ до конца, не оглядываясь по сторонамъ. Приступивши же къ Левину, вы сразу проваливаетесь въ мутныя и бездонныя хляби россійской культурности. Передъ вами тотчасъ же раскрываются всѣ тѣ прекрасныя качества, которыя дѣлаютъ изъ россійскаго культурнаго человѣка жалкое ничтожество и никуда негодную тряпку: расплывчатость, рыхлость, неопредѣленность, шаткость, легковѣсная увлекаемость каждымъ минутнымъ вѣяніемъ и отсутствіе всякаго упорства въ преслѣдуемой цѣли; разомъ нѣсколько самыхъ разнородныхъ стремленій,

взаимно исключающихъ другъ друга, причемъ любовь всегда ужь является препятствіемъ для общественныхъ стремленій или послѣднія становятся на дорогѣ любви, и въ то же время человѣкъ и самъ не можетъ отдать себѣ отчета, любитъ онъ или не любитъ, вѣруетъ во что или не вѣруетъ, стремится къ чему-либо, или такъ только ему кажется. Мыслитель преподноситъ намъ этотъ студень, какъ образецъ человѣчности, какъ якорь спасенія, какъ единственный залогъ душевнаго мира и счастія. Посмотрите же какъ зло и безпощадно художникъ смѣется надъ мыслителемъ.

На первыхъ же страницахъ романа Левинъ является передъ нами пріѣхавшимъ изъ деревни въ Москву свататься за Кити, и тутъ же сейчасъ начинаются передъ вами его нескончаемыя сомнѣнія и колебанія. Ему кажется, что Кити такое совершенство во всѣхъ отношеніяхъ, такое существо превыше всего земнаго, а онъ такое земное, низменное существо, что не могло быть и мысли о томъ, чтобы другіе и она сама признали его достойнымъ ея. Въ глазахъ родныхъ Кити онъ не имѣлъ никакой привычной, опредѣленной дѣятельности и положенія въ свѣтѣ, былъ помѣщикъ, занимающійся разведеніемъ коровъ, стрѣляніемъ дупелей, и постройками, то-есть бездарный малый, изъ котораго ничего не вышло, и дѣлающій, по понятіямъ общества, то самое, что дѣлаютъ никуда негодившіеся люди. Сама же таинственная, прелестная Кити, думаетъ онъ, не могла любить такого некрасиваго, какимъ онъ считалъ себя, и главное, такого простаго, ничѣмъ не выдающагося человѣка.

И вотъ, вмѣсто того, чтобы ухаживать за любимой барышней, онъ упалъ духомъ и уѣхалъ въ деревню. Но пробывъ два мѣсяца одинъ въ деревнѣ, онъ убѣдился, что это не было одно изъ тѣхъ влюбленій, которыя онъ испытывалъ въ первой молодости; что чувство это не давало ему покоя; что онъ не могъ жить, не рѣшивъ вопроса: будетъ или не будетъ она его женой; и что его отчаянье происходило только отъ его воображенья, что онъ не имѣетъ никакихъ доказатяльствъ того, что ему будетъ отказано. И онъ опять поѣхалъ въ Москву, теперь уже съ твердымъ рѣшеніемъ сдѣлать предложеніе и жениться, если его примутъ. Или... онъ не могъ думать о томъ, что съ нимъ будетъ, если откажутъ.

А ему взяли да и отказали. Простодушная Кити, жаждующая любви и гименея, не стала дожидаться, когда обожатель ея признаетъ себя достойнымъ ея, и въ отсутствіе его успѣла влюбиться въ пріѣхавшаго въ Москву блестящаго Вронскаго и дала полную отставку своему прежнему суженному. Левинъ впалъ въ окончательное уныніе. «Да, размышлялъ онъ: что-то есть во мнѣ противное, отталкивающее, и не гожусь я для другихъ людей. Гордость, говорятъ. Нѣтъ, у меня нѣтъ и гордости. Если бы была гордость, я не поставилъ бы себя въ такое положеніе. Да, она должна была выбрать его (Вронскаго). Такъ надо, и жаловаться не на кого и не за что. Виноватъ я самъ. Какое право имѣлъ я думать, что она захочетъ соединить свою жизнь съ моею? Кто я? И что я? На что живу? человѣкъ, ни кому и ни для чего ненужный».

Съ этими мрачными мыслями онъ снова поѣхалъ въ деревню. Но дорожныя и деревенскія впечатлѣнія разсѣяли мракъ его души, ободрили его. «Онъ чувствовалъ себя собой, говоритъ авторъ: и другимъ не хотѣлъ быть. Онъ хотѣлъ теперь быть только лучше, чѣмъ онъ былъ прежде. Во первыхъ, съ этого дня онъ рѣшилъ, что не будетъ больше надѣяться на необыкновенное счастіе, какое ему должна была дать женитьба, и вслѣдствіе этого не будетъ такъ пренебрегать настоящимъ. Во вторыхъ, онъ уже никогда не позволитъ себѣ увлечься гадкою страстью, воспоминаніе о которой такъ мучило его, когда онъ собирался сдѣлать предложеніе. Потомъ и разговоръ брата о коммунизмѣ, къ которому тогда онъ такъ легко отнесся, теперь заставилъ его задуматься. Онъ считалъ передѣлку экономическихъ условій вздоромъ, но онъ всегда чувствовалъ несправедливость своего избытка въ сравненіи съ бѣдностью народа, и теперь рѣшилъ про себя, что для того, чтобы чувствовать себя вполнѣ правымъ, онъ, хотя и прежде много работалъ и не роскошно жилъ, теперь будетъ еще больше работать и еще меньше будетъ позволять себѣ роскоши. И все это казалось ему такъ легко сдѣлать надъ собой, что всю дорогу онъ провелъ въ самыхъ пріятныхъ мечтаніяхъ. Съ бодрымъ чувствомъ надежды на новую лучшую жизнь, онъ въ девятомъ часу ночи подъѣхалъ къ своему дому».

Однимъ словомъ, и съ нимъ произошло тоже, что и со всѣми прочими дѣйствующими лицами романа: отпустили его

съ носомъ, не солоно хлебавши, отъ лакомаго блюда,—и онъ тотчасъ же исполнился разными гуманными чувстами, состраданіемъ къ низшей братьи и стремленіемъ начать новую и лучшую жизнь. Это стремленіе, ничѣмъ особеннымъ не осуществляясь, не покидало Левина ни зимою, ни весною, ни лѣтомъ. Оно жило въ немъ и въ то время, когда онъ стрѣлялъ дуппелей съ пріѣхавшимъ къ нему Облонскимъ, и въ то время, когда косилъ сѣно съ мужиками. На одномъ же изъ сѣнокосовъ мысли его о новой жизни приняли самый опредѣленный характеръ, и притомъ такой важный и роковой, что, казалось, судьба его должна была тотчасъ же рѣшиться. Я не могу удержаться, чтобы не выписать цѣликомъ это замѣчательное мѣсто романа:

«Возъ былъ увязанъ. Иванъ спрыгнулъ и повелъ за поводъ добрую, сытую лошадь. Баба вскинула на возъ грабли, и бодрымъ шагомъ, размахивая руками, пошла къ собравшимся хороводомъ бабамъ. Иванъ, выѣхавъ на дорогу, вступилъ въ обозъ съ другими возами. Бабы съ граблями на плечахъ, блестя яркими цвѣтами, и треща звонкими, веселыми голосами, шли позади возовъ. Одинъ грубый, дикій бабій голосъ затянулъ пѣсню и допѣлъ ее до повторенья, и дружно, въ разъ, подхватили опять съ начала ту же пѣсню полсотни разныхъ, грубыхъ и тонкихъ, здоровыхъ голосовъ.

«Бабы съ пѣснью приближались къ Левину, и ему казалось, что туча съ громомъ веселья подвигалась на него. Туча надвинулась, захватила его, и—копна, на которой онъ лежалъ, и другіе копны, и воза, и весь лугъ съ дальнимъ полемъ—все заходило и заколыхалось подъ размѣры этой дикой развеселой пѣсни съ вскриками, присвистами и ёканьями. Левину завидно стало за это здоровое веселье, хотѣлось принять участіе въ выраженіи этой радости жизни. Но онъ ничего не могъ сдѣлать, и долженъ былъ лежать и смотрѣть, и слушать. Когда народъ съ пѣснью скрылся изъ вида и слуха, тяжелое чувство тоски за свое одиночество, за свою тѣлесную праздность, за свою враждебность къ этому міру охватило Левина.

«Нѣкоторые изъ тѣхъ самыхъ мужиковъ, которые больше всѣхъ съ нимъ спорили за сѣно, тѣ, которыхъ онъ обидѣлъ, или тѣ, которые хотѣли обмануть его, эти самые мужики весело кланялись ему, и очевидно не имѣли и не могли имѣть

къ нему никакого зла, и никакого—не только раскаянія, но и воспоминанія о томъ, что они хотѣли обмануть его. Все это потонуло въ морѣ веселаго общаго труда. Богъ далъ день, Богъ далъ силы. И день, и силы посвящены труду, а въ немъ самомъ награда. А для кого трудъ? Какіе будутъ плоды труда? Это соображенія постороннія и ничтожныя.

«Левинъ часто любовался на эту жизнь, часто испытывалъ чувство зависти къ людямъ, живущимъ этою жизнію, но нынче въ первый разъ, въ особенности подъ впечатлѣніемъ того, что онъ видѣлъ въ отношеніяхъ Ивана Парменова къ его молодой женѣ, Левину въ первый разъ ясно пришла мысль о томъ, что отъ него зависитъ перемѣнить ту столь тягостную, праздную, искусственную и личную жизнь, которою онъ жилъ, на эту трудовую, чистую и общую, прелестную жизнь.

«Старикъ, сидѣвшій съ нимъ, уже давно ушелъ домой; народъ весь разобрелся. Ближніе уѣхали домой, а дальніе собрались къ ужину и ночлегу въ лугу. Левинъ, не замѣчаемый народомъ, продолжалъ лежать на копнѣ и смотрѣть, слушать и думать. Народъ, оставшійся ночевать въ лугу, не спалъ почти всю короткую лѣтнюю ночь. Сначала слышался общій веселый говоръ и хохотъ за ужиномъ, потомъ опять пѣсни и смѣхъ.

«Весь длинный, трудовой день не оставилъ въ нихъ другаго слѣда, кромѣ веселости. Передъ утреннею зарей все затихло. Слышались только ночные звуки неумолкаемыхъ въ болотѣ лягушекъ и лошадей, фыркавшихъ по лугу въ поднимавшемся передъ утромъ туманѣ. Очнувшись, Левинъ всталъ съ копны, и, оглядѣвъ звѣзды, понялъ, что прошла ночь.

«Ну такъ что же я сдѣлаю? Какъ я сдѣлаю это? сказалъ онъ себѣ, стараясь выразить для самого себѣ все то, что онъ передумалъ и перечувствовалъ въ эту короткую ночь. Все, что онъ передумалъ и перечувствовалъ, раздѣлялось на три отдѣльные хода мысли. Одинъ, это было отреченіе отъ своей старой жизни, отъ своего ни къ чему не нужнаго образованія. Это отреченье доставляло ему наслажденье и было для него легко и просто. Другія мысли и представленія касались той жизни, которою онъ желалъ жить теперь. Простоту, чистоту, законность этой жизни онъ ясно чувствовалъ, и былъ убѣжденъ, что онъ найдетъ въ ней то удовлетвореніе, успокоеніе и достоин-

ство, отсутствіе которыхъ онъ такъ болѣзненно чувствовалъ. Но третій рядъ мыслей вертѣлся на вопросѣ о томъ, какъ сдѣлать этотъ переходъ отъ старой жизни къ новой. И тутъ ничего яснаго ему не представлялось. «Имѣть жену. — Имѣть работу и необходимость работы. Оставить Покровское? Купить землю? Приписаться въ общество? Жениться на крестьянкѣ? Какъ-же я сдѣлаю это?» опять спрашивалъ онъ себя, и не находилъ отвѣта. «Впрочемъ я не спалъ всю ночь, и я не могу дать себѣ яснаго отчета», сказалъ онъ себѣ. «Я уясню послѣ. Одно вѣрно, что эта ночь рѣшила мою судьбу. Всѣ мои прежнія мечты семейной жизни вздоръ, не то», сказалъ онъ себѣ. «Все это гораздо проще и лучше»...

Читаете вы это мѣсто и думаете: вотъ, вотъ сейчасъ въ жизни героя нашего произойдетъ великій переломъ, всѣ высокія стремленія его осуществятся не громкимъ, но тѣмъ не менѣе очень почтеннымъ способомъ: праздный стрѣлятель дупелей и унылый вздыхатель по коварной измѣнницѣ Кити обратится передъ нами въ честнаго и скромнаго труженика. Но надо же было случиться, чтобы какъ нарочно въ эту самую минуту проѣхала мимо эта самая Кити на пути въ усадьбу къ своей сестрѣ Долли. А Левинъ незадолго передъ тѣмъ услыхалъ отъ Облонскаго, что Кити разочаровалась въ измѣнившемъ ей Вронскомъ и сдѣлалась снова свободна. Узрѣлъ Левинъ «правдивыя очи» своей Кити, блеснувшія удивленною радостью при видѣ его,—и все пошло кругомъ въ головѣ его: и мечты о припискѣ въ общество, о женидьбѣ на крестьянкѣ, о трудовой, простой жизни, — разомъ разсѣялись прахомъ. «Нѣтъ», сказалъ онъ себѣ: «какъ ни хороша эта жизнь простая и трудовая, я не мугу вернуться къ ней. *Я люблю ее*».

Правда, что и послѣ этой неожиданной встрѣчи онъ нѣкоторое время все еще занимался вопросомъ о своихъ отношеніяхъ къ мужикамъ: хозяйство, которое онъ велъ, опротивѣло ему и потеряло для него всякій интересъ, онъ не могъ не видѣть теперь того непріятнаго отношенія своего къ работникамъ, которое было основой всего дѣла; напротивъ того, онъ ясно видѣлъ, что то хозяйство, которое онъ велъ, была только жестокая и упорная борьба между нимъ и работниками, въ которой на его сторонѣ было постоянное напряженное стремленіе передѣлать все на считаемый лучшимъ образецъ,

на другой-же сторонѣ естественный порядокъ вещей. И въ этой борьбѣ, онъ видѣлъ, что при величайшемъ напряженіи силъ съ его стороны, и безо всякихъ усилій и даже намѣренія съ другой, достигалось только то, что хозяйство шло ни въ чью, и совершенно напрасно портились прекрасныя орудія, прекрасная скотина и земля. Правда, что вслѣдствіи всѣхъ этихъ мыслей и соображеній у Левина образовался планъ какихъ-то новыхъ и особенныхъ отношеній къ мужикамъ, какихъ именно, трудно понять изъ изложенія его мыслей. Все дѣло повидимому заключалось въ томъ, чтобы спустить уровень своего хозяйства до средняго уровня хозяйства крестьянъ и заинтересовать работниковъ въ успѣхѣ дѣла дѣлежемъ пополамъ добываемыхъ продуктовъ. Правда, что Левинъ въ такой восторгъ пришелъ отъ этого плана, что вообразилъ даже себя чѣмъ-то въ родѣ Франклина.

Но все это было больше ничего, какъ уже послѣднія тучи разсѣянной бури. По пріѣздѣ больнаго брата къ нему въ усадьбу, онъ прочелъ про себя нѣсколько гамлетовскихъ монологовъ о тщетѣ всего земнаго и о неизбѣжности смерти, поломался еще немножко передъ Китею, не пожелавши ѣхать къ Долли и встрѣтиться у нея съ Китею, поѣхалъ затѣмъ за границу все еще въ видахъ своихъ сельско-хозяйственныхъ плановъ, но когда воротился изъ-за границы въ Москву, — всѣ планы и мысли объ отношеніи къ мужикамъ окончательно были сданы въ архивъ. Тутъ онъ снова встрѣтился съ Китею, тотчасъ-же они помирились, объяснились,—и начались восторги неземнаго счастія. До мужиковъ ли тутъ было.

Но и тутъ дѣло не обошлось безъ сомнѣній и колебаній. Уже въ самый день свадьбы на Левина вдругъ напалъ страхъ: «Что какъ она не любитъ меня? Что какъ она выходитъ за меня только для того, чтобы выйти замужъ? Что если она сама не знаетъ того, что дѣлаетъ? спрашивалъ онъ себя. Она можетъ опомниться, и только выйдя замужъ пойметъ, что не любитъ и немогла любить меня». И страшныя, самыя дурныя мысли о ней стали приходить ему. Онъ ревновалъ ее къ Вронскому, какъ годъ тому назадъ, какъ-будто этотъ вечеръ, когда онъ видѣлъ ее съ Вронскимъ, былъ вчера. Онъ подозрѣвалъ, что она не все сказала ему. Онъ быстро вскочилъ. «Нѣтъ, это такъ нельзя!» сказалъ онъ себѣ съ отчаяньмъ: «пойду

къ ней, спрошу, скажу послѣдній разъ: мы свободны, и не лучше-ли остановиться? Все лучше, чѣмъ вѣчное несчастіе, позоръ, невѣрность!!» Съ отчаяніемъ въ сердцѣ и со злобой на всѣхъ людей, на себя, на нее, онъ вышелъ изъ гостинницы и поѣхалъ къ ней.

Кити онъ конечно очень удивилъ своими подозрѣніями, заставилъ ее плакать, утѣшать и снова увѣрять въ любви къ нему.

Но и женившись на Кити, онъ не переставалъ при всякомъ удобномъ случаѣ подвергаться разнымъ сомнѣніямъ и разочарованіямъ. То ему вдругъ не нравится, зачѣмъ Кити тотчасъ-же по пріѣздѣ въ усадьбу предалась разнымъ хозяйственнымъ мелочнымъ заботамъ. Онъ, вотъ видите, представлялъ себѣ семейную жизнь совсѣмъ иначе, воображалъ ее «только какъ наслажденіе любви, которой ничто не должно было препятствовать и отъ которой не должны были отвлекать мелкія заботы; онъ долженъ былъ, по его понятію, работать свою работу и отдыхать отъ нея въ счастіи любви, она должна быть любима и только». То наоборотъ ему казалось, что Кити слишкомъ мало трудится, «что не то, что она сама виновата (виноватою она ни въ чемъ не могла быть), но виновато ея воспитаніе, слишкомъ поверхностное и фривольное, что кромѣ интереса къ дому, кромѣ своего туалета, и кромѣ broderie anglaise, у нея нѣтъ серьезныхъ интересовъ: ни интереса къ дѣлу мужа, къ хозяйству, къ мужикамъ, ни къ музыкѣ, въ которой она довольно сильна, ни къ чтенію; она ничего не дѣлаетъ, и совершенно удовлетворена».

Но этими сомнѣніями и разочарованіями дѣло не ограничивается. Приходитъ лѣто, начали къ Левину въ Покровское съѣзжаться разные родные и знакомые, а въ томъ числѣ пріѣхалъ Васенька Весловской. И вдругъ въ первый же день пріѣзда послѣдняго оказалось, что Левинъ такъ мало знаетъ свою жену Кити, такъ мало довѣряетъ ей и цѣнитъ ее, и слѣдовательно такъ мало любитъ ее, что невинное ухаживанье Весловскаго за молодою хозяйкою тотчасъ же выводитъ его изъ себя: ему начинаютъ мерещиться какія-то особенныя безстыжія улыбки, которыми жена его отвѣчала будто-бы на улыбки Васеньки, и онъ тотчасъ же воображаетъ себя обманутымъ мужемъ, въ которомъ нуждаются жена и любовникъ

только для того, чтобы доставлять имъ удобства жизни и удовольствія». И кончается дѣло тѣмъ, что на третій день онъ самымъ безцеремоннымъ и грубымъ образомъ выпроваживаетъ Васеньку изъ усадьбы. Хорошо, что у простодушной Кити мозгъ и сердце были курячьи, и она тотчасъ же простила, но вообразите себѣ, какъ бы все это должно было жестоко оскорбить женщину мало-мальски умную и съ характеромъ. Вслѣдъ за тѣмъ онъ до такой степени подчиняется женскому элементу своей семьи въ видѣ жены и тещи, что ѣдетъ съ Кити на зиму въ Москву въ видахъ разрѣшенія ея отъ бремени и тамъ втягивается въ роскошную и раззорительную свѣтскую жизнь съ головою, забывши окончательно всѣ свои сельскохозяйственныя мечтанія.

«Только въ самое первое время въ Москвѣ, читаемъ мы въ романѣ: тѣ страшные деревенскому жителю, непроизводительные, но неизбѣжные расходы, которые потребовались отъ него со всѣхъ сторонъ, поражали Левина. Но теперь онъ уже привыкъ къ нимъ. Съ нимъ случилось въ этомъ отношеніи то, что говорятъ случается съ пьяницами: первая рюмка—коломъ, вторая — соколомъ, а послѣ третьей — мелкими пташечками. Когда Левинъ размѣнялъ первую сторублевую бумажку на покупку ливрей лакею и швейцару, онъ невольно сообразилъ, что эти никому не нужныя ливреи,—но неизбѣжно необходимыя, судя потому, какъ удивились княгиня и Кити при намекѣ, что безъ ливреи можно обойтись, — что эти ливреи будутъ стоить двухъ лѣтнихъ работниковъ, то-есть около трехсотъ рабочихъ дней отъ Святой до заговенъ, и каждый день тяжкой работы съ ранняго утра до поздняго вечера, — и эта сторублевая бумажка еще шла коломъ. Но слѣдующая, размѣненная на покупку провизіи къ обѣду для родныхъ, стоившей двадцать восемь рублей, хотя и вызвала въ Левинѣ воспоминаніе о томъ, что двадцать восемь рублей — это девять четвертей овса, который потѣя и кряхтя, косили, вязали, молотили, вѣяли, подсѣвали и подсыпали, — эта слѣдующая пошла все таки легче. А теперь размѣниваемыя бумажки уже давно не вызывали такихъ соображеній и летѣли мелкими пташечками. Соотвѣтствуетъ ли трудъ, накопленный на пріобрѣтеніе денегъ, тому удовольствію, которое доставляетъ накупаемое на нихъ, это соображеніе уже давно было потеряно. Разсчетъ хо-

зяйственный о томъ, что есть извѣстная цѣна, ниже которой нельзя продать извѣстный хлѣбъ, тоже былъ забытъ. Рожь, цѣну на которую онъ такъ долго выдерживалъ, была продана пятьюдесятью копѣйками на четверть дешевле, чѣмъ за нее давали мѣсяцъ тому назадъ. Даже и разсчетъ, что при такихъ расходахъ невозможно будетъ прожить весь годъ безъ долга, и этотъ разсчетъ уже не имѣлъ никакого значенія. Только одно требовалось: имѣть деньги въ банкѣ, не спрашивая, откуда онѣ, такъ чтобы знать всегда, на что завтра купить говядины. И этотъ разсчетъ до сихъ поръ у него соблюдался: у него всегда были деньги въ банкѣ. Но теперь деньги въ банкѣ вышли, и онъ не зналъ хорошенько, откуда взять ихъ. И это-то на минуту, когда Кити напомнила о деньгахъ, разстроило его; но ему некогда было думать объ этомъ».

И еще бы: до того ли было думать ему о такихъ пустякахъ, когда у малаго голова совсѣмъ пошла кругомъ отъ московской жизни. Онъ обѣдалъ въ клубѣ, сблизился тамъ съ Вронскимъ, на котораго до тѣхъ поръ глядѣлъ звѣремъ, пилъ съ нимъ шампанское, проигралъ на билліардѣ 40 рублей и въ концѣ концовъ отправился съ Облонскимъ знакомиться съ Анной Карениной, — и такъ плѣнился ею, что Кити, слушая его восхищенія, какія онъ расточалъ по возвращеніи отъ Анны, не въ шутку подумала, что онъ влюбился въ эту женщину и отъ ревности зарыдала.

Вотъ въ какомъ видѣ представляется передъ нами этотъ культурный герой, возросшій непосредственно на россійской почвѣ. Не правда ли, что-то знакомое, много разъ встрѣчавшееся въ нашей литературѣ напоминаетъ онъ. И даже очень знакомое: вѣдь это все тотъ же нашъ старый пріятель Нехлюдовъ, съ которымъ знакомилъ насъ гр. Л. Толстой въ своей прежней художественной дѣятельности. Это новый варіантъ все того же почти уже отжившаго типа. Вы можетъ быть думали, что типъ этотъ давно уже выродился; нѣтъ, онъ все еще пока существуетъ, но во всякомъ случаѣ часъ его близокъ. Возросшій на почвѣ крѣпостнаго права, онъ не въ состояніи долго бороться съ новыми условіями жизни, и Левинъ является однимъ изъ послѣднихъ его магикановъ. Я убѣжденъ, что самъ онъ, этотъ Левинъ, не въ состояніи долго удержаться

въ томъ видѣ, въ какомъ онъ парадируетъ передъ нами въ романѣ, и непремѣнно переродится со временемъ во что нибудь совсѣмъ иное: или въ Дерунова, или въ Облонскаго. Правда, въ концѣ романа онъ мирится на путаницѣ какихъ то туманныхъ компромисовъ. Послѣ цѣлаго ряда гамлетическихъ разсужденій въ религіозномъ духѣ относительно того, вѣрить ему или не вѣрить и во что вѣрить и какъ вѣрить, послѣ тщетныхъ попытокъ найти отвѣтъ на свои тревожные вопросы у различныхъ философовъ, Левинъ вдругъ натолкнулся на одно банальное изреченіе нѣкоего мужика Ѳедора. «Да, такъ, значитъ — сказалъ этотъ Ѳедоръ: — люди разные; одинъ человѣкъ только для нужды своей живетъ, хоть бы Митюха, только брюхо набиваетъ, — а Ѳоканычъ — правдивый старикъ. Онъ для души живетъ, Бога помнитъ». У Левина отъ этихъ словъ вдругъ произошло просіяніе. Слова эти сразу разрѣшили ему—и что такое Богъ, и что такое вѣра въ Бога, и какъ ему жить въ этой вѣрѣ, и сейчасъ же у него составилась самая успокоительная программа жизни.

«Такъ-же, размышлялъ онъ: буду сердиться на Ивана кучера, также буду спорить, буду некстати высказывать свои мысли, также будетъ стѣна между святая святыхъ моей души и другими, даже женой моей, также буду обвинять ее за свой страхъ и раскаяваться въ этомъ, также буду не понимать разумомъ, зачѣмъ я молюсь, и буду молиться,—но жизнь моя теперь, вся моя жизнь, независимо отъ всего, что можетъ случиться со мной, каждая минута ея—не только не безсмысленна, какъ была прежде, но имѣетъ несомнѣнный смыслъ добра, который я властенъ вложить въ нее!»

Но вы не вѣрьте ни успокоенію Левина, ни его словамъ о томъ, что до сихъ поръ жизнь его была безсмысленна, а теперь она получитъ смыслъ добра, который онъ въ нее вложитъ. Во первыхъ, мы уже видѣли неоднократно, что при каждомъ новомъ оборотѣ мыслей Левину казалось, что вотъ, вотъ начнетъ онъ новую жизнь, исполненную всякихъ благъ, а дѣло всегда кончалось или правдивыми глазками Кити, или бутылками шампанскаго въ клубѣ. А во-вторыхъ самая сила вещей влечетъ Левина по пути, отрицающему всякую возможность того «смысла добра», о которомъ онъ мечтаетъ. Вѣдь вы подумайте, что по собственному сознанію Левина хозяйство

его при всѣхъ усиліяхъ сводится на нѣтъ и даже приноситъ ему убытокъ. А между тѣмъ не разъ — не два придется ему возить въ Москву Кити изъ-за прибавленія новыхъ и новыхъ членовъ семейства, и каждый разъ онъ будетъ вынужденъ тратиться на ливреи, клубные проигрыши и разнаго рода столичныя шалѣнья. Каждое лѣто усадьба его будетъ наполняться столичными гостями. А тамъ начнутъ подростать дѣти, нужно будетъ заботиться о ихъ воспитаніи и пристроиваньи. Для удовлетворенія всѣхъ этихъ нуждъ придется удвоивать, утроивать доходы съ имѣнья. Кто знаетъ, до чего при такихъ условіяхъ дойдетъ дѣло? Можетъ быть не достаточно окажется нанимать рабочихъ какъ можно дешевле и заботиться о томъ, чтобы они дѣлали какъ можно больше; понадобится и кабакъ, и постоялый дворъ окажется не лишнимъ. А не то придется ѣхать въ городъ и подобно Облонскому дежурить въ переднихъ у евреевъ, выклянчивая какого нибудь банковскаго мѣстечка съ кругленькимъ окладомъ. Очень возможно, что именно только тогда Левинъ найдетъ полное душевное успокоеніе отъ всѣхъ тревожащихъ его вопросовъ, хотя много ли будетъ тогда въ жизни его «несомнѣннаго смысла добра»—объ этомъ предоставляю судить читателямъ.

И такъ, вотъ что намъ нарисовалъ художникъ, не правда ли, совершенно вопреки мыслителю и точно будто нарочно ради опроверженія всѣхъ его идей. Излюбленный культурный человѣкъ оказался вдругъ хуже всѣхъ прочихъ дѣйствующихъ лицъ романа, никуда негодною тряпицею, а вмѣсто спасительной почвы представилась нашимъ глазамъ какая-то мутная трясина. На этомъ основаніи я отъ души посовѣтывалъ бы графу Л. Толстому при слѣдующемъ изданіи романа перемѣнить эпиграфъ, а вмѣсто него напечатать тотъ самый, который поставленъ мною въ началѣ статьи. Эпиграфъ этотъ, правда, не будетъ такъ картиненъ и эффектенъ, какъ прежній, но за то гораздо болѣе будетъ подходить ко всѣмъ героямъ романа.

1880 г.

МЫСЛИ и ЗАМѢТКИ

ПО ПОВОДУ НРАВСТВЕННО-ФИЛОСОФСКИХЪ ИДЕЙ

гр. Л. Толстаго.

МЫСЛИ И ЗАМѢТКИ

ПО ПОВОДУ НРАВСТВЕННО-ФИЛОСОФСКИХЪ ИДЕЙ

гр. Л. Толстаго.

I.

ПО ПОВОДУ КНИГИ М. С. ГРОМЕКИ.

„Послѣднія произведенія гр. Л. Н. Толстаго, критическіе эдюды М. С. Громеки; Москва 1885 года“.

I.

Книга эта распадается на двѣ части, отличающіяся одна отъ другой и по содержанію, и по формѣ. Первая часть заключаетъ въ себѣ критическій разборъ романа «Анна Каренина». Во второй—въ діалагической формѣ бесѣды Громеки съ Левинымъ—излагаются философскія воззрѣнія гр. Л. Толстаго послѣдняго времени. Понятно, что главный интересъ книги заключается во второй ея части. Что же касается до первой, то критика «Анны Карениной», представляя нѣсколько хорошихъ мѣстъ въ видѣ характеристикъ разныхъ дѣйствующихъ лицъ, въ цѣломъ стоитъ на ложныхъ основаніяхъ, и мы не можемъ согласиться съ нею.

По нашему мнѣнію, при разборѣ «Анны Карениной», надо строго разграничивать художественную и философскую стороны романа. Въ художественномъ отношеніи онъ представляется безспорно однимъ изъ тѣхъ великихъ произведеній, которыя, подобно трагедіямъ Шекспира, каждый вѣкъ будетъ по своему анализировать, толковать и открывать въ нихъ новыя невидимыя нами стороны и переспективы. Философская же сторона

романа—самая слабая, потому что гр. Толстой находился во время писанія своего произведенія въ переходномъ состояніи, не успѣвши уяснить себѣ многое, что ему удалось уяснить впослѣдствіи. Поэтому во взглядахъ автора, выразившихся въ романѣ, встрѣчается масса противорѣчій и туманныхъ неопредѣленностей, и понятно, что самъ гр. Л. Толстой впослѣдствіи высказывалъ недовольство своимъ романомъ.

Между тѣмъ Громека буквально придерживается туманныхъ воззрѣній романа и при томъ весь свой анализъ основываетъ на эпиграфѣ его: «Мнѣ отмщеніе и Азъ воздамъ», и это придаетъ критикѣ несвойственный ей теологическій характеръ, да къ тому же еще нѣчто ветхозавѣтное, жестокосердое. Громека смѣется надъ дѣйствительнымъ статскимъ совѣтникомъ (стр. 61), который, сіяя звѣздами и яснымъ лицомъ, кроткимъ голосомъ возражалъ ему и говорилъ, что безнравственная, испорченная женщина непремѣнно должна была принять заслуженную казнь, и что казнившій ее художникъ есть «добрый сынъ отечества и благонравный гражданинъ», но вѣдь и самъ онъ строитъ свою критику на тѣхъ же основаніяхъ и только выражается языкомъ болѣе философскимъ, чѣмъ простой и топорный языкъ генерала. Понятно, что какъ ни изощряется критикъ, онъ никакъ не можетъ избавить насъ отъ неотразимаго впечатлѣнія, какое мы выносимъ изъ романа въ связи съ вышеозначеннымъ эпиграфомъ: выходитъ все-таки, что можно ежедневно грѣшить такъ порочно и грязно, какъ грѣшили Стива и княгиня Бетси, и за это не потерпѣть никакого воздаянія; отмщеніе же слѣдуетъ за такой грѣхъ, какой языкъ вашъ не поворачивается и грѣхомъ назвать, — за серьезную страсть двухъ существъ, стремившихся соединиться навѣки. Является здѣсь нѣчто въ родѣ древняго фатума, который изъ зависти боговъ къ смертнымъ обрушивался на людей богато одаренныхъ и сильныхъ, слабымъ же и ничтожнымъ допускалъ творить всякія пакости, сколько душѣ угодно. Въ томъ-то и дѣло, что драма, развиваемая въ романѣ, требуетъ для анализа ея иныхъ, болѣе глубокихъ и сложныхъ воззрѣній, и никакимъ образомъ не объясните вы ея средневѣковой теоріи грознаго и немилосердаго возмездія.

Но фельетонъ мой предназначенъ вовсе не для опроверженія критики М. С. Громеки. Это завело бы насъ далеко и

отвлекло бы отъ главной и наиболѣе интересной цѣли—знакомства съ новыми воззрѣніями гр. Л. Толстаго. Къ этому мы теперь и приступимъ.

II.

Въ жизни какъ отдѣльныхъ людей, такъ и обществъ мы видимъ два рода настроеній: вѣры и скептицизма. Здѣсь я долженъ прежде всего оговориться, что подъ *вѣрою* я разумѣю вовсе не какія-либо религіозныя воззрѣнія, а подъ *скептецизмомъ* отнюдь не отрицаніе религіи, а совсѣмъ иное, нѣчто въ родѣ того, что Тургеновъ подразумѣвалъ подъ *донкихотствомъ* и *гамлетизмомъ*. Ни философія, ни наука до сихъ поръ не открыли намъ конечной цѣли существованія, какъ всего міра, такъ и въ этомъ мірѣ маленькой козявки, называемой человѣкомъ, да и врядъ-ли когда-нибудь умъ человѣческій дойдетъ до открытія этой тайны. Тѣмъ не менѣе бываютъ періоды, когда человѣкъ *вѣритъ*, что все существующее не есть игра безцѣльнаго случая, а неудержимо стремится къ какой-то разумной и благой цѣли. Такая вѣра постоянно совпадаетъ съ вѣрою человѣка въ самого себя, въ то, что жизнь его въ свою очередь исполнена разумнаго и благаго содержанія. Мало того, что обѣ эти вѣры совпадаютъ, но первая зависитъ отъ второй, т. е. человѣкъ до тѣхъ только поръ и вѣритъ въ цѣлесообразность вселенной, пока въ своей личной жизни онъ видитъ разумное и цѣлесообразное содержаніе. Но лишь только въ душу человѣка закрадывается сомнѣніе въ разумности содержанія его личной жизни, онъ тотчасъ же переноситъ свои сомнѣнія и на всю вселенную: ему начинаетъ казаться, что и все существующее не имѣетъ ни смысла, ни цѣли. И вотъ тогда то наступаетъ періодъ скептицизма, характеризующійся въ личной жизни глубокою меланхоліей, пессимизмомъ, разлагающими рефлексіями, наклонностью къ умопомѣшательству, или самоубійству, а въ общественной жизни—появленіемъ такихъ идей и ученій, какія мы встрѣчаемъ въ экклезіастѣ царя Соломона, въ поэмахъ Байрона, въ философскихъ системахъ Шопенгауера и Гартмана и пр.

А такъ какъ главная причина наступленія періода скептицизма заключается прежде всего въ недовольствѣ человѣка содержаніемъ личной или общественной жизни, то и выходъ изъ этого періода возможенъ только въ томъ случаѣ, если человѣкъ наполнитъ жизнь свою новымъ содержаніемъ, въ разумность котораго увѣруетъ. И дѣйствительно, періоды скептицизма постоянно ведутъ за собою выработку новыхъ идеаловъ, новой вѣры. Бываютъ при этомъ попытки возвращенія и къ старымъ вѣрамъ, но всѣ подобныя реставраціи терпятъ *fiasco* по той простой причирѣ, что какъ же убѣдите вы людей снова увѣровать въ то, въ чемъ они разувѣрились, что̀ собственно и привело ихъ въ пропасть скептицизма? Вотъ въ этомъ отношеніи глубокую ошибку дѣлаетъ Громека на 5-й стр. своей книги, ставя въ одинъ уровень Гартмана, Вл. Соловьева и Л. Толстаго, а я знаю людей, которые къ этимъ именамъ пристегиваютъ еще Ѳ. Достоевскаго. Но что общаго между Гартманомъ, этимъ полнымъ олицетвореніемъ пессимизма и скептицизма нашего времени, Вл. Соловьевымъ и Ѳ. Достоевскимъ съ ихъ безплодными попытками въ реставраціонномъ духѣ, и гр. Л. Толстымъ, стремящимся къ единственному возможному и разумному выходу изъ скептицизма,—къ пополненію своей жизни новымъ содержаніемъ, новою вѣрою?

III.

Сущность новой вѣры гр. Л. Толстаго заключается отнюдь не въ одномъ лишь измѣненіи какихъ-бы то ни было теоретическихъ умовоззрѣній, а въ стремленіи измѣнить самое содержаніе жизни, весь ея складъ, такъ какъ и скептицизмъ, къ которому пришелъ гр. Л. Толстой, заключался главнымъ образомъ въ сознаніи пустоты содержанія его жизни.

Такъ, мы видимъ, что воспитался онъ на почвѣ старыхъ и отживающихъ основъ обособленности и нравственной распущенности личности, предоставленной самой себѣ на жертву дарвиновской теоріи борьбы за существованіе и безграничной, эгоистической конкурренціи съ ихъ богомъ — «богомъ силы, насилія, казней, убійства, мести, съ ихъ ангелами—властью, оружіемъ, умомъ, красотою, талантомъ, обманомъ». Эти начала

имѣютъ свою вѣру—въ совершенствованіе, въ прогрессъ, причемъ предполагается, что это совершенствованіе для каждой личности имѣетъ одну существенную цѣль: возвыситься надъ всѣми другими личностями и покорить ихъ своей власти. Въ духѣ этой вѣры былъ воспитанъ и гр. Л. Толстой.

«Я старался,—говоритъ онъ (стр. 161),—совершенствовать свою волю, составлялъ себѣ правила, которымъ старался слѣдовать. Совершенствовалъ себя физически, всякими упражненіями, изощряя силу и ловкость и всякими лишеніями пріучая себя къ выносливости и терпѣнію. И все это я считалъ совершенствомъ въ примѣненіи къ себѣ. Началомъ всего было, разумѣется, нравственное самосовершенствованіе; но скоро оно подмѣнилось желаніемъ быть лучше не передъ самимъ собою или передъ Богомъ, а желаніемъ быть лучше передъ другими людьми. И очень скоро это стремленіе быть лучше передъ людьми подмѣнилось желаніемъ быть сильнѣе другихъ. Гадко вспомнить даже объ этомъ. Честолюбіе, властолюбіе, корыстолюбіе, любострастіе, гордость, гнѣвъ, месть—всѣ эти проявленія индивидуальной силы уважались людьми, и я, проявляя эти отвратительныя страсти, становился похожъ на другихъ взрослыхъ людей и этимъ вызывалъ въ нихъ одобреніе».

Въ самомъ своемъ поэтическомъ творчествѣ гр. Л. Толстой усматриваетъ все тѣ же ветхія начала: «побужденіе къ творчеству,—говоритъ онъ (стр. 163),—было у меня, дѣйствительно искреннее. Но я желалъ также и славы. И нѣтъ сомнѣнія, что желаніе авторской славы есть желаніе суетное. Значитъ, я тоже писалъ изъ тщеславія, или по крайней мѣрѣ, примѣшивалъ къ своему писанію это жалкое побужденіе. Потомъ, развѣ я былъ равнодушенъ къ тѣмъ огромнымъ деньгамъ, которыя мнѣ платили за то только, что я, слѣдуя своему же побужденію, писалъ безъ всякаго почти напряженія повѣстушки разныя и романцы? Я даже торговался: я не только поправилъ, но я увеличилъ свое состояніе на эти деньги. И, значитъ, я былъ не чуждъ въ этомъ дѣлѣ и корыстолюбія. Гордость,—ея тутъ всего болѣе было,—гордость силы, которой я долго не зналъ, къ чему примѣнить, которой ничтожество и глупость долго не признавали и тѣмъ раздражали меня, гордость—мой первый грѣхъ, съ которымъ я долго, очень долго упорно боролся. Я часто боюсь, не было-ли гордости въ томъ, что я открыто

передъ всѣми приносилъ въ ней покаяніе. Какъ въ жизни, слѣдуя по теченію, я, какъ и большинство, покланялся силѣ и красотѣ силы, такъ и въ произведеніяхъ своихъ я больше всего воспѣвалъ всѣ красивыя проявленія индивидуальной силы. И еще говорилъ, и еще хвастался, что люблю правду. А на дѣлѣ я любилъ только силу, и когда находилъ ее безъ примѣси притворства и ничтожества, то принималъ за правду, когда въ дѣйствительности это было только силой—силой въ чистомъ, безпримѣсномъ ея состояніи»...

IV.

«Мнѣ было 26 лѣтъ, — говоритъ далѣе гр. Л. Толстой (стр. 164)—когда я пріѣхалъ послѣ войны въ Петербургъ и сошелся съ писателями. Меня приняли, какъ своего, льстили мнѣ даже. И не успѣлъ я оглянуться, какъ сословные писательскіе взгляды на жизнь усвоились мною и уже совершенно изгладили во мнѣ всѣ мои прежнія попытки сдѣлаться лучше. Взгляды эти подъ распущенность моей жизни подставили те орію, которая ее оправдывала. Теорія утверждала, что жизнь вообще идетъ развиваясь, и что въ этомъ развитіи главное участіе принимаемъ мы, люди мысли, а изъ людей мысли главное вліяніе имѣемъ мы — художники, поэты. Наше призваніе — учить людей, не зная чему: художникъ, де, и поэтъ учатъ безсознательно. Я считался чудеснымъ художникомъ и поэтомъ, и потому, мнѣ очень естественно было усвоить эту теорію. И вотъ я, художникъ, поэтъ, писалъ и училъ, самъ не зная чему. Мнѣ за это платили деньги, у меня былъ прекрасный столъ, квартира, женщины, общество; у меня была слава: значитъ, то, чему я училъ, было очень хорошо».

Но вотъ на второй и особенно на третій годъ такой жизни гр. Л. Толстой сталъ сомнѣваться въ непогрѣшимости этой вѣры и сталъ ее изслѣдовать. Первымъ поводомъ къ сомнѣнію было то, что жрецы этой вѣры не всѣ были согласны между собою: они спорили, ссорились, бранились, обманывали, плутовали другъ противъ друга. Много было между ними и не заботящихся о томъ, кто правъ, кто неправъ, а просто достигающихъ своихъ корыстныхъ цѣлей съ помощью писательской

дѣятельности. «Все это,—говоритъ Л. Толстой (стр. 165),—заставило меня усомниться въ истинности самой нашей писательской вѣры. Усомнившись въ ней, я сталъ внимательнѣе наблюдать жрецовъ ея и убѣдился, что почти всѣ жрецы эти, писатели, были люди безнравственные и въ большинствѣ—люди плохіе, ничтожные по характерамъ, много ниже тѣхъ людей, которыхъ я встрѣчалъ въ моей прежней разгульной и веселой жизни, но самоувѣренные и совершенно довольные собою. Люди мнѣ опротивѣли, и самъ я себѣ опротивѣлъ».

Но разувѣрившись въ средѣ и въ самомъ собѣ, гр. Л. Толстой все-таки продолжалъ еще сохранять вѣру въ прогрессъ, и вѣру эту еще болѣе поддерживало путешествіе за границу, сближеніе съ передовыми и учеными европейскими людьми. «Только изрѣдка, говоритъ онъ (стр. 166)—не разумъ, а чувство возмущалось противъ этого общаго въ наше время суевѣрія, которымъ люди заслоняютъ отъ себя свое непониманіе жизни. Но это были только рѣдкіе случаи сомнѣній; въ сущности же я жилъ, продолжая исповѣдывать только вѣру въ прогрессъ...» «Все развивается, и я тоже развиваюсь, а зачѣмъ это я развиваюсь вмѣстѣ со всѣми—это видно будетъ. Такъ бы я долженъ былъ тогда формулировать свою вѣру»...

Вернувшись изъ-за границы, гр. Л. Толстой поселился въ деревнѣ и напалъ на занятіе крестьянскими школами. «Здѣсь,—говоритъ онъ (стр. 166),—я тоже дѣйствовалъ во имя прогресса. Но я уже относился критически къ самому прогрессу. Я говорилъ себѣ, что прогрессъ въ нѣкоторыхъ явленіяхъ своихъ совершался неправильно, и что вотъ надо отнестись къ первобытнымъ людямъ, крестьянскимъ дѣтямъ, совершенно свободно, предлагая имъ избрать тотъ путь прогресса, который они захотятъ... Инстинктъ говорилъ мнѣ вѣрно: дѣти, мужики лучше насъ, ученыхъ людей, знали смыслъ жизни, чему нужно учить людей. Но глупость моя и виляніе мое въ томъ и заключается, что я, все это чувствуя въ глубинѣ души своей, вмѣсто того, чтобы идти у нихъ учиться, я самъ, ничего не зная, и зная, что ничего не знаю, на ходули становился, чтобы исполнить свою похоть учительства, за границу ѣздилъ школы тамъ изучать, посредникомъ сдѣлался мировымъ, школу завелъ и журналъ, и важничалъ, и оскорблялся, и

всѣхъ училъ, не зная, чему я учу, не зная того, чему нужно учить...»

«Снаружи все гладко выходило, какъ будто, но въ душѣ я чувствовалъ, что я не совсѣмъ умственно здоровъ. Я заболѣлъ болѣе духовно, чѣмъ физически, бросилъ все и поѣхалъ въ степь къ башкирамъ—дышать воздухомъ, пить кумысъ и жить животною жизнью... Вернувшись отъ башкиръ, я женился. Новыя, счастливыя условія семейной жизни уже совершенно отвлекли меня отъ всякаго исканія общаго смысла жизни. Вся жизнь моя сосредоточилась за это время въ семьѣ, въ женѣ, въ дѣтяхъ, и потому въ заботахъ объ увеличеніи средствъ жизни. Стремленіе къ усовершенствованію, къ прогрессу теперь подмѣнилось стремленіемъ къ тому, чтобы мнѣ съ семьей было какъ можно лучше. Такъ прошло еще пятнадцать лѣтъ. Несмотря на то, что я считалъ писательство пустяками, тогда я, все-таки, продолжалъ писать. Я вкусилъ уже отъ соблазна писательства, соблазна огромнаго денежнаго вознагражденія и рукоплесканій за ничтожный трудъ, и предавался ему, какъ средству къ улучшенію своего матеріальнаго положенія и заглушеній въ душѣ всякихъ вопросовъ о смыслѣ жизни моей и общей...»

V.

Но вотъ въ жизни гр. Л. Толстаго начало случаться что-то очень странное: на него стали находить минуты недоумѣнія, остановки жизни, какъ будто онъ не зналъ, какъ ему жить, что дѣлать, терялся и впадалъ въ уныніе. Чаще и чаще стали повторяться вопросы: зачѣмъ?.. ну а потомъ? настоятельнѣе и настоятельнѣе требовались отвѣты и, какъ точки, падая все на одно мѣсто, сплотились въ одно черное пятно. «Я нашелъ,—говоритъ Л. Толстой (стр. 169),—что это не случайное недомоганіе, а что-то очень важное; и что если повторяются все тѣ же вопросы, то надо и отвѣтить на нихъ. Но только-что я тронулъ ихъ и попытался разрѣшить эти казавшіеся мнѣ дѣтскими и простыми вопросы, я тотчасъ же убѣдился, что эти вопросы—самые глубокіе и важные въ жизни вопросы, и

что сколько бы я ни думалъ, я не могу разрѣшить ихъ. Прежде чѣмъ заняться самарскимъ имѣніемъ, воспитаніемъ сына, писаніемъ, надо знать, зачѣмъ я это буду дѣлать. Пока я не знаю—зачѣмъ, я не могу ничего дѣлать. Ну, хорошо, у тебя будетъ 6 тыс. дес., 300 головъ лошадей, а *потомъ*?... И я совершенно опѣшивалъ и не зналъ, что думать дальше. Или, начиная думать о томъ, какъ я воспитываю дѣтей, я говорилъ себѣ: *зачѣмъ*? Или, разсуждая о томъ, какъ народъ можетъ достигнуть благосостоянія, я вдругъ говорилъ себѣ: а мнѣ что за дѣло? Или, думая о славѣ, которую пріобрѣтутъ мои сочиненія, я говорилъ себѣ: «Ну, хорошо, ты будешь славнѣе Гоголя, Пушкина, Шекспира, Мольера, всѣхъ писателей въ мірѣ,—*ну и что-жъ*? И я ничего не могъ отвѣтить».

И вотъ такимъ образомъ наступилъ для гр. Л. Толстого періодъ мрачнаго скептицизма, разочарованія въ себѣ, въ людяхъ, во всемъ существующемъ. Напрасно онъ обращался къ философіи, къ наукѣ, ища разъясненія смысла жизни,—философія давала ему одни мертвыя, искусственно-логическія умопостроенія, въ которыхъ умъ человѣческій вертѣлся, какъ бѣлка въ колесѣ, тщетно отыскивая начала всѣхъ началъ; наука внушала одни относительныя знанія и прямо заявляла, что за предѣлами ихъ она ни на что отвѣтить не въ состояніи. Дошло дѣло до мысли о самоубійствѣ, какъ единственномъ избавленіи отъ безмысленной и безцѣльной жизни. Мы не будемъ много распространяться объ этомъ періодѣ скептицизма, такъ какъ самъ по себѣ онъ представляетъ мало интереснаго; всѣ подобныя гамлетовскія настроенія человѣческаго духа слишкомъ однообразны и похожи одинъ на другой всѣми своими симптомами, различаясь лишь сообразно темпераментамъ, возрастамъ, умственнымъ силамъ и развитію тѣхъ или другихъ людей. Обратимъ лучше вниманіе на тотъ выходъ изъ скептицизма, къ которому въ концѣ концовъ пришелъ гр. Л. Толстой.

VI.

Послѣ тщетныхъ поисковъ разъясненія смысла жизни въ книгахъ, гр. Л. Толстой обратился непосредственно къ самой жизни, началъ приглядываться къ людямъ и притомъ не къ

однимъ избраннымъ людямъ его круга, а къ массамъ всякаго народа, и тутъ только впервые созналъ онъ ту крайнюю замкнутость, въ которой до той поры онъ жилъ. «Я зналъ,— говоритъ онъ (стр. 179),—только тотъ тѣсный кружокъ ученыхъ, богатыхъ и досужихъ людей, къ которому я принадлежалъ, и думалъ, что онъ и составляетъ все человѣчество, и что тѣ милліарды живущихъ и живыхъ—это *такъ*, какіе-то скоты, не люди. Какъ ни странно, неимовѣрно непонятно кажется мнѣ теперь то, что я могъ до такой степени нелѣпо заблуждаться, чтобы думать, что жизнь моя—жизнь Соломоновъ и Шопенгауеровъ, есть настоящая, нормальная жизнь, а жизнь милліардовъ—есть не стоющее вниманія обстоятельство,—какъ ни странно это мнѣ теперь, я вижу, что это было такъ... Я долго жилъ въ этомъ сумасшествіи, свойственномъ именно самымъ либеральнымъ и ученымъ людямъ. Но, благодаря какой-то странной физической любви къ настоящему рабочему народу, заставившей меня понять его и увидать, что онъ не такъ глупъ, какъ мы думаемъ, или благодаря искренности моего убѣжденія въ томъ, что лучшее, что я могу сдѣлать—это повѣситься,—я чуялъ, что если я хочу жить и понимать смыслъ жизни, то *искать этого смысла жизни мнѣ надо не у тѣхъ, которые потеряли смыслъ жизни и хотятъ убить себя, а у тѣхъ милліардовъ отжившихъ и живущихъ людей, которые дѣлаютъ и на себѣ несутъ свою и нашу жизнь*».

Люди, которые *дѣлаютъ жизнь*, которые *на себѣ несутъ свою и нашу жизнь*,—какія это великія слова!.. Вотъ гдѣ въ концѣ концовъ, оказалось, таится весь смыслъ жизни, вотъ гдѣ источникъ всяческой *вѣры*,—вѣры съ самого себя, въ человѣчество вообще и во всю вселенную!.. «Не найдя,—говоритъ гр. Л. Толстой (стр. 196),—удовлетворенія въ вѣрѣ людей моего круга, я сталъ сближаться съ вѣрующими изъ бѣдныхъ, простыхъ, неученыхъ людей, со странниками, монахами, раскольниками, мужиками. Вѣроученіе этихъ людей изъ народа было тоже христіанское, какъ вѣроученіе мнимо вѣрующихъ изъ нашего круга. Но многое въ жизни вѣрующихъ нашего круга было противорѣчіемъ ихъ вѣрѣ, и вся жизнь людей вѣрующихъ и трудящихся была подтвержденіемъ того смысла жизни, который давало знаніе вѣры. И я сталъ вглядываться въ жизнь и вѣрованіе этихъ людей, и чѣмъ болѣе вглядывался,

тѣмъ больше убѣждался, что у нихъ была настоящая вѣра, что вѣра ихъ необходима для нихъ и одна даетъ имъ смыслъ и возможность жизни. Въ противуположность тому, что люди нашего круга противились и негодовали на судьбу за лишенія и страданія, эти люди принимали болѣзни и горести безъ всякаго недоумѣнія и противленія, и съ спокойною и твердою увѣренностью въ томъ, что все это должно быть и не можетъ быть иначе, что все это—добро. Въ противуположность тому, что чѣмъ мы умнѣе, тѣмъ менѣе понимаемъ смыслъ жизни и видимъ какую-то злую насмѣшку въ томъ, что мы страдаемъ и умираемъ, эти люди живутъ, страдаютъ и приближаются къ смерти съ спокойствіемъ, чаще же всего съ радостью. И я оглянулся тоже вокругъ себя. Я вглядѣлся въ жизнь прошедшихъ и современныхъ огромныхъ массъ людей. И я увидалъ такихъ понявшихъ смыслъ жизни, умѣющихъ умирать — не двухъ, трехъ, десять, а сотни, тысячи, милліоны. И всѣ они, безконечно различные по своему нраву, уму, образованію, положенію, всѣ одинаково и совершенно противуположно моему невѣдѣнію знали смыслъ жизни и смерти, спокойно трудились, переносили лишенія и страданія, жили и умирали, видя въ этомъ не суету, а добро. И я полюбилъ этихъ людей... И чѣмъ больше я вникалъ въ ихъ жизнь, тѣмъ больше я любилъ ихъ и тѣмъ легче мнѣ самому становилось жить. Я жилъ такъ два года и со мной случился переворотъ, который давно готовился во мнѣ, и зачатки котораго всегда во мнѣ были. Жизнь нашего круга не только опротивѣла мнѣ, но потеряла всякій смыслъ. Всѣ наши дѣйствія, разсужденія, науки и искусство—все это представилось мнѣ однимъ баловствомъ. Я понялъ, что искать смысла жизни въ этомъ нельзя. Дѣйствія-же трудящагося народа, творящаго жизнь, представились мнѣ единымъ настоящимъ дѣломъ. И я понялъ, что смыслъ, придаваемый этой жизни, есть истина, и принялъ его... Я понялъ (стр. 199), что для того, чтобы понять смыслъ жизни и увидать въ ней добро, надо прежде всего, чтобы твоя собственная жизнь была не безсмысленна и зла, а потомъ уже разумъ, чтобы назвать свое пониманіе словомъ. Если думаешь и говоришь о жизни человѣческой, то надо говорить и думать о жизни всего человѣчества, а не о жизни нѣсколькихъ паразитовъ жизни. Возненавидѣть себя, забывать о себѣ, не думать

о себѣ, любить другихъ,—это одно средство, «чтобы жить и понимать жизнь, любить ее и считать добромъ... Птица существуетъ такъ, что она должна летать, собирать пищу, строить гнѣздо, и когда я вижу, что птица дѣлаетъ это, я радуюсь ея радостью. Коза, заяцъ, волкъ существуютъ такъ, что они должны кормиться, множиться, кормить свои семьи, и когда они дѣлаютъ это, у меня есть твердое сознаніе, что они счастливы и жизнь ихъ разумна. И человѣкъ точно также долженъ добывать жизнь, какъ и животныя, съ тою огромною разницею, что онъ погибнетъ, добывая ее одинъ; онъ долженъ добывать ее не для себя, а для всѣхъ. И когда онъ дѣлаетъ это, у меня есть твердое сознаніе, что онъ счастливъ и жизнь его разумна. Если смыслъ человѣческой жизни въ томъ, чтобы добывать ее, то какъ-же я, проживъ паразитомъ тридцать лѣтъ сознательной жизни, могъ получить другой отвѣтъ, какъ тотъ, что жизнь моя есть безсмыслица и зло? Она была безсмыслица и зло...»

Я полагаю, что изъ всего выше приведеннаго вполнѣ ясно для каждаго непредубѣжденнаго человѣка, что разумѣетъ гр. Л. Толстой подъ выходомъ своимъ изъ періода скептицизма и тѣмъ переворотомъ, какой онъ пережилъ. Здѣсь прямо и безъ всякихъ обиняковъ вѣра становится въ полную зависимость отъ жизни, и говорится не о томъ, какъ мыслитель, а какъ жить, чтобы жизнь не казалась безсмыслицею и зломъ, и въ примѣръ ставятся тѣ милліарды народа, которые дѣлаютъ жизнь и отсюда почерпаютъ всю свою вѣру. Между тѣмъ Громека клонитъ къ тому болѣе, что весь переворотъ гр. Л. Толстого заключается будто бы въ томъ, что онъ отвергъ разсудочный путь мышленія, и обратился къ наивному вѣрованію народа, и такимъ образомъ переворотъ ставится на чисто умственную почву.—Но въ такомъ случаѣ, чѣмъ же отличается гр. Л. Толстой отъ тѣхъ людей своего круга, которые вѣруютъ такъ, а живутъ иначе, и къ чему-же сводится переворотъ гр. Л. Толстого, какъ не къ тѣмъ же безъисходнымъ противорѣчіямъ, которыя въ прежнее время довели его чуть не до самоубійства?

1885 г.

II.

Графъ Л. Толстой въ своихъ статьяхъ „Изъ воспоминаній о переписи".

I.

Въ сентябрской и октябрской книжкахъ «Русскаго Богатства» 1885 г. обращаютъ на себя вниманіе статьи гр. Толстого «Изъ воспоминаній о переписи». Статьи эти любопытны въ двухъ отношеніяхъ. Онѣ представляютъ въ себѣ нѣсколько не лишенныхъ интереса наблюденій надъ нравами московской «Ржановской крѣпости», играющей такую-же роль въ Москвѣ, какъ дома кн. Вяземскаго въ Петербургѣ, и, кромѣ того, служатъ къ немалому разъясненію того нравственнаго переворота, который переживаетъ гр. Л. Толстой.

Прежде всего надо разъяснить, что гр. Л. Толстой, нѣсколько лѣтъ тому назадъ, принялъ участіе въ однодневной переписи жителей Москвы—не спроста, не ради одного только артистическаго желанія изучать нравы московскихъ трущобъ, а съ особеннаго рода нравственною цѣлью. Передъ тѣмъ онъ составилъ филантропическій кружокъ изъ нѣсколькихъ очень богатыхъ лицъ въ Москвѣ, обѣщавшихъ содѣйствовать въ оказываніи помощи бѣднымъ, и отправился вмѣстѣ со студентами, занимавшимися переписью, въ ржановскую крѣпость со спеціальною цѣлью облагодѣтельствовать обитателей этой трущобы нравственно и матеріально.

И вотъ, при первомъ-же вступленіи въ ржановскую крѣпость графъ обнаружилъ наивность поразительную для такого геніальнаго художника, какимъ онъ извѣстенъ намъ, хотя въ то-же время и весьма понятную для человѣка, у котораго большая часть жизни протекла въ уровнѣ бель-этажей и которому никогда прежде не приходилось ни спускаться этажемъ ниже, ни подыматься на этажъ вверхъ. Представьте себѣ, онъ воображалъ, что обитатели ржановской крѣпости всѣ подрядъ только и дѣлаютъ, что, словно какія-то тѣни дантова ада, бродятъ въ страшныхъ рубищахъ и въ мукахъ голода и хо-

лода, ежеминутно стонутъ, простирая длани и взывая о помощи къ безчувственному человѣчеству.

И судите объ удивленіи графа, когда оказалось вдругъ, что они, какъ и всѣ смертные, горюютъ и радуются, скучаютъ и веселятся, ссорятся и мирятся и не чужды даже амурныхъ развлеченій. Такъ, едва графъ вошелъ во дворъ ржановской крѣпости, какъ онъ услыхалъ налѣво, наверху, на деревянной галлереѣ, топотъ шаговъ идущихъ людей, сначала по доскамъ галлереи, а потомъ по ступенямъ лѣстницы. Прежде выбѣжала худая женщина съ засученными рукавами, въ слинявшемъ розовомъ платьѣ и ботинкахъ на босу ногу. Вслѣдъ за ней выбѣжалъ лохматый мужчина, въ красной рубахѣ и очень широкихъ, какъ юбка, портахъ, въ галошахъ. Мужчина подъ лѣстницей схватилъ женщину. «Не уйдешь», — проговорилъ онъ, смѣясь.—«Вишь, косоглазый чортъ»,—начала женщина, очевидно, польщенная этимъ преслѣдованіемъ, но увидѣла графа и злобно крикнула: «Кого надо?» Такъ какъ графу никого не надо было, то онъ смутился и ушелъ...

И тотчасъ-же послѣдовало наивнѣйшее открытіе: «Я,—говоритъ гр. Толстой, — понялъ тутъ въ первый разъ, что у всѣхъ тѣхъ несчастныхъ, которыхъ я хотѣлъ благодѣтельствовать, кромѣ того времени, когда они, страдая отъ холода и голода, ждутъ впуска въ домъ, есть еще время, которое они на что нибудь да употребляютъ, есть еще 24 часа каждыя сутки, есть еще и цѣлая жизнь, о которой я прежде не думалъ. *Я понялъ здѣсь въ первый разъ (!), что всѣ эти люди, кромѣ желанія укрыться отъ холода и насытиться, должны еще жить какъ нибудь тѣ двадцать четыре часа, каждыя сутки, которыя имъ приходится прожить такъ-же, какъ и всякимъ другимъ. Я понялъ, что люди эти должны и сердиться, и скучать, и храбриться, и тосковать, и веселиться.* Я, какъ ни странно это сказать, въ первый разъ ясно понялъ, что дѣло, которое я затѣвалъ, не можетъ состоять въ томъ только, чтобы накормить и загнать подъ крышу 1,000 барановъ, а должно состоять въ томъ, чтобы сдѣлать доброе людямъ. И когда я понялъ, что каждый изъ этихъ тысячи людей такой-же точно человѣкъ, съ такимъ-же прошедшимъ, съ такими-же страстями, соблазнами, заблужденіями, съ такими-же мыслями, такими-же вопросами, такой-же человѣкъ, какъ и я, то за-

тѣянное мною дѣло вдругъ представилось мнѣ такъ трудно, что я почувствовалъ свое безсиліе; но дѣло было начато, и я продолжалъ его...»

Однимъ словомъ, остается только диву даться при мысли о томъ, что гр. Толстому, съ такою геніальностью проникшему въ тайники сердецъ Анны Карениной и Вронскаго, не приходило никогда до сихъ поръ въ голову такихъ элементарныхъ вещей, что на каждой улицѣ существуетъ по одному или по нѣсколько кабаковъ, что въ праздники бѣдные люди ходятъ пошатываясь по улицамъ съ гармониками, а дома пьютъ чай, играютъ въ орлянку и т. п. Понятно, что жизнь, доходившая до такой изолированности и исключительности, должна была разразиться какимъ-нибудь тяжелымъ нравственнымъ кризисомъ при одномъ открытіи, столь удивительномъ, что, представьте себѣ, въ самомъ дѣлѣ,—24 часа существуютъ не для однихъ обитателей бель-этажей, а и для всѣхъ прочихъ смертныхъ!

II.

Но вотъ гр. Л. Толстой вошелъ въ предѣлы ржановской крѣпости и вынесъ онъ изъ всѣхъ своихъ наблюденій такой выводъ, что жители этихъ трущобъ раздѣляются на два разряда: одни люди, дѣйствительно, безпомощные, но помогать имъ рѣшительно не стоитъ, потому что, сколько имъ ни помогай, никакого толку изъ этого не выйдетъ, и они останутся въ столь-же безпомощномъ положеніи, въ какомъ находились и прежде; другіе-же ни въ какой помощи не нуждаются, потому что, по своему, живутъ припѣваючи безъ всякихъ благодѣтелей.

Къ первому разряду принадлежатъ всѣ люди, не пріученные и не способные ни къ какому труду и привыкшіе снискивать пропитаніе какимъ-нибудь легкимъ и дешевымъ способомъ.—Таковы оказались всѣ обитатели ржановскаго дома изъ дворянъ. Тамъ была даже квартира, сплошь занятая дворянами; ихъ тамъ было человѣкъ сорокъ. «Болѣе падшихъ, говоритъ гр. Л. Толотой, несчастныхъ и старыхъ, обрюзглыхъ, и молодыхъ блѣдныхъ, растерянныхъ лицъ не было во всемъ

домѣ. Я поговорилъ съ нѣкоторыми изъ нихъ. Почти все одна и та же исторія, только въ разныхъ степеняхъ развитія. Каждый изъ нихъ былъ богатъ, или отецъ, или братъ, или дядя его были или теперь еще богаты; или отецъ его, или самъ онъ имѣли прекрасное мѣсто. Потомъ случилось несчастіе, въ которомъ виноваты или завистники, или собственная доброта, или особенный случай, и вотъ, онъ потерялъ все и долженъ погибать въ несвойственной, ненавистной ему обстановкѣ— во вшахъ, оборванный, съ пьяницами и развратниками, питаясь печенкой и хлѣбомъ и протягивая руку. Всѣ мысли, желанія, воспоминанія этихъ людей обращены только къ прошедшему. Настоящее представляется имъ чѣмъ-то неестественнымъ, отвратительнымъ и не заслуживающимъ вниманія. У каждаго изъ нихъ нѣтъ настоящаго. Есть только воспоминанія прошедшаго и ожиданія будущаго, которыя могутъ всякую минуту осуществиться, и для осуществленія которыхъ нужно очень малаго, но этого-то малаго и нѣтъ, негдѣ взять, и вотъ погибаетъ напрасно жизнь у одного первый годъ, у другого пятый, у третьяго тридцатый... Они всѣ говорятъ, что имъ нужно только что-то внѣшнее для того, чтобы снова стать въ то положеніе, которое они считаютъ для себя естественнымъ и счастливымъ»...

«Еслибъ я не былъ,—продолжаетъ гр. Л. Толстой,—отуманенъ своею гордостью добродѣтели, мнѣ стоило-бы только немножко вглядѣться въ ихъ молодыя и старыя, большею частію, слабыя, чувственныя, но добрыя лица, чтобы понять, что несчастныхъ не поправишь внѣшними средствами, что они ни въ какомъ положеніи не могутъ быть счастливы, если взглядъ ихъ на жизнь останется тотъ-же,—что они не какіе нибудь особенные люди, въ особенно несчастныхъ условіяхъ, а они тѣ самые люди, которыми мы окружены со всѣхъ сторонъ, какіе мы сами. Я понялъ, что разница только въ степени и времени... Хоть этимъ я забѣгаю и впередъ, но скажу здѣсь, что изо всѣхъ этихъ людей, которыхъ я записалъ, я дѣйствительно не помогъ никому, несмотря на то, что для нѣкоторыхъ изъ нихъ было сдѣлано то, чего они желали, и то, что, казалось, могло-бы поднять ихъ»...

III.

Къ этому-же разряду относились и проститутки. Гр. Л. Толстому стоило поговорить съ двумя-тремя изъ нихъ, чтобы убѣдиться, что оказать имъ дѣйствительную, а не фиктивную помощь, вывести ихъ изъ ихъ ужаснаго положенія не было никакой возможности. Здѣсь авторъ сдѣлалъ нѣсколько сближеній между проститутками и дамами бомонда, поражающихъ своею глубиною и неожиданностью. Такъ, одной изъ проститутокъ онъ предложилъ найти мѣсто кухарки.

— Кухарки? да я не умѣю хлѣбы-то печь,—сказала она и засмѣялась. «Она сказала, что не умѣетъ, продолжаетъ гр. Л. Толстой, но я видѣлъ по выраженію ея лица, что она не хочетъ быть кухаркой, что она считаетъ положеніе и званіе кухарки низкими. Женщина эта, самымъ простымъ образомъ пожертвовавшая, какъ евангельская вдова, всѣмъ, что у ней было для больной, вмѣстѣ съ тѣмъ такъ же, какъ и другія ея товарки, считаетъ положеніе рабочаго человѣка низкимъ и достойнымъ презрѣнія. Она воспиталась такъ, чтобы жить не работая, а той жизнью, которая считается для нея естественной ея окружающими. Въ этомъ ея несчастіе. И этимъ несчастіемъ она попала и удерживается въ этомъ положеніи. Это привело ее къ необходимости сидѣть въ трактирѣ. Кто-же изъ насъ—мужчинъ или женщинъ—будетъ исправлять ее отъ ея ложнаго взгляда на жизнь? Гдѣ среди насъ тѣ люди, которые убѣждены въ томъ, что всякая трудовая жизнь уважительнѣе праздной,—убѣждены въ этомъ, и живутъ сообразно этому убѣжденію, и сообразно этому убѣжденію, цѣнятъ и уважаютъ людей? Если бы я подумалъ объ этомъ, я бы могъ понять, что ни я и никто изъ тѣхъ, кого я знаю, не можетъ лѣчить отъ этой болѣзни».

Показали автору на другую проститутку, торгующую своею 13-лѣтнею дочерью. Но и здѣсь онъ пришелъ къ тому же сознанію невозможности спасти ни мать, ни дочь. «Отнять,—говоритъ онъ:—насильно можно эту дочь отъ матери; но убѣдить мать, что она дѣлаетъ дурное, продавая свою дочь, нельзя.

Если ужъ спасать, то спасать надо было эту женщину-мать гораздо прежде, спасать отъ того взгляда на жизнь, одобряемаго всѣми, при которомъ женщина можетъ жить безъ брака, т. е. безъ рожденія дѣтей и безъ работы, служа только удовлетворенію чувственности. Если бы я подумалъ объ этомъ, то я бы понялъ, что большинство тѣхъ дамъ, которыхъ я хотѣлъ прислать сюда для спасенія этой дѣвочки, не только сами живутъ безъ рожденія дѣтей и безъ работы, служа только удовлетворенію чувственности, но и сознательно воспитываетъ своихъ дѣвочекъ для этой самой жизни: одна мать ведетъ дочь въ трактиръ, другая на балы. Но у той и у другой матери міросозерцаніе одно и то-же, и именно, что женщина должна удовлетворять похоть мужчины, и за то ее должны кормить, одѣвать и жалѣть. Такъ какъ же наши дамы будутъ исправлять эту женщину и ея дочь?...»

Точно къ такому-же безотрадному выводу привели автора и дѣти-сироты ржановской крѣпости, не пріучаемыя ни къ какому труду, и которыхъ ждетъ страшная будущность. Одного изъ такихъ дѣтей, 12-ти-лѣтняго мальчика Сережу, оставшагося безъ пріюта, потому что хозяинъ его попалъ въ острогъ, гр. Л. Толстой взялъ къ себѣ въ домъ и помѣстилъ на кухнѣ. «Нельзя-же, говоритъ онъ: было вшиваго мальчика изъ вертепа разврата взять къ своимъ дѣтямъ? Я и за то, что онъ стѣснялъ—не меня, а нашу прислугу на кухнѣ,—и за то, что кормилъ его тоже не я, а наша кухарка, и за то, что я отдалъ ему какіе-то обноски надѣть, считалъ себя очень добрымъ и хорошимъ»... Мальчикъ пробылъ недѣлю въ графской кухнѣ, и когда гостившій у автора мужикъ сталъ звать его въ деревню, въ работники, въ семью, онъ отказался и исчезъ. И затѣмъ оказалось, что онъ на Прѣсненскихъ прудахъ нанялся по 30 коп. въ день въ процессію какихъ-то дикарей въ костюмахъ, водившихъ слона. «Если-бы я вдумался тогда въ жизнь этого мальчика,—говоритъ авторъ:—и въ свою, я-бы понялъ, что мальчикъ испорченъ тѣмъ, что онъ узналъ возможность веселой жизни безъ труда, что отвыкъ работать. А я, чтобы облагодѣтельствовать и исправить его, взялъ его въ свой домъ, гдѣ онъ видѣлъ... что-же? Моихъ дѣтей—и старше его, и моложе, и ровесниковъ,—которыя никогда ничего для себя не только не работали, но своими средствами

доставляли работу другимъ. Онъ и понялъ это, и не пошелъ къ мужику убирать скотину и ѣсть съ нимъ картошки съ квасомъ, а ушелъ въ Зоологическій садъ, въ костюмѣ дикаго водить слона за 30 копѣекъ»...

IV.

Итакъ, для перваго разряда обитателей ржановской крѣпости, усилія гр. Л. Толстаго облагодѣтельствовать родъ человѣческій потерпѣли полное fiasco; хотя руки тутъ такъ со всѣхъ сторонъ и протягивались, довольствуясь хоть мѣдными пятаками, но изъ раздачи безъ всякаго разбора не пятаковъ, а рублей, ничего не вышло, кромѣ унизительной и безобразной сцены, изъ которой авторъ вынесъ одинъ стыдъ передъ окружавшими его людьми, при сознаніи съ своей стороны какой-то крайне глупой и даже безнравственной роли. Относительно-же людей второго разряда, т. е. живущихъ своимъ трудомъ и не нуждавшихся въ великосвѣтскихъ подачкахъ, графъ еще болѣе убѣдился, что тутъ ему рѣшительно нечего дѣлать.

«Первое впечатлѣніе, говоритъ онъ, было то, что большинство живущихъ здѣсь все рабочіе люди и очень добрые люди. Большую половину жителей мы заставали за работой: прачекъ надъ корытами, столяровъ за верстаками, сапожниковъ на своихъ стульяхъ. Тѣсныя квартиры были полны народомъ и шла энергическая, веселая работа. Пахло рабочимъ потомъ и у сапожника кожей, у столяра стружками, слышалась часто пѣсня и виднѣлись засученныя мускулистыя руки, быстро и ловко дѣлавшія привычныя движенія. Многихъ мы заставали за обѣдомъ или чаемъ и всякій разъ на приходъ нашъ: «хлѣбъ да соль» или «чай да сахаръ» они отвѣчали: «просимъ милости» и даже сторонились, давая намъ мѣсто. Вмѣсто того притона постоянно перемѣняющагося населенія, которое мы думали найти здѣсь, оказалось, что въ этомъ домѣ было много квартиръ, въ которыхъ живутъ подолгу. Одинъ столяръ съ рабочими и сапожникъ съ мастерами живутъ по десяти лѣтъ. У сапожника было очень грязно и тѣсно, но народъ весь за работой былъ очень веселый.

«Я попытался поговорить съ однимъ изъ рабочихъ, желая выпытать отъ него воображаемую мною бѣдственность его положенія, задолжанія хозяину, но рабочій не понялъ меня и съ самой хорошей стороны отозвался о хозяинѣ и о своей жизни. На одной квартирѣ жили старичокъ со старушкой. Они торгуютъ яблоками. Комнатка ихъ тепла, чиста и полна добромъ. На полу постланы соломенные щиты (плетенки); они берутъ ихъ въ яблочномъ складѣ. Сундуки, шкафъ, самоваръ, посуда. Въ углу образовъ много, теплятся двѣ лампады; на стѣнѣ завѣшаны простыней крытыя шубы. Старушка съ звѣздообразными морщинками, ласковая, говорливая, очевидно, сама радуется на свое тихое, благообразное житье».

Однимъ словомъ, авторъ испыталъ полное разочарованіе. Онъ мечталъ встрѣтить въ ржановской крѣпости нѣчто ужасное,—и не только не нашелъ ничего подобнаго, но ему представилось нѣчто хорошее, такое, которое невольно вызывало уваженіе. И этихъ хорошихъ людей было такъ много, что оборванные, погибшіе, праздные люди, которые изрѣдка подадались среди нихъ, не нарушали главнаго впечатлѣнія. Когда-же графъ встрѣчалъ нужду, онъ всегда находилъ, что она была уже покрыта, уже была подана та помощь, которую онъ хотѣлъ подать,—и подана кѣмъ же!—тѣми самыми несчастными, развращенными созданіями, которыхъ онъ собирался спасать, и подана такъ, какъ онъ бы не могъ подать.

V.

И оставалось, такимъ образомъ, нашему благодѣтелю рода человѣческаго сложить на груди ненужныя руки. Какъ, неужели?—спроситъ читатель. Неужели тѣ самые труженики, такіе хорошіе и такіе, повидимому, довольные своимъ положеніемъ,—такъ-таки и не нуждались ни въ малѣйшей помощи? Да не самъ-ли графъ Л. Толстой описываетъ тотъ ужасъ, который онъ испыталъ, когда переходилъ только черезъ дворъ ржановской крѣпости. «Изъ сѣней, говоритъ онъ, мы спустились на покатый дворъ, весь застроенный деревянными, на каменныхъ нижнихъ этажахъ, постройками. *Вонь на всемъ дворѣ была очень сильная. Центромъ этой вони было отхожее мѣсто.* Мальчикъ, оберегая свои [бѣлыя панталоны, осторожно

провелъ меня мимо этого мѣста *по замерзшимъ и намерзшимъ нечистотамъ»*. Затѣмъ, когда авторъ вошелъ въ жилье, на него пахнуло *мыльными парами, ѣдкимъ запахомъ дурной ѣды и табаку*... И вотъ этимъ смрадомъ дышутъ изо-дня въ день всѣ эти хорошіе люди, вполнѣ довольные своимъ положеніемъ. Положимъ, что они настолько принюхались ко всѣмъ окружающимъ ихъ зловоніямъ, что совсѣмъ не замѣчаютъ ихъ и зловоніе нисколько не мѣшаетъ имъ энергично работать и даже веселиться на заработанные гроши. А, между тѣмъ, подумать только, какъ непрочно ихъ кажущееся благосостояніе. Вѣдь, достаточно одного вздоха, наполненнаго тифозными микробами въ этомъ гниломъ и смрадномъ воздухѣ, чтобы глава семьи отправился въ елисейскія, а жена и дѣти его остались безпомощными и голодными...

Но, конечно, что же вы тутъ подѣлаете грошовыми великосвѣтскими подачками или, еще того лучше, душеспасительными глаголами? Правда, тутъ могла-бы большую помощь оказать хотя, напримѣръ, наука, которая внушаетъ, какъ должны строиться жилища для того, чтобы въ нихъ было достаточно тепла, свѣта и свѣжаго воздуха, необходимыхъ для человѣка, изобрѣтаетъ всякія ассенизирующія средства, борется съ эпидеміями, стремится къ наибольшему удешевленію всѣхъ необходимыхъ питательныхъ или согрѣвательныхъ продуктовъ, и напротивъ, къ возрастанію цѣнности труда и пр., и пр. Но въ томъ-то и дѣло, что гр. Л. Толстой проклялъ эту самую науку, такъ какъ она не могла отвѣтить ему на тѣ трансцедентальные вопросы, разрѣшенія которыхъ онъ требовалъ отъ нея, а тотъ скромный свѣтъ и тепло, какіе льются отъ нея на человѣчество, показались ему слишкомъ жалкими и презрительными въ его великосвѣтскомъ разочарованіи... Подождемъ же, когда душеспасательные глаголы «новой вѣры» гр. Л. Толстого въ такой-же степени способны окажутся уничтожить зловоніе и міазмы ржановскихъ клоакъ, какъ это можетъ сдѣлать изобрѣтенная все тою-же презираемою наукою карболовая кислота.

1885.

III.

По поводу статьи гр. Л. Толстаго „Въ чемъ счастье“.

I.

Въ послѣднее время въ литературѣ нашей утвердилось мнѣніе, что философскія статьи гр. Л. Толстого наиболѣе сильны и вліятельны своимъ отрицательнымъ анализомъ условій жизни современнаго человѣчества; съ положительной-же своей стороны онѣ представляютъ рядъ идеаловъ, слишкомъ элементарныхъ и наивныхъ, чтобы онѣ могли оказать какое-либо существенное вліяніе на разрѣшеніе сложныхъ и роковыхъ вопросовъ нашего времени. Статья: «Въ чемъ счастье», помѣщенная въ январской книжкѣ «Русскаго Богатства», 1886 г., какъ нельзя болѣе подтверждаетъ это мнѣніе, и мы займемся ею въ видахъ разъясненія и подтвержденія его.

Прежде всего спѣшу оговориться, что если я считаю идеалы гр. Л. Толстого слишкомъ элементарными и наивными, то изъ этого вовсе не слѣдуетъ, чтобы я ихъ отрицалъ; я только отрицаю ихъ исключительную компетентность въ разрѣшеніи всѣхъ вопросовъ нашей нравственной жизни. Я сравниваю гр. Л. Толстого съ математикомъ, который, вдругъ, увлекся бы табличкою умноженія, и на томъ основаніи, что она заключаетъ въ себѣ рядъ математическихъ аксіомъ, самыхъ простыхъ, общедоступныхъ, вѣчныхъ, неоспоримыхъ и предшествовавшихъ съ испоконъ вѣковъ всѣмъ послѣдующимъ математическимъ открытіямъ, началъ-бы отрицать и биномъ Ньютона, и логарифмы, и дифференціальныя вычисленія, и предлагалъ-бы во всѣхъ изслѣдованіяхъ ограничиваться одною табличкою умноженія, потому что могутъ-ли сравняться всѣ тѣ запутанныя, хитроумныя формулы, которыми адепты науки исписываютъ цѣлые листы, съ такою ясною, простою, для всѣхъ равно доступною и незыблемо вѣчною истиною, какъ $2\times2=4$. Такъ, вотъ, я и говорю, что, положимъ, $2\times2=4$ великая и неоспоримая истина, и въ ней вполнѣ выражается та вѣковѣчная

и непостижимая нашему разуму премудрость, которая движетъ міромъ и которою живетъ и дышетъ вся вселенная; но почему же эту самую премудрость не могу я видѣть и въ логарифмахъ, и въ биномѣ Ньютона, и дифференціалахъ?

II.

Въ самомъ дѣлѣ, обратите вниманіе на пять пунктовъ *счастія*, которые предлагаетъ гр. Л. Толстой людямъ, взамѣнъ того мнимаго призрачнаго счастья, къ которому они стремятся, и вы вполнѣ убѣдитесь, что гр. Л. Толстой имѣетъ дѣло всего-на-все съ табличкою умноженія, съ которою и носится вотъ ужъ нѣсколько лѣтъ, какъ съ единственнымъ волшебнымъ талисманомъ, способнымъ спасти человѣчество. Вотъ эти пять пунктовъ:

1) «Одно изъ первыхъ и всѣми признаваемыхъ условій счастія—есть жизнь такая, при которой не нарушена связь человѣка съ природой, т. е. жизнь подъ открытымъ небомъ, при свѣтѣ солнца, при свѣжемъ воздухѣ, общеніе съ землей, растеніями, животными. Всегда всѣ люди считали лишеніе этого большимъ несчастіемъ. Заключенные въ тюрьмахъ сильнѣе всего чувствуютъ это лишеніе. Посмотрите-же на жизнь людей, живущихъ по ученію міра. Чѣмъ бо́льшаго они достигли успѣха по ученію міра, тѣмъ больше они лишены этого условія счастія. Чѣмъ выше то мірское счастіе, котораго они достигли, тѣмъ меньше они видятъ свѣтъ солнца, поля и лѣса, дикихъ и домашнихъ животныхъ.

2) «Другое несомнѣнное условіе счастья—есть трудъ, во-первыхъ, любимый и свободный трудъ, во-вторыхъ, трудъ физическій, дающій аппетитъ и крѣпкій, успокоивающій сонъ. Опять, чѣмъ бо́льшаго, по своему, счастья достигли люди по ученію міра, тѣмъ больше они лишены и этого другаго условія счастія. Всѣ счастливцы міра, чиновники и богачи, или какъ заключенные, вовсе лишены труда и безустанно борятся съ болѣзнями, происходящими отъ отсутствія физическаго труда и еще болѣе безуспѣшно со скукой, одолѣвающей ихъ, или работаютъ ненавистную имъ работу, какъ банкиры, прокуроры и тому подобные...

3) «Третье, несомнѣнное условіе счастья — есть семья. И

опять, чѣмъ больше ушли люди въ мірскомъ успѣхѣ, тѣмъ меньше имъ доступно это счастье. Большинство—прелюбодѣи и сознательно отказываются отъ радостей семьи, подчиняясь только ея неудобствамъ. Если же они и не прелюбодѣи, то дѣти для нихъ не радость, а обуза. Если-же у нихъ есть дѣти, они лишены радости общенія съ ними (отдавая ихъ на руки чужимъ воспитателямъ).

4) «Четвертое условіе счастья—есть свободное, любовное общеніе со всѣми разнообразными людьми міра. И опять, чѣмъ высшей ступени достигли люди въ мірѣ, тѣмъ больше они лишены этого главнаго условія счастія, тѣмъ выше, тѣмъ уже, тѣснѣе тотъ кружокъ людей, съ которыми возможно общеніе, и тѣмъ ниже по своему умственному и нравственному развитію тѣ нѣсколько людей, составляющіе этотъ заколдованный кругъ, изъ котораго нѣтъ выхода...

5) «Наконецъ, пятое условіе счастія—есть здоровье и безболѣзненная смерть. И опять, чѣмъ выше люди на общественной лѣстницѣ, тѣмъ болѣе они лишены этого условія счастія. Возьмите средняго богача и его жену и средняго крестьянина и его жену, не смотря на весь голодъ и непомѣрный трудъ, который несетъ крестьянинъ, и сравните ихъ. И вы увидите, что, чѣмъ ниже, тѣмъ здоровѣе и чѣмъ выше, тѣмъ болѣзненнѣе мужчины и женщины».

III.

Все это рядъ истинъ, такихъ-же неоспоримыхъ, какъ 2×2=4. Но суть не въ томъ, что истины эти не представляютъ ни малѣйшихъ сомнѣній, а въ вопросѣ,—что мѣшаетъ человѣчеству идти по пути этихъ неоспоримыхъ истинъ? Вѣдь не одинъ десятокъ или сотня лѣтъ существуютъ онѣ, а цѣлыя тысячелѣтія, и проповѣдывались онѣ людьми, можетъ быть, въ десять разъ и геніальнѣйшими, и краснорѣчивѣйшими, чѣмъ самъ графъ Л. Толстой; тѣмъ не менѣе, мы и до сегодня видимъ одно и то-же: несомнѣнныя истины тянутъ въ одну сторону, а человѣчество стремится, повидимому, совершенно въ другую, вслѣдъ за своими мечтами призрачнаго мірского счастія. Въ чемъ-же заключается причина и когда будетъ конецъ этой раздвоенности?

И вотъ, пока мы будемъ стремиться рѣшить этотъ вопросъ однимъ апріорнымъ путемъ, не заглядывая ни въ исторію, ни въ иныя науки,—мы вѣчно будемъ путаться съ нашей великою табличкою умноженія въ безъисходныхъ противорѣчіяхъ и дилеммахъ. Одни будутъ говорить вамъ, что законы святы, но исполнители лихіе супостаты, что вѣковѣчныя истины прекрасны, но люди такъ низко пали, такъ тонутъ въ своей грѣховной суетности, такъ нравственно растлѣнны, что остаются глухи и слѣпы къ истинамъ, въ которыхъ заключается все ихъ спасеніе. Другіе-же, напротивъ того, говорятъ, что истины эти обветшали, что человѣчество потому остается равнодушнымъ къ нимъ, что выросло изъ нихъ, и для него требуется иной нравственный кодексъ, болѣе соотвѣтствующій высотѣ и сложности современной цивилизаціи. Одни говорятъ: нужно, прежде всего, поднять нравственность каждаго отдѣльнаго человѣка, убѣдить его слѣдовать вѣковѣчнымъ истинамъ, а затѣмъ, общественныя отношенія между людьми сами собою измѣнятся къ лучшему и сдѣлаются вполнѣ гармоничными все съ тѣми-же пресловутыми истинами. Другіе-же говорятъ: сколько ни проповѣдуйте, ничего не подѣлаете; нравственность отдѣльныхъ людей зависитъ отъ общихъ условій общественной жизни. Прилагайте всѣ заботы къ улучшенію этихъ условій и повѣрьте, что нравственный уровень, самъ собою, возвысится по мѣрѣ этого улучшенія.

Однимъ словомъ, повторяется все тотъ-же дѣтскій вопросъ о томъ, что прежде произошло на свѣтѣ—молотъ или наковальня. И вѣчно онъ будетъ повторяться, пока мы не отбросимъ нашу невѣжественную гордыню передъ наукою, и не обратимся къ ней, къ ея скромнымъ, но безпристрастнымъ, точнымъ указаніямъ. Что же намъ гласитъ на этотъ счетъ наука? А вотъ что:

IV.

Обратимъ вниманіе на основной догматъ ученія графа Л. Толстаго, на непротивленіе злу насиліемъ. Графъ Л. Толстой противуположностью этому догмату ставитъ ветхозавѣтное *око за око, зубъ за зубъ.* И вотъ, на первыхъ-же порахъ,

наука возвѣщаетъ намъ, что подобное противупоставленіе далеко не исчерпываетъ всего историческаго хода развитія нравственныхъ понятій въ человѣчествѣ. Дѣло въ томъ, что ветхозавѣтный догматъ равномѣрнаго отмщенія представляетъ собою довольно уже высокую ступень нравственнаго развитія человѣчества, большой шагъ впередъ въ исторіи цивилизаціи. Первоначально-же, можетъ быть, цѣлыя тысячи лѣтъ, человѣчество руководствовалось инымъ принципомъ, еще болѣе звѣрскаго характера. Дикарь не ограничивался вырываніемъ ока за око и зуба за зубъ, а за самое ничтожное пораненіе и мелкую обиду онъ поджаривалъ врага на огнѣ, сдиралъ съ него живого кожу, отрубалъ голову и черепъ его вѣшалъ въ своей хижинѣ, какъ трофей—знакъ того, что онъ умѣетъ постоять за себя. Первобытные люди за одного украденаго барана истребляли до тла цѣлыя сосѣднія племена.

Въ чемъ-же заключается причина какъ самаго побужденія къ отмщенію, такъ и чрезмѣрности этого побужденія въ дикаряхъ. И вотъ, другая наука или, лучше сказать, цѣлый рядъ наукъ указываетъ, что главная причина заключается здѣсь въ психическихъ основахъ низшаго порядка, въ, такъназываемыхъ, нервныхъ рефлексахъ, побуждающихъ всякое животное, въ томъ числѣ и человѣка, отражать полученныя впечатлѣнія въ тѣхъ или другихъ соотвѣтствующихъ движеніяхъ и дѣйствіяхъ. Далѣе наука показываетъ, что чѣмъ ниже стоитъ человѣкъ по своему умственному развитію, тѣмъ болѣе преобладаютъ въ немъ рефлекторныя движенія, тѣмъ они необузданнѣе и тѣмъ менѣе способенъ онъ сдерживать ихъ. Ребенокъ и дикарь, какъ извѣстно, въ одинаковой степени отличаются тѣмъ, что самое ничтожное впечатлѣніе способно вызвать въ нихъ массу рефлекторныхъ движеній, совершенно выходящихъ изъ всѣхъ предѣловъ.

Съ развитіемъ высшихъ мозговыхъ центровъ, люди дѣлались все сдержаннѣе и сдержаннѣе въ своихъ рефлексахъ, болѣе и болѣе привыкали подчинять ихъ высшимъ нравственнымъ требованіямъ. И вотъ, подумайте, какой былъ великій прогрессъ, когда человѣчество дожило, наконецъ, до ока за око, т. е. до того, что перестали самовольно сдирать кожи съ живыхъ людей за малѣйшее недоразумѣніе, а вмѣсто этого условились въ такомъ уравновѣшеніи возмездія, чтобы за со-

дѣянное зло платилось ровно столько, ни на іоту болѣе или менѣе, чѣмъ это зло стоитъ. Люди навѣрное смотрѣли на это уравновѣшеніе, какъ на высшій нравственный законъ, коимъ только можетъ гордиться человѣчество, и дѣйствительно, съ воцареніемъ этого закона въ человѣческую среду хлынуло разомъ столько обезпеченности и благосостоянія, о которыхъ до того времени трудно было и помышлять.

Уравновѣшеніе возмездія повело за собою учрежденіе судовъ. И вотъ, опять-таки гр. Л. Толстому очень легко съ точки зрѣнія своихъ высокихъ идеаловъ провозглашать: «не судите, да не судимы будете!». Но подумайте только, сколько добра, свѣта, нравственной и общественной дисциплины внесли суды въ полудикія массы, которыя до того времени руководствовались одними звѣриными, необузданными рефлексами, приводящими къ поголовному взаимному истребленію, потокамъ крови и самымъ чудовищнымъ звѣрствамъ.

V.

Обратите вниманіе на другое проявленіе возмездія—войну. Противъ войны много писали и говорили за-долго до графа Л. Толстого. Но до сихъ поръ всѣ эти проповѣди остаются гласомъ вопіющаго въ пустынѣ. Между тѣмъ, что-же мы видимъ на самомъ дѣлѣ: помимо этихъ проповѣдей и здѣсь совершается то-же постепенное подчиненіе низшихъ рефлексовъ разумнымъ требованіямъ. Какъ ни часты и кровопролитны нынѣшнія войны, а все-таки жизнь современной Европы представляетъ собою картину завиднаго мира сравнительно съ тѣмъ, что было тысячу или двѣ тысячи лѣтъ тому назадъ. Тогда война была ежедневнымъ, будничнымъ явленіемъ жизни, и воевали не только государства съ государствами или племена съ племенами, но и городъ съ городомъ, деревня съ сосѣднимъ селомъ, воевали изъ-за самыхъ ничтожныхъ пустяковъ, иногда и безъ всякаго повода, что-бы только выказать молодечество, дать просторъ кипучей крови. Съ теченіемъ вѣковъ районъ мира становился все шире, и вытѣснялъ изъ своихъ предѣловъ знамя войны. Такъ, въ Россіи образовались сначала нѣсколько маленькихъ центровъ,—княжествъ, въ предѣлахъ которыхъ люди обязывались жить другъ съ другомъ

мирно, разрѣшая свои несогласія не мечемъ, а судомъ; воевать имѣли теперь возможность только княжества между собою, а никакъ уже не сосѣднія селенія. Затѣмъ, княжества начали соединяться въ крупныя областныя массы и, наконецъ, образовалось одно сплошное московское царство, въ предѣлахъ котораго мирнымъ обывателямъ могло угрожать лишь нашествіе иноземныхъ народовъ.

VI.

Изъ всего этого вотъ что слѣдуетъ. Ваши прекрасные идеалы, гр. Л. Толстой, существующіе безъ малаго двѣ тысячи лѣтъ, остаются до сихъ поръ въ однихъ отвлеченныхъ предѣлахъ сознанія и не могутъ вполнѣ осуществиться, по той-же причинѣ, по какой и не менѣе неоспоримая математическая истина, что $2 \times 2 = 4$, остается въ области одной нашей фантазіи, пока мы въ дѣйствительности не имѣемъ двухъ и двухъ, чтобы изъ нихъ вышло четыре. Сколько-бы вы ни убѣждали людей не сопротивляться злу насиліемъ, вы ихъ до тѣхъ поръ не убѣдите, пока рефлексы ихъ будутъ настолько еще сильны, чтобы, заглушая всѣ внушенія разума, неудержимо побуждать ихъ ко всякаго рода возмездіямъ. Подчиненіе-же рефлексовъ разумной волѣ совершается не сразу однимъ мановеніемъ волшебнаго жезла, а вырабатывается постепенно отъ поколѣнія къ поколѣнію; какъ между первобытнымъ звѣрствомъ и ветхозавѣтнымъ принципомъ уравновѣшеннаго возмездія, такъ равно между послѣднимъ и вашимъ принципомъ непротивленія злу насиліемъ существуетъ цѣлый рядъ промежуточныхъ станцій, миновать которыя нѣтъ никакой возможности. Такъ, напримѣръ, вы, вотъ, отрицаете судъ даже и въ тѣхъ мягкихъ и гуманныхъ формахъ, до какихъ онъ дошелъ въ послѣднее время, а подумайте, давно-ли человѣчество избавилось отъ ужасовъ инквизиціи и пытокъ, и какой большой шагъ въ смягченіи нравовъ и подчиненіи животныхъ рефлексовъ — представляло собою хотя-бы только появленіе Беккаріи съ его отрицаніемъ пристрастнаго допроса. Я вполнѣ согласенъ съ тѣмъ, что весь этотъ прогрессъ смягченія нравовъ и медленнаго приближенія къ вѣковѣчнымъ нравствен-

нымъ идеаламъ, завѣщаннымъ намъ древнимъ Востокомъ, совершается отнюдь не путемъ сопротивленія злу насиліемъ, а есть результатъ совершенно особеннаго великаго и всеобщаго біологическаго процесса. Изъ всего выше сказаннаго достаточно явствуетъ, что я вовсе не стою за принципъ противленія злу насиліемъ; я объясняю его, какъ варварское состояніе человѣчества, какъ недостатокъ полнаго подчиненія низшихъ рефлексовъ высшимъ разумнымъ требованіямъ. Но что-жь вы подѣлаете съ человѣчествомъ, если рефлексы его все еще бунтуютъ, преобладаютъ и до сихъ поръ еще оно ихъ не упорядочило? Впадать вслѣдствіе этого въ отчаяніе, въ пессимизмъ, роптать на глухоту и слѣпоту людей, неспособныхъ сразу обратиться на путь спасенія,—не есть-ли самая высокомѣрная гордыня, какую только можно представить себѣ, не есть-ли это преступная и малодушная хула противъ вѣковѣчной премудрости, установившей незыблемые законы, по которымъ совершаются всѣ процессы развитія во всей вселенной?

1886.

IV.

Графъ Л. Н. Толстой о женскомъ вопросѣ.

I.

Я знаю молодую чету, которою я всегда любуюсь, какъ однимъ изъ лучшихъ украшеній нашего средняго интеллигентнаго круга. Мужъ—учитель и воспитатель въ одномъ изъ среднихъ учебныхъ заведеній; жена, кончивъ медицинскіе курсы нѣсколько лѣтъ тому назадъ, занимаетъ мѣсто думскаго врача и, сверхъ того, имѣетъ кое-какую практику. Въ общей сложности мужъ и жена заработываютъ тысячъ до трехъ, причемъ на женскую долю приходится рублей до тысячи заработка, т. е. треть семейнаго бюджета. Конечно, для людей, привыкшихъ жить на проценты съ полумилліоннаго состоянія, для людей, соображающихъ, что пропорціонально тремъ копѣйкамъ, отдан-

нымъ нищему мужику, имъ слѣдовало-бы давать этому самому нищему по три тысячи рублей, — что значитъ заработокъ въ какую-нибудь тысячу рублей! Стоило изъ-за такихъ пустяковъ на курсы ходить и мертвецовъ рѣзать! Но каждый, кто не à priori, а на практикѣ испыталъ, что такое значитъ проживать съ семьею среднему интеллигентному человѣку въ столицѣ 2.000 р., тотъ пойметъ, какое великое подспорье составляетъ въ настоящемъ случаѣ каждая лишняя тысяча.

Они держатъ всего двѣ прислуги: кухарку и няньку; между тѣмъ, чистота и опрятность царятъ въ ихъ квартирѣ ненарушимыя, образцовыя. У нихъ трое дѣтей,—и всѣ такіе здоровяки, съ пухлыми, румяными щечками. Цѣлый день оба занятые своими профессіями, какъ они успѣваютъ въ то-же время содержать свое хозяйство въ такомъ образцовомъ порядкѣ,—объ этомъ я не могу вамъ подробно сообщить, такъ какъ не слѣдилъ за каждымъ шагомъ ихъ повседневной, будничной жизни, но я это вполнѣ понимаю. Главный секретъ въ томъ, именно и заключается здѣсь, что оба они — люди занятые. Обратите вниманіе, въ какомъ кабинетѣ найдете вы болѣе порядка, чистоты и опрятности? Вы думаете, что у человѣка болѣе свободнаго, имѣющаго много досуга заниматься разстановкою своихъ вещей? Совершенно наоборотъ: чѣмъ болѣе человѣкъ занятъ, тѣмъ оказывается болѣе порядка вокругъ него во всей его обстановкѣ. Ничего тутъ нѣтъ удивительнаго: усиленный трудъ такъ нравственно дисциплинируетъ, подтягиваетъ человѣка, что у него является неудержимая потребность и во всѣ мелочи своего обихода вносить ту гармонію, ту порядочность, которыя онъ ощущаетъ въ своемъ нравственномъ мірѣ. И наоборотъ,—праздность, разслабляя нервы, приводитъ людей къ особаго рода душевному недугу, называемому распущенностью, а разъ этотъ недугъ завязался у человѣка, онъ проявляется, опять-таки, во всѣхъ мелочахъ его жизни: подобно тому, какъ лѣнь приняться ему за дѣло, такъ-же точно лѣнь ему и убрать за собою.

Что-же касается до времени, необходимаго для упорядоченія домашней жизни и всего, что касается, такъ называемаго, *хозяйства*, то, надо сказать по правдѣ, у насъ сильно раздуваютъ этотъ предметъ, воображая, что для маленькаго хозяйства семьи, проживающей отъ трехъ до пяти тысячъ, —

необходимо посвященіе цѣликомъ нѣсколькихъ женскихъ жизней. Въ результатѣ такого предразсудка выходитъ то, что праздныя барыни, воображающія себя образцовыми хозяйками, нарочно растягиваютъ на цѣлый день дѣло, которое можно все передѣлать въ четверть часа, пріискиваютъ искусственныя и совершенно ненужныя занятія, лишь-бы только убить время и успокоить совѣсть. По крайней мѣрѣ, въ той четѣ, о которой я говорю, нѣтъ ни одной такой женщины, которая весь день суетилась-бы и бѣгала изъ комнаты въ комнату по пустякамъ, воображая, что она совершаетъ какое-то священнодѣйствіе, домашній очагъ соблюдаетъ: мужъ весь поглощенъ своею педагогіею; жена—медициною; кухарка знаетъ только свою кухню; нянька — дѣтей; и въ то-же время всѣ члены семьи между дѣломъ успѣваютъ вполнѣ соблюдать домъ въ чинномъ порядкѣ.

Да не подумаетъ читатель, что я изобразилъ что нибудь необыкновенное и исключительное. Въ настоящее время вы можете встрѣтить не одну уже семью, въ которой жена является такою-же труженицею, какъ и мужъ, и это нисколько не мѣшаетъ тому, чтобы и щи подавались во̀-время на столъ, и дѣти родились, выкармливались и выращивались правильно.

II.

Скромная труженица, съ утра до ночи занятая своимъ дѣломъ, всегда чисто и опрятно одѣтая, а иногда даже щеголевато принаряженная, знакомая моя вовсе не выглядитъ синимъ чулкомъ, не произноситъ никакихъ рѣчей въ пользу женской эманципаціи, не громитъ мущинъ и не найдете вы въ ней ничего ухарскаго и напускного. Но, конечно, она очень близко принимаетъ къ сердцу женскій вопросъ, сама на своемъ собственномъ опытѣ убѣдившись, сколько и нравственнаго удовлетворенія, и матеріальной обезпеченности принесло ей то обстоятельство, что вотъ она кончила курсъ медицинскихъ наукъ нисколько не менѣе успѣшно, чѣмъ кончаютъ его мужчины, приноситъ свою лепту пользы и обществу, и своей семьѣ, и что останься она вдовою, она, хоть и скромно, а, все-таки,

поддержитъ свою семью, и не придется ей клянчить о милостивыхъ подачкахъ и искать благодѣтелей.

Зная такой образъ мыслей и настроеніе моей пріятельницы, я ожидалъ, что ее въ большое негодованіе приведетъ дрянная книжонка о женщинахъ съ вопросительными знаками, изданная г. Суворинымъ, съ ея скабрезно-циничнымъ содержаніемъ, съ ея взглядами на женщинъ исключительно съ точки зрѣнія особыхъ примѣтъ, съ ея призывомъ, наконецъ, запереть снова женщинъ въ терема ради болѣе удобнаго созерцанія и пользованія этими особыми примѣтами. Но представьте, я былъ очень удивленъ, когда пріятельница моя не только ничѣмъ не возмутилась въ вышеозначенной книгѣ, а лишь прониклась глубокою жалостью къ автору ея. Даже слезы показались на ея глазахъ, когда она произнесла слѣдующія слова:—«Бѣдный, бѣдный! должно быть не было у него ни доброй матери, которую-бы онъ страстно обожалъ и любилъ, ни сестры, за честь которой онъ стоялъ-бы горою, и не видѣлъ онъ въ теченіи всей жизни своей ни одной маломальски порядочной женщины!.. Бѣдный!.. Гдѣ онъ родился? Гдѣ онъ прожилъ всю свою жизнь?»...

При этихъ послѣднихъ словахъ мнѣ сдѣлалось даже страшно! Въ самомъ дѣлѣ, гдѣ онъ родился? Гдѣ прожилъ всю жизнь? Представьте себѣ (я говорю не объ авторѣ книги, не зная, что за личность скрывается подъ вопросительнымъ знакомъ, а такъ, вообще), представьте, что человѣкъ родился-бы въ пансіонѣ извѣстнаго сорта, провелъ-бы все дѣтство и часть юности въ такомъ богоугодномъ заведеніи,—имѣли-бы мы право требовать, чтобы господинъ этотъ глядѣлъ на женщинъ и на женскій вопросъ съ какой либо иной точки зрѣнія, какъ не съ той, съ какой этотъ предметъ представляется въ его alma mater? Только и оставалось-бы вмѣстѣ съ моей пріятельницей восклицать: Бѣдный, бѣдный!

III.

Но совершенно иное впечатлѣніе произвели на ту-же самую барыню рѣчи гр. Толстого по поводу женскаго вопроса, которыя привелось ей слышать изъ его устъ, въ бытность ея въ

Москвѣ. Надо замѣтить, что гр. Л. Толстой былъ до сихъ поръ большой любимецъ моей пріятельницы, и послѣднія сочиненія его она читала съ увлеченіемъ, и это очень понятно. Скромная и усердная труженица, она къ себѣ самой примѣняла весь тотъ апоѳеозъ труда, который находила въ сочиненіяхъ гр. Л. Толстого; она смѣло причисляла себя къ тѣмъ людямъ, которые, по выраженію гр. Л. Толстого, *дѣлаютъ жизнь* и изъ этого почерпаютъ всю свою *вѣру въ нее* Подобно гр. Л. Толстому, она осуждала роскошь и чуждалась ея; если-же и имѣла двѣ прислуги, то это совсѣмъ было не то, что графскіе слуги; это были лишь помощники ея, не мѣшавшіе ей своими руками совершать половину всего семейнаго обихода. Симпатизировала она даже и ученію гр. Л. Толстого о непротивленіи злу насиліемъ, что̀ совершенно гармонировало съ ея мирнымъ существованіемъ, исполненнымъ труда, равно необходимаго для добрыхъ и злыхъ, строптивыхъ и кроткихъ. Ей некогда было и думать о какихъ-либо противленіяхъ, и только иногда возмущалась въ ней женщина и она говорила.

— «Я готова, пожалуй, уступить гр. Л. Толстому не только обѣ ланиты, но и шею; но если кто вздумаетъ тронуть моего ребенка, тутъ ужъ извините, я не ручаюсь, что не обращусь въ тигрицу, и чувствую, что никакая сила воли не удержитъ меня... Гр. Л. Толстой — мужчина, и ему никогда этого не понять!»

Нынѣ, на рождествѣ, пришлось моей пріятельницѣ проѣхаться въ Москву, и тамъ она гдѣ-то встрѣтилась съ гр. Л. Толстымъ. По пріѣздѣ оттуда, при первомъ-же моемъ визитѣ къ нимъ, она почти сразу заговорила о своемъ свиданіи съ авторомъ «Войны и мира», — и, можете себѣ представить, я ея не узналъ: щеки ея пылали, глаза метали искры и были полны слезъ. Она имѣла видъ женщины, глубоко кѣмъ-либо оскорбленной.

Представьте себѣ, восклицала она съ негодованіемъ: графъ-то Левъ Николаевичъ, святой человѣкъ не отъ міра сего, что мнѣ наговорилъ насчетъ нашей братьи, учащихся женщинъ!... Да никто еще въ жизни моей не нанесъ мнѣ такого кровнаго оскорбленія, не попралъ всѣхъ моихъ идеаловъ такъ безчеловѣчно, и черство, не насмѣялся такъ надъ всѣми моими са-

мыми лучшими инстинктами. И все это такъ бездоказательно, хотя въ тоже время, на основаніи, яко-бы, ученія любви и милосердія... Это возмутительно!... ужасно!... Я ничего подобнаго не встрѣчала и не ожидала, и отъ кого-же!...

Я просилъ пріятельницу успокоиться и разсказать толкомъ, въ чемъ дѣло. Долго горячилась барыня и ограничивалась одними восклицаніями, въ родѣ вышеприведенныхъ; наконецъ, изливъ все свое негодованіе, она передала во всѣхъ подробностяхъ отъ слова до слова свое свиданіе съ гр. Л. Толстымъ Оказалось, что почтенный авторъ «Войны и мира» затронулъ въ разговорѣ съ пріятельницей женскій вопросъ и отнесся къ нему весьма неблагосклонно. По счастью, не надѣясь на свою память, барыня записала все, что говорилъ ей гр. Л. Толстой по этому поводу. И я, съ своей стороны, считаю не лишнимъ подѣлиться этимъ съ моими читателями. За то, что барыня совершенно вѣрно передала мысли гр. Толстото и ничего не прибавила отъ себя, я могу поручиться. Такъ вотъ, какъ смотритъ гр. Л. Толстой на женскій вопросъ:

IV.

«Какъ сказано въ библіи, объяснялъ онъ моей пріятельницѣ: мужчинѣ и женщинѣ данъ законъ — мужчинѣ законъ труда, женщинѣ—законъ рожденія дѣтей. Хотя мы по нашей наукѣ и nous avons changé tout ça, но законъ мужчины, какъ и женщины, остается неизмѣннымъ, какъ печень на своемъ мѣстѣ, и отступленіе отъ него казнится все также неизбѣжно смертью. Разница только въ томъ, что для мужчины отступленіе отъ закона казнится смертью въ такомъ близкомъ будущемъ, что оно можетъ быть названо настоящимъ, для женщинъ же отступленіе отъ закона казнится въ болѣе далекомъ будущемъ. Отступленіе общее всѣхъ мужчинъ отъ закона уничтожаетъ людей тотчасъ-же; отступленіе всѣхъ женщинъ уничтожаетъ людей слѣдующаго поколѣнія. Отступленіе-же нѣкоторыхъ мужчинъ и женщимъ не уничтожаетъ рода человѣческаго, а лишаетъ только отступившихъ разумной природы человѣка. Отступленіе мужчинъ отъ закона началось давно въ тѣхъ классахъ, которые могли насиловать другихъ; и, все рас-

пространяясь, продолжалось до нашего времени, а въ наше время дошло до безумія, до идеала, состоящаго въ отступленіи отъ закона, до идеала, выраженнаго княземъ Блохинымъ и раздѣляемаго Ренаномъ и всѣмъ образованнымъ міромъ: будутъ работать машины, а люди будутъ наслаждающіеся комки нервовъ. Отступленія отъ закона женщинъ почти не было. Оно выражалось только въ проституціи и въ частныхъ преступленіяхъ убиванія плода. Женщины круга людей богатыхъ исполняли свой законъ, тогда какъ мужчины не исполняли своего закона, и потому женщины стали сильнѣе и продолжаютъ властвовать и должны властвовать надъ людьми, отступившими отъ закона, и потому потерявшими разумъ. Говорятъ, обыкновенно, что женщина (парижская женщина, преимущественно, бездѣтная) такъ стала обворожительна, пользуясь всѣми средствами цивилизаціи, что она этимъ своимъ обаяніемъ овладѣла мужчиной. Это не только несправедливо, но какъ разъ на-оборотъ. Овладѣла мужчиной не бездѣтная женщина, а мать,—та, которая исполняла свой законъ, тогда какъ мужчина не исполнялъ своего. Та-же женщина, которая искусственно дѣлается бездѣтною и плѣняетъ мужчину своими плечами и локонами, это — не властвующая надъ мужчиной женщина, а развращенная мужчиной, опустившаяся до него, до развращеннаго мужчины, женщина, сама, такъ-же, какъ и онъ, отступающая отъ закона и теряющая, какъ и онъ, всякій разумный смыслъ жизни. Изъ этой ошибки вытекаетъ и та удивительная глупость, которая называется правами женщинъ. Формула этихъ правъ женщинъ такая: «А!.!.. ты, мужчина,— говоритъ женщина,—отступилъ отъ своего закона настоящаго труда, а хочешь, чтобы мы несли тяжесть нашего настоящаго труда? Нѣтъ, если такъ, то мы, такъ-же, какъ и ты, съумѣемъ дѣлать то подобіе труда, которое ты дѣлаешь въ банкахъ, министерствахъ, университетахъ, академіяхъ; мы хотимъ, также, какъ и ты, подъ видомъ раздѣленія труда, пользоваться трудами другихъ и жить, удовлетворяя одной похоти». Онѣ говорятъ это и на дѣлѣ показываютъ, что онѣ никакъ не хуже, еще лучше мужчинъ умѣютъ дѣлать это подобіе труда. Такъ называемый, женскій вопросъ возникъ и могъ возникнуть только среди мужчинъ, отступившихъ отъ закона настоящаго труда. Стоитъ только вернуться къ нему, и вопроса этого

быть не можетъ. Женщина, имѣя свой особенный, неизбѣжный трудъ, никогда не потребуетъ участія въ трудѣ мужчины,—въ рудникахъ, на пашнѣ. Она могла потребовать участія только въ мнимомъ трудѣ мужчинъ богатаго класса.

«Если-бы только женщины поняли свое значеніе, свою силу и употребляли ее на дѣло спасенія своихъ мужей, братьевъ и дѣтей, на спасеніе всѣхъ людей! Жены—матери богатыхъ классовъ, спасеніе людей нашего міра отъ тѣхъ золъ, которыми онъ страдаетъ, въ вашихъ рукахъ. Не тѣ — женщины, которыя заняты своими таліями, турнюрами, прическами и плѣнительностью для мужчинъ и, противъ своей воли, по недоглядкѣ, съ отчаяніемъ рожаютъ дѣтей и отдаютъ ихъ кормилицамъ; и *не тѣ тоже, которыя ходятъ на разные курсы и говорятъ о психомоторныхъ центрахъ и дифференціаціи и тоже стараются избавиться отъ рожденія дѣтей съ тѣмъ, чтобы не препятствовать своему одурѣнію, которое онѣ называютъ развитіемъ,* а тѣ—женщины и матери, которыя, имѣя возможность избавиться отъ рожденія дѣтей, прямо, сознательно подчиняются этому вѣчному, неизмѣнному закону, зная, что тягость и трудъ этого подчиненія есть назначеніе ихъ жизни, вотъ эти-то женщины и матери нашихъ богатыхъ классовъ, тѣ, въ рукахъ которыхъ, больше чѣмъ въ чьихъ-нибудь другихъ, лежитъ спасеніе людей нашего міра отъ удручающихъ ихъ бѣдствій. Вы, женщины и матери, сознательно подчиняющіяся закону Бога, вы однѣ знаете, въ нашемъ несчастномъ, изуродованномъ, потерявшемъ образъ человѣческій кругу, вы однѣ знаете весь настоящій смыслъ жизни, по закону Бога, и вы однѣ своимъ примѣромъ можете показать людямъ то счастье жизни въ подчиненіи волѣ Бога, котораго они лишаютъ себя. Вы однѣ знаете тѣ восторги и радости, захватывающія все существо, то блаженство, которое предназначено человѣку, не отступающему отъ закона Бога. Вы знаете счастье любви къ мужу—счастье не кончающееся, не обрывающееся, какъ всѣ другія, а составляющее начало новаго счастія, любви къ ребенку. Вы однѣ, когда вы просты и покорны волѣ Бога, знаете не тотъ шуточный парадный трудъ, въ мундирахъ и въ освѣщенныхъ залахъ, который мужчины вашего круга называютъ трудомъ, а знаете тотъ истинный, Богомъ положенный

людямъ трудъ и знаете истинныя награды за него, то блаженство, тоторое онъ даетъ».

V.

Но тутъ барыня вырвала у меня изъ рукъ записку свою, которую я читалъ громко и вскричала:

— «Нѣтъ, ради Христа, будетъ, будетъ, я не въ силахъ слушать болѣе, я боюсь, что сейчасъ разрыдаюсь!.. Ну, положимъ, пусть гр. Л. Толстой, уткнувшись въ свой затхлый и темный уголъ, просмотрѣлъ тотъ общій и дружный отпоръ, какой сдѣлало наше интеллигентное общество ученію Мальтуса, въ лицѣ лучшихъ своихъ литературныхъ и ученыхъ представителей, и увлеклись этимъ ученіемъ развѣ только одни мутные подонки этого общества, нѣсколько растлѣнныхъ и распущенныхъ сластолюбцевъ, вышедшихъ изъ крѣпостныхъ сералей. Допустимъ, что мы, посѣщающія курсы и дерзающія говорить о психомоторныхъ центрахъ, и въ самомъ дѣлѣ проклятыя отродья, которыхъ графъ съ высоты своей святости имѣетъ полное право ставить въ одинъ рядъ съ француженками-кокотками и даже проститутками, хотя я, все-таки, никакъ не могу понять, чѣмъ я не жена своему мужу, чѣмъ я не мать своимъ дѣтямъ, и какъ это медицина можетъ помѣшать мнѣ честно исполнять семейныя обязанности мои!.. Но допустимъ... Какъ-же графъ упустилъ изъ виду тѣ самыя трудящіяся массы, которыя, по его мнѣнію, дѣлаютъ жизнь и которыя онъ ставитъ, поэтому, въ основѣ жизни?.. По его мнѣнію, вся жизнь женщины, все ея время должно быть поглощено одному дѣторожденію со всѣми его заботами?.. Ну, а крестьянка, которая, сверхъ этого, является помощницею своего мужа во всѣхъ его трудахъ, крестьянка, которая жнетъ, убираетъ сѣно, молотитъ, ходитъ за скотомъ, сажаетъ овощи въ огородахъ, полетъ гряды, мочитъ ленъ, дѣлаетъ изъ него пряжу и проч., и проч.,—значитъ, она тоже отступаетъ отъ основного закона своей природы и искажаетъ свой человѣческій образъ?.. Моя подруга провела надъ книгами нѣсколько лѣтъ самаго упорнаго труда для того, чтобы сдѣлаться образцовою учительницею. Вотъ уже три года, какъ она, завѣ-

дуя сельскою школою, работаетъ, не жалѣя своихъ молодыхъ силъ, стремясь разливать вокругъ себя свѣтъ грамотности и науки! И она обречена проклятію, потому только, что судьба не послала ей до сихъ поръ мужа, который помогъ-бы ей исполнить вѣковѣчный законъ, хотя она вовсе не прочь отъ этого! И отъ кого-же остается намъ вдругъ ожидать спасенія? Отъ женщинъ, которыя, правда, никогда и не слыхали о Мальтусѣ, но которыя безсознательно, въ силу однихъ условій своей жизни, очень часто доходятъ до полнаго безплодія. Развѣ не показываетъ намъ статистика, что плодородіе чаще имѣетъ мѣсто, именно, среди трудящихся классовъ, тамъ, гдѣ женщина сверхъ дѣторожденія несетъ на себѣ массу мужскаго труда. Въ классахъ-же, гдѣ женщина имѣетъ возможность заниматься однимъ только дѣтопроизводствомъ, напротивъ того, мы встрѣчаемъ на каждомъ шагу барынь, приводящихъ своимъ безплодіемъ цѣлые роды къ вымиранію»...

Долго, возмущаясь и кипятясь, возражала моя знакомая приводя массу и изъ современной, и изъ исторической жизни примѣровъ, женщинъ во всѣхъ отношеніяхъ святыхъ и пользующихся всеобщимъ почетомъ не за одно только дѣторожденіе и плодородіе. Если-бы я захотѣлъ привести всѣ эти доводы, то ихъ хватило-бы на цѣлую книгу. Тщетно старался я успокоить свою пріятельницу и заставить ее взглянуть на дѣло болѣе хладнокровно. Вѣдь, въ самомъ дѣлѣ, въ чемъ-же, главнымъ образомъ, заключался источникъ всего ея раздраженія, какъ не въ ней-же самой? Вольно-же было ей возводить графа Л. Толстого въ какой-то кумиръ и авторитетъ для того, чтобы потомъ такъ жестоко разочароваться въ немъ? Давно слѣдовало ей понять, что разъ человѣкъ отвергнулъ и науку, и искусство, и, вмѣстѣ съ гнилыми плодами цивилизаціи, всѣ тѣ свѣжіе и питательные плоды ея, произростаніе которыхъ, стоило человѣчеству тысячелѣтняго упорнаго и кроваваго труда отвернулся отъ жизни и весь ушелъ въ буквоѣдство, въ схоластическую премудрость сличенія текстовъ, то что-же мудренаго, если онъ и не до такихъ нелѣпостей договорится еще!

1886.

V.

Мой отвѣтъ г. Оболенскому.

I.

Въ апрѣльской книжкѣ «Русскаго Богатства» г. Оболенскій, или я ужь не знаю кто изъ его сотрудниковъ,—(статья не подписана) представилъ нѣсколько возраженій на мою замѣтку объ отношеніи гр. Л. Толстого къ женскому вопросу. Начинаетъ мой оппонентъ съ того, что я неправильно приписываю графу Л. Толстому отрицаніе науки и искусства, и въ доказательство приводитъ слѣдующую выписку изъ того-же самаго трактата графа Л. Толстого, изъ котораго цитировалъ и я.

«Наука и искусство,—говоритъ графъ Л. Толстой,—такъ-же необходимы для людей, какъ пища, питье и одежда, даже необходимѣе; но они дѣлаются таковыми не потому, что мы рѣшимъ, что то, что мы называемъ наукою и искусствомъ,—необходимо, а только потому, что они дѣйствительно необходимы. Вѣдь, если для тѣлесной пищи людей будутъ готовить сѣно, то мое убѣжденіе въ томъ, что сѣно есть пища людей, не сдѣлаетъ того, что сѣно станетъ пищею людей. Я, вѣдь, не могу сказать: «что-жь ты не ѣшь сѣна, когда оно—необходимая пища». Пища необходима, но можетъ случиться, что то, что я предполагаю,—вовсе не пища. Вотъ это-то самое и случилось съ нашею наукою и искусствомъ. Сколько-бы мы ни говорили,—*дѣло, которымъ мы занимаемся, считая козявокъ и изслѣдуя химически (?) составъ млечнаго пути, рисуя русалокъ и историческія картины, сочиняя повѣсти и симфоніи,—наше дѣло не станетъ ни наукою, ни искусствомъ до тѣхъ поръ, пока оно не будетъ охотно приниматься тѣми людьми, для которыхъ оно дѣлается. А до сихъ поръ не принимается*».

Итакъ, повидимому, графъ Л. Толстой считаетъ науку и искусства столь-же необходимыми для людей, какъ пища, питье

и одежда,—чего-же, казалось-бы, убѣдительнѣе, что онъ ихъ не отрицаетъ? Да, но это только *повидимому*, и напрасно оппонентъ мой возражаетъ мнѣ далѣе, что графъ Л. Толстой считаетъ наши науки и искусства фиктивными только потому, что они сосредоточены въ рукахъ немногихъ лицъ, которыя, занимаясь ими, присвоиваютъ себѣ привилегію отклоняться отъ физическаго труда. Смѣшно было-бы отрицать пользу и достоинство какой-нибудь вещи только потому, что вещь эта, сама по себѣ драгоцѣнная, лежитъ запертою въ коммодѣ, а не предоставляется во всеобщее употребленіе. Да гр. Л. Толстой этого и не дѣлаетъ. Правда, въ приведенной выпискѣ онъ говоритъ, что наше дѣло (козявки, млечный путь, повѣсти, симфоніи) не станетъ ни наукою, ни искусствомъ до тѣхъ поръ, *пока не будетъ приниматься охотно тѣми, для кого дѣлается*; но на одной этой фразѣ нельзя еще строить весь взглядъ гр. Л. Толстого на значеніе наукъ и искусствъ, какъ это дѣлаетъ мой почтенный оппонентъ. Слѣдуетъ взять вовниманіе весь трактатъ гр. Л. Толстого объ этомъ предметѣ, и тогда мы увидимъ, что въ подчеркнутой нами фразѣ таится совершенно особенный смыслъ, и что нельзя понимать ее такъ, какъ понимаетъ мой почтенный оппонентъ.

II.

Вѣдь, если-бы въ трактатѣ гр. Л. Толстого все дѣло сводилось къ тому горячему когда-то, но давно сданному въ архивъ спору о чистой наукѣ и чистомъ искусствѣ, который въ концѣ 50-хъ годовъ стоялъ на первомъ планѣ въ нашей литературѣ, то стоило-ли гр. Л. Толстому огородъ городить и капусту садить? Для кого-же теперь не ясно, какъ божій день, что ученый не долженъ быть архивною крысою и уткнувшись въ какую нибудь узенькую спеціальность, всю жизнь проводить въ томъ, чтобы изучать бугорокъ на какой-нибудь микроскопической козявкѣ, а обязанъ обхватывать всю науку и всѣ прилегающія къ ней отрасли знанія и стремиться прилагать свои свѣдѣнія къ пользѣ своего народа и всего человѣчества; что и художникъ, въ свою очередь, долженъ творить не для

одного личнаго самоуслажденія и эстетическихъ восторговъ небольшой кучки знатоковъ, а для массъ, съ цѣлью поднятія умственнаго и нравственнаго ихъ уровня. Если-бы весь трактатъ гр. Л. Толстого сводился къ подобнымъ трюизмамъ, то это было-бы безцѣльное повтореніе задовъ и новое открытіе Америкъ.

Но въ томъ-то и дѣло, что гр. Л. Толстой отрицаетъ науки и искусства отнюдь не въ томъ смыслѣ, какъ это полагаетъ мой оппонентъ, т. е. что они, молъ, существуя на народныя деньги, стоятъ народу очень дорого, а ничего ему не даютъ Нѣтъ, нѣтъ, и тысячу разъ нѣтъ. Во многихъ мѣстахъ своего трактата г. Л. Толстой очень прямо и ясно даетъ понять, что науки и искусства, въ томъ видѣ, какъ они существуютъ, по самому существу своему, фиктивны и не способны дать что-либо народу, что, если-бы они ничего народу не стоили, а предлагались-бы ему даромъ, если-бы, затѣмъ, ученые, между прочимъ, занимались какими ни на есть каторжными физическими трудами, то и въ такомъ случаѣ народъ не принялъ-бы нашихъ наукъ, а презрительно отвергъ-бы, потому что для народа необходимы совсѣмъ иныя науки и искусства... Ка кія-же именно?...

III.

Объ искусствѣ мы спорить не будемъ. Относительно его критика не одинъ уже десятокъ лѣтъ твердитъ, что для того, чтобы искусство встало вполнѣ на народную почву и удовлетворило массы, оно должно подвергнуться полному перевороту, причемъ, конечно, переворотъ этотъ зависитъ не отъ личнаго произвола художниковъ, а отъ естественнаго и органическаго хода вещей. Объ искусствѣ тѣмъ болѣе безплодно намъ спорить, что дѣятельность на половину непроизвольная, обусловливаемая и духомъ времени, и духомъ среды, и личными особенностями тѣхъ или другихъ художниковъ,—искусство, дѣйствительно, подъ вліяніемъ ненормальныхъ условій можетъ всецѣло стоять на ложной дорогѣ и быть фиктивнымъ, каковы, напримѣръ, и были произведенія ложно-классическія, романтическія и масса другихъ, имѣющихъ нынѣ одно историческое значеніе, и которыми если и продолжаютъ восторгаться,

то по рутинѣ, утвердившейся вѣками, словно по какой-то, хотя и скучной, но, все-таки, священной обязанности.

Но другое дѣло—наука, стоящая на отвлеченной, международной и междувременной почвѣ врожденной человѣку любознательности. Разъ истина есть несомнѣнная истина, то какъ можетъ быть она фиктивна или нефиктивна, полезна или безполезна? Какъ сказать уму: вотъ этимъ ты, умъ, интересуйся, это изслѣдуй, а сюда и заглядывать не смѣй. Я очень былъ бы радъ, чтобы г. Оболенскій, именно, никто иной какъ г. Оболенскій, издающій научно-популярный журналъ, на страницахъ котораго очень часто вы встрѣчаете рѣчи и о козявкахъ, и о млечномъ пути, далъ мнѣ списочекъ, какимъ предметомъ науки я имѣю право интересоваться, и какимъ не имѣю.

Вѣдь, вотъ я въ своей душевной простотѣ наивно думалъ, что заниматься козявками не только интересно, но и полезно для самого того народа, о которомъ такъ заботятся гр. Л. Толстой и г. Оболенскій. Мнѣ, когда я вспоминалъ Дженнера съ его вакцинаціей, приходило на память, что, когда у насъ вводилась вакцинація, народъ сильно сопротивлялся этому и подозрѣвалъ въ оспопрививаніи наложеніе антихристовыхъ печатей. Теперь, г. Оболенскій, дѣлая выписку изъ трактата г. Толстого о фиктивности занятія козявками, пока народъ не будетъ *съ охотою* принимать научныя истины и, соглашаясь съ этою выпискою, предлагаетъ мнѣ этимъ самымъ считать фиктивными и Дженнера, и ту несомнѣнную пользу, которую принесла народу его вакцинація, избавивъ въ теченіи ста лѣтъ не одинъ десятокъ тысячъ людей отъ преждевременной смерти.

О пользѣ-же изученія состава млечнаго пути, далеко не представляющей такой очевидности, какъ изслѣдованія Дженнера и Пастера,—и говорить, конечно, нечего. Долой всю астрономію безъ всякихъ возраженій, — для чего она народу!..

Да, г. Оболенскій, я жду отъ васъ, какъ манны небесной, осчастливьте меня списочкомъ наукъ нужныхъ и ненужныхъ. Особенно дорого мнѣ получить отъ васъ такой списочекъ, потому, именно, что, изъ вашего журнала я извлекъ убѣжденіе, что всѣ науки, всѣ отрасли знанія находятся въ тѣсной и неразрывной связи между собою, что нѣтъ возможности вынуть хоть одинъ кирпичекъ и надѣяться, что дѣло можетъ обой-

тись безъ него и чтобы все зданіе не рухнуло. Связь эта не только не уменьшается, а, напротивъ того, ростетъ, и можетъ быть близко время, когда всѣ науки сольются въ одну единую и нераздѣльную. На этомъ основаніи я полагалъ, что если одну науку мы станемъ считать несомнѣнно полезною для народа, то полезны и всѣ прочія, потому что нѣтъ возможности изучать одну безъ посредства другихъ. Такъ, напримѣръ, положимъ, что знаніе состава млечнаго пути можетъ казаться совершенно безплоднымъ и празднымъ; но, вѣдь, это часть астрономіи. Безъ изученія-же астрономіи, немыслима метеорологія,—наука, пользу которой для народа, даже и въ настоящемъ ея несовершенномъ видѣ, отрицать болѣе чѣмъ курьезно.

Въ томъ-то и дѣло, что, увы, никогда г. Оболенскій не дастъ мнѣ списочка, о которомъ я прошу, потому что заняться составленіемъ такого списочка, значило-бы для него отказаться отъ всего своего прошедшаго и настоящаго, и поставить и самого себя, и журналъ, который онъ издаетъ, въ невообразимый и невозможный абсурдъ!

IV.

А вотъ гр. Л. Толстой, если мы обратимся къ его трактату, тотчасъ-же безъ малѣйшаго замедленія и затрудненія отвѣтитъ на нашъ вопросъ съ тою смѣлостью и категоричностью, съ которыми онъ трактуетъ обо всѣхъ вещахъ. Ко всѣмъ, безъ исключенія, наукамъ, изъ которыхъ многія не перестаетъ уважать г. Оболенскій и до сегодня, гр. Л. Толстой относится съ открытымъ презрѣніемъ и ненавистью. Самыя слова: положительное знаніе, точная наука» и т. п. въ глалахъ его имѣютъ, словно, какое-то бранное значеніе и онъ, въ трактатѣ своемъ, не иначе употребляетъ эти слова, какъ прибавляя къ нимъ различныя унизительныя выраженія, въ родѣ «такъ-называемыя» и «съ позволенія сказать». Всѣ науки, преподаваемыя въ университетахъ,—и астрономію, и физіологію, и химію, и физику, и медицину, и пр.,—онъ считаетъ въ одинаковой степени не стоющими выѣденнаго яйца, и, опять-таки, не потому, чтыбы науки эти были для народа дороги и существовали для немногихъ, а потому, что народъ по существу не нуждается въ нихъ. Для народа необходима совсѣмъ иная

наука, которая учила-бы не тому, что такое млечный путь, или какое-то тамъ, прахъ его возьми, тяготѣніе, а какъ человѣку жить праведно, чтобы спастись. Вотъ это-то и есть, по мнѣнію графа Л. Толстого, наука истинная въ отличіе отъ всѣхъ прочихъ, фиктивныхъ; ея-то, именно, народъ и жаждетъ; ее-то только и способенъ онъ принимать охотно. Гр. Л. Толстой приводитъ въ своемъ трактатѣ списокъ тѣхъ истинныхъ мудрецовъ, которые учили людей не млечнымъ путямъ и козявкамъ, а какъ жить праведно; таковы были Будда, Конфуцій, Магометъ и прочіе проповѣдники въ такомъ же родѣ. Эти провозгласители вѣковѣчныхъ истинъ, по мнѣнію гр. Л. Толстого, одни только могутъ быть признаны истинными мудрецами и учеными; они одни только доступны и необходимы народу. Это разъясняетъ намъ и тотъ сокровенный смыслъ, который таится въ приведенной моимъ почтеннымъ оппонентомъ цитатѣ,—смыслъ, который совершенно напрасно оппонентъ мой утаиваетъ. Да, совершенно справедливо, что гр. Л. Толстой считаетъ науку необходимѣе пищи, платья, одежды,—но какую науку? Именно, науку Будды, Магомета, Конфуція и пр., учащую народъ, какъ ему праведно жить; а прочія всѣ науки представляются гр. Л. Толстому тѣмъ самымъ сѣномъ, которое мы предлагаемъ народу подъ видомъ пищи. Когда-же гр. Л. Толстой говоритъ, что наши науки до тѣхъ поръ не будутъ науками, пока не станутъ охотно приниматься народомъ, онъ не безъ лукавства подразумѣваетъ здѣсь, что онѣ и никогда не способны охотно приниматься народомъ; поэтому онъ и заканчиваетъ свою рѣчь ироническимъ восклицаніемъ: «а до сихъ поръ не принимается!..». Оппонентъ мой этого слона-то, именно, и не примѣтилъ. Читалъ ли онъ весь трактатъ сполна?

Редакція «Русскаго Богатства» обѣщаетъ въ слѣдующей книжкѣ познакомить публику болѣе подробно съ новымъ трудомъ гр. Л. Толстаго. Съ нетерпѣніемъ будемъ ожидать исполненія этого обѣщанія. Но было бы желательно при этомъ, чтобъ редакція, не мудрствуя лукаво, познакомила насъ съ настоящимъ гр. Л. Толстымъ въ его послѣднемъ трактатѣ, а не поддѣльнымъ и выдуманнымъ ею самою, и чтобы въ трактатѣ этомъ не было ничего утаено, ничего прибавлено и переиначено.

V.

Теперь обратимся къ возраженіямъ оппонента моего относительно женскаго вопроса. Возраженія эти оппонентъ мой начинаетъ съ того, что обвиняетъ меня въ искаженіи одного мѣста цитаты, приведенной мною изъ трактата графа Л. Толстого. У меня было приведено такъ: «Женщина, имѣя свой особенный, неизбѣжный трудъ, никогда не потребуетъ участія въ трудѣ мужчины: въ рудникахъ, на пашнѣ. Она могла потребовать участія только въ мнимомъ трудѣ мужчины богатаго класса». Слѣдуетъ же читать такъ: «Женщина, имѣя свой особенный несомнѣнный, неизбѣжный трудъ, никогда не можетъ требовать еще лишняго фальшиваго труда мужчинъ богатыхъ классовъ. Ни одна женщина истинно рабочаго человѣка не потребуетъ права участія въ его трудѣ: въ рудникахъ, на пашнѣ».

Если г. Оболенскій предполагаетъ здѣсь какое-нибуъь умышленное искаженіе съ моей стороны, то онъ очень ошибается. Я дословно привелъ цитату изъ бывшаго въ моихъ рукахъ текста, и не моя вина, если въ текстѣ оказался пропускъ, хотя нужно взять еще тутъ во вниманіе и вотъ какое обстоятельство. Извѣстно ли г. Оболенскому, что глава изъ трактата гр. Л. Толстого о женщинахъ существуетъ въ двухъ редакціяхъ: первоначальной, наиболѣе рѣзкой и переполненной непечатными словами, и позднѣйшей, въ которой гр. Л. Толстой многое измѣнилъ, сократилъ, выпустилъ. Я имѣлъ дѣло съ послѣдней редакціей, первоначальной-же не видалъ, и очень возможно, что разница, замѣченная г. Оболенскимъ, происходитъ отъ этого обстоятельства, а, можетъ быть и отъ какого-либо иного,—я не знаю; да, къ тому же, и разница эта далеко не такъ важна, и нисколько она не измѣняетъ дѣла, чтобы на ней особенно долго останавливаться. Обратимся къ самому дѣлу.

Возраженія моего оппонента заключаются въ томъ, что я будто-бы, не замѣтилъ, что гр. Л. Толстой отрицаетъ стремленіе женщинъ не къ тому труду, который онъ считаетъ необходимымъ, полезнымъ, а къ тому, который онъ отрицаетъ и у мужчинъ. Гр. Л. Толстой видитъ, что есть женщины, ко-

торыя понимаютъ «женскій вопросъ» въ томъ смыслѣ, что надо добиваться правъ на тотъ самый трудъ, который и для мужчинъ гр. Л. Толстой признаетъ безнравственнымъ; какъ же онъ можетъ отнестись иначе къ этому стремленію, какъ не отрицательно?

Далѣе оппонентъ мой утверждаетъ, что вотъ и нашъ знаменитый сатирикъ, Щедринъ, говоря о женскомъ вопросѣ, поставилъ будто бы, дѣло совершенно сходно; онъ указалъ на тѣ отдѣлы интеллигентнаго мужского труда, которые ему, по его убѣжденію, казались особенно несимпатичными, и спрашивалъ: «неужели женщина будетъ добиваться правъ и на эти роды мужскаго труда?». Въ свою очередь, и г. Михайловскій, обсуждая женскій вопросъ, писалъ въ 70-хъ годахъ, что онъ не понимаетъ отдѣльнаго женскаго вопроса, что есть одинъ вопросъ, «рабочій», и въ этотъ-то вопросъ входитъ, какъ часть, вопросъ женскій, но, именно, только какъ «рабочій» женскій вопросъ. И только такому женскому вопросу можно сочувствовать, а вовсе не тому женскому вопросу, который имѣетъ въ виду тѣ права и привилегіи женщинъ, которыя нежелательны и у мужчинъ...

VI.

И опять-таки осмѣливаюсь заявить моему почтенному оппоненту, что онъ имѣетъ дѣло не съ подлиннымъ гр. Л. Толстымъ, а съ фиктивнымъ, имъ самимъ, моимъ оппонентомъ, сочиненнымъ. Подлинный гр. Л. Толстой вовсе не ограничивается однимъ отрицаніемъ стремленій женщинъ къ такимъ интеллигентнымъ трудамъ, которые онъ считаетъ ложными и безнравственными у мужчинъ, а категорично утверждаетъ, что у женщинъ съ искони вѣковъ существуетъ уже свой спеціальный женскій трудъ рожденія и воспитанія дѣтей, что этотъ трудъ есть единственный истинный и вѣковѣчный женскій трудъ; — другихъ-же женскихъ трудовъ нѣтъ и быть не можетъ. Изъ этого прямо слѣдуетъ, что женскій вопросъ—фиктивенъ, въ свою очередь, по существу, что если бы интеллигентный мужской трудъ сдѣлался истиннымъ, нравственнымъ, полезнымъ, женщина и въ такомъ случаѣ не должна была бы добиваться его. Зачѣмъ-же это ей, когда она имѣетъ уже свой

собственный трудъ, опредѣленный ей вѣковѣчнымъ закономъ? Судите сами, что же тутъ общаго со взглядами на женскій вопросъ гг. Щедрина и Михайловскаго? Имъ только и остается открещиваться отъ моего оппонента, который воображаетъ, что и они, подобно гр. Л. Толстому, держатся того мнѣнія, что женщинѣ только и опредѣлено рожать и кормить, кормить и рожать.

До какой прямой и крайней послѣдовательности доходитъ въ этомъ отношеніи гр. Л. Толстой, мы можемъ судить изъ того, что, ради отстаиванія своего положенія о вѣковѣчномъ законѣ женскаго труда, онъ совершенно перевернулъ весь центръ тяжести своего міровоззрѣнія послѣднихъ лѣтъ. Обыкновенно въ міровоззрѣніи этомъ онъ опирался на народъ, на тѣ массы, которыя дѣлаютъ жизнь; отъ этихъ массъ онъ учился и ихъ непосредственной вѣрѣ, и происходящей изъ нея жизнерадостности, и упорству въ каторжномъ трудѣ, и незлобію, и спокойному отношенію къ болѣзнямъ, страданіямъ и самой смерти. Но дошло дѣло до женскаго вопроса,—и массы, творящія жизнь, оказались матеріаломъ совершенно неподходящимъ. Правда, *ни одна женщина истинно рабочаго человѣка не потребуетъ права участія въ его трудѣ: въ рудникахъ, пашнѣ*, но не потребуетъ просто потому, что нѣтъ никакой надобности и требовать того, что и безъ всякихъ требованій исполняется на практикѣ само собою: если имѣется нужда, то жена мужика и поле вспашетъ, и коней напоитъ, и въ лѣсъ съѣздитъ за дровами. А развѣ не встрѣчается большачихъ, которыя, въ качествѣ представительницъ душевыхъ надѣловъ исправляютъ въ свой чередъ должность сотскихъ? А развѣ не случается, что иная большачиха, стоя во главѣ многочисленной семьи, ведетъ обширную торговлю?

Нѣтъ, массы, дѣлающія жизнь, оказываются здѣсь ни къ чему непригодными, и вдругъ, отвращаясь отъ нихъ, графъ Л. Толстой обращается внезапно въ другую сторону и восклицаетъ: «Жены—матери богатыхъ классовъ, спасеніе людей нашего міра отъ тѣхъ золъ, которыми онъ страдаетъ, въ вашихъ рукахъ» и т. д. Это какъ нельзя болѣе понятно и въ высшей степени послѣдовательно: дѣйствительно, гдѣ-же мы можемъ найти женщинъ, наиболѣе подходящихъ къ идеалу гр. Г. Толстаго—исключительнаго исполненія вѣковѣчнаго за-

кона дѣторожденія, какъ не въ тѣхъ классахъ, гдѣ женщина настолько обезпечена, что ничто не можетъ побудить ее заниматься несвойственными ей занятіями и она способна отдаться всецѣло своимъ дѣтямъ?

А мой почтенный оппонентъ разсыпается вдругъ въ увѣщаніяхъ гр. Л. Толстому обратить вниманіе на средніе классы и уразумѣть, что для нихъ курсы составляютъ вовсе не одну забаву и поблажку моды, а существенную необходимость, и при этомъ исчисляются всѣ пункты этой необходимости. Но неужели моему почтенному оппоненту неизвѣстно, что гр. Л. Толстой искони признавалъ достойными вниманія, какъ основы и кряжи русской земли, только два класса: богатыхъ дворянъ и крестьянъ; на средніе-же классы онъ всегда смотрѣлъ презрительно, какъ на пеструю и безхарактерную толпу безпочвенныхъ проходимцевъ, какъ на нѣчто межеумочное, ублюдочное, какъ на клоаку, въ которую стекаетъ все выродившееся и потому обѣднѣвшее изъ высшихъ классовъ и все растлѣнное и оторвавшееся отъ крестьянскаго міра. Такъ сейчасъ, по указанію редакціи «Русскаго Богатства», гр. Л. Толстой и обратитъ свое благосклонное вниманіе на средніе классы,—дожидайтесь!..

VI.

„Трудъ мужчинъ и женщинъ" гр. Л. Толстого и новыя возраженія мои на мнѣнія гр. Толстого о женскихъ обязанностяхъ.

I.

Въ №№ 5—6 «Русскаго Богатства» мы встрѣчаемъ два возраженія противъ тѣхъ изъ моихъ замѣтокъ, въ которыхъ я оспаривалъ идеи гр. Л. Толстого относительно женскаго во-

проса и наукп, воооще: возраженіе гр. Толстого въ маленькой статейкѣ «Трудъ мужчинъ и женщинъ» и самого издателя «Русскаго Богатства», г. Оболенскаго въ статьѣ «Л. Н. Толстой и О. Контъ о наукѣ». Вотъ, этими возраженіями мы теперь и займемся.

Статейка гр. Л. Толстого извѣстна уже нашимъ читателямъ по тѣмъ выдержкамъ, какія были приведены въ одномъ изъ предъидущихъ №№ нашей газеты, что избавляетъ меня отъ необходимости подробно знакомить читателей съ ея содержаніемъ. Мы только обратимъ вниманіе на ея суть. Игнорируя совершенно историческіе факты, свидѣтельствующіе о томъ, какъ различно было положеніе женщинъ и взглядъ на ихъ обязанности въ различные вѣка у различныхъ народовъ, и какое въ этомъ отношеніи пестрое разнообразіе видимъ мы и въ настоящее время на поверхности земного шара, гр. Л. Толстой категорически утверждаетъ, какъ нѣчто непреложное, что подобно тому, какъ солнце съ незапамятныхъ вѣковъ всегда восходило на востокѣ, а заходило на западѣ, такъ и женщина самою природою вещей предназначена только рожать и воспитывать дѣтей и всегда повсюду только этимъ и занималась и только сообразно этому и оцѣнивалась. «Таково,—говоритъ онъ,—всегда было общее мнѣніе и таково оно всегда будетъ, потому что такова сущность дѣла».

При этомъ, подобно тому, какъ и въ первоначальномъ своемъ трактатѣ о женскомъ трудѣ, и въ своихъ настоящихъ возраженіяхъ гр. Л. Толстой совершенно игнорируетъ положеніе женщины въ томъ классѣ, который, сообразно всѣмъ его основнымъ идеямъ, сохраняетъ вполнѣ нормальную, разумно-естественную жизнь, долженствующую служить нашимъ идеаломъ, именно, земледѣльческій классъ. Гр. Л. Толстому не можетъ быть неизвѣстнымъ, что мужикъ оцѣниваетъ въ женщинѣ, прежде всего, работницу, въ качествѣ помощницы его въ земледѣльческомъ трудѣ, а потомъ уже самку. Онъ и при выборѣ себѣ жены руководствуется не тѣмъ, чтобы жена побольше дѣтей ему рожала, да была-бы хорошею кормилицею, а, чтобы она, именно, была *расторопною работницею.* Гр. Л. Толстому, вѣроятно, кромѣ того, хорошо извѣстно, что, кромѣ пахоты и косьбы, баба участвуетъ во всѣхъ прочихъ земледѣльческихъ работахъ, безъ исключенія. И неужели же гр. Л.

Толстому неизвѣстно, что совершенно вопреки его мнѣнію, будто нравственность женщины всегда и вездѣ оцѣнивается лишь по тому, насколько она правильно и честно исполняетъ свое исключительное призваніе, въ земледѣльческомъ классѣ выходитъ совершенно наоборотъ: если женщина обладаетъ дюжею силою, проворствомъ и неустанною энергіею въ земледѣльческомъ трудѣ, то и родные, и міряне, обыкновенно, сквозь пальцы смотрятъ и на ея безплодіе, и на болѣе тяжкіе грѣшки по части вѣрности семейному долгу и не перестаютъ относиться къ ней съ уваженіемъ; крестьянка же, которая только и оказывается способною рожать и вскармливать, является несчастнымъ существомъ, терпящимъ всеобщее презрѣніе и и даже побои отъ мужа и его родныхъ.

Я указываю на этотъ фактъ, какъ на основное опроверженіе взглядовъ гр. Л. Толстого на обязанности женщинъ, опроверженіе тѣмъ болѣе вѣское, что оно основывается на существенныхъ началахъ его-же собственнаго ученія, указывающаго намъ на *массы, дѣлающія жизнь*, призывающаго насъ идти изъ города въ деревни, на лоно природы и учиться жить у мужиковъ. Гр. Л. Толстой могъ въ первоначальномъ трактатѣ о женщинахъ упустить изъ вида этотъ фактъ по неосмотрительности, по недомыслію, или просто потому, что онъ не успѣлъ еще отдѣлаться отъ нѣкоторыхъ своихъ ветхихъ и узкосословныхъ предразсудковъ, но разъ ему указано было на такой колоссальныхъ размѣровъ фактъ, и онъ въ своихъ возраженіяхъ, все-таки, продолжаетъ оспаривать его, то это выходитъ уже болѣе чѣмъ странно...

II.

Но разъ гр. Л. Толстой, призывающій насъ учиться у мужика, извлекаетъ свои непреложные догматы женскихъ обязанностей изъ быта прочихъ классовъ общества, жизнь которыхъ онъ самъ же считаетъ ненормальною, то этимъ онъ и намъ развязываетъ руки обратиться къ этимъ прочимъ классамъ и посмотрѣть, дѣйствительно ли здѣсь мы видимъ тотъ порядокъ въ распредѣленіи мужскихъ и женскихъ обязанностей, который гр. Л. Толстой считаетъ непреложнымъ, вездѣсущимъ и вѣчнымъ закономъ, его же не прейдеши.

Но и здѣсь мы находимъ со стороны гр. Л. Толстого какое-то странное, слѣпое упорство въ искаженіи фактовъ, самыхъ очевидныхъ и общеизвѣстныхъ. Въ земледѣльческихъ классахъ мы видѣли, что, вопреки взглядамъ гр. Л. Толстого, женщина оцѣнивается не только какъ самка, но и какъ участница наравнѣ съ мужемъ во всѣхъ почти работахъ. Здѣсь же, наоборотъ, намъ приходится отстаивать мужчину и доказывать, что совершенно напрасно полагаетъ гр. Л. Толстой, будто обязанности продолженія человѣческаго рода принадлежатъ исключительно женщинамъ, а мужчина совсѣмъ ихъ не раздѣляетъ и не участвуетъ въ нихъ. Вы только обратите вниманіе на большинство тружениковъ всякаго рода, живущихъ на заработываемыя деньги, чуждыхъ всякихъ новыхъ идей и вполнѣ сохраняющихъ установленную вѣками норму семейной жизни; однимъ словомъ, мужъ занимается тою или другою профессіею, жена рожаетъ, вскармливяетъ дѣтей, хозяйничаетъ и только.

На первый поверхностный взглядъ вамъ кажется, что такая семья вполнѣ соотвѣтствуетъ идеалу гр. Л. Толстого относительно распредѣленія обязанностей. Но это можетъ показаться, именно, только на первый взглядъ, самый поверхностный и легкомысленный. А если вглядимся въ подобный семейный строй глубже, что же мы увидимъ? Мы увидимъ, что дѣйствительно женскія обязанности по отношенію къ дѣтямъ являются передъ нами гораздо интенсивнѣе, чѣмъ мужскія: женщина несетъ на себѣ иго беременности, родитъ въ страшныхъ мукахъ, ежеминутно угрожающихъ ей смертію, кормитъ ребенка своею грудью (не всегда, правда, но мы беремъ вполнѣ нормальную, идеальную семью), ходитъ за нимъ, няньчитъ, обмываетъ, любитъ его страстнѣе и нѣжнѣе, чѣмъ отецъ... Но мы не говоримъ уже, что и во всѣхъ этихъ первоначальныхъ процессахъ продолженія человѣческаго рода роль мужа не маловажная, не говоримъ также и обо всѣхъ аксессуарахъ дѣторожденія, созданныхъ жизнію (акушеркахъ, крестинахъ, дѣтскихъ игрушкахъ и т. п.),—для того уже, чтобы вполнѣ правильно и гигіенично совершился актъ беременности и родовъ и чтобы женщина оказалась хорошею кормилицею, т. е., чтобы продолженіе человѣческаго рода не было одною комедіею, а, дѣй-

ствительно, имѣло мѣсто, мужъ *обязанъ* принять въ этомъ участіе, окруживъ жену такою обстановкою, чтобы она могла быть здоровою роженицею и кормилицею. Обстановка же эта дается не даромъ труженику, не имѣющему готовыхъ капиталовъ; средства на нее необходимо заработать; и вотъ является излишекъ труда, въ которомъ человѣкъ не нуждался бы, если бы былъ одинъ со своею головою, а теперь приходится впрягаться въ лишнія оглобли и нести дань тому же продолженію рода. Женщина, отбывши свою повинность, покоится на лаврахъ; а для мужчины тутъ только и начинается страда, которая съ каждымъ годомъ ростетъ, какъ комъ снѣга, скатывающійся съ горъ, и экстенсивно разстилается порою на всю жизнь до гробовой доски. И если-бы еще страда ограничивалась одними матеріальными средствами, которыми мужъ снабжалъ-бы жену, предоставляя ей всецѣло заботиться о возрощеніи дѣтей. А то нѣтъ: мужъ обязанъ участвовать въ воспитаніи дѣтей наравнѣ съ женою. Плохой тотъ отецъ, который не печется о нравственномъ и умственномъ воспитаніи дѣтей, не учитъ ихъ, чему можетъ, не заботится о помѣщеніи ихъ въ учебное заведеніе, не слѣдитъ за ихъ успѣхами и нравственностью. Тутъ нѣтъ физическихъ болей, но сколько здѣсь зато нравственныхъ мукъ, пытокъ, не ограничивающихся какими-нибудь девятимѣсячными сроками, а изъ года въ годъ тянущихся безпрерывно.

III.

Противники женскаго труда говорятъ обыкновенно, что разъ женщина несетъ и безъ того очень тяжелыя обязанности по дѣторожденію и хозяйству, жестоко было-бы налагать на нее новыя еще тяжести. Но, главнымъ образомъ, опираются они на то, что семейныя обязанности совершенно препятствуютъ женщинѣ заняться чѣмъ-либо постороннимъ: представьте себѣ, говорятъ,—что назначено засѣданіе суда, а предсѣдателю или прокурору въ юбкѣ вдругъ приходитъ время рожать. Но не будемъ долго останавливаться на опроверженіи подобныхъ абсурдовъ и достаточно будетъ привести намъ тотъ доводъ, что женщина можетъ рожать только разъ въ годъ, предсѣдатель же мужчина можетъ разъ десять въ годъ внезапно захворать, и никому не приходитъ въ голову опровер-

гать на подобныхъ шаткихъ основаніяхъ компетентность мужчинъ на занятіе судейскихъ должностей.

Обратимъ лучше вниманіе вотъ на какое обстоятельство. Если не только вмѣшательство женщины въ мужскіе труды, но самое образованіе ея, мало-мальски превышающее элементарную грамотность, гр. Л. Толстой считаетъ уже щебнемъ, засыпающимъ драгоцѣнный черноземъ, который весь исключительно долженъ быть употребленъ на жатву человѣческаго рода, то, по закону раздѣленія труда, совершенно логически и послѣдовательно, мы должны и мужчинъ, обрекая исключительно на труды увеличенія блага въ существующемъ человѣчествѣ, освободить отъ всѣхъ дѣтопроизводительныхъ заботъ и считать эти заботы тоже своего рода щебнемъ, засаривающимъ черноземъ. Помилуйте, содержаніе ребенка, вмѣстѣ съ воспитаніемъ, самое скромное, нищенское, никакъ не можетъ обойтись дешевле 200 р. въ годъ. Если дѣтей въ семействѣ шестеро (а графъ Л. Толстой о томъ только и хлопочетъ, чтобы ихъ было побольше), то дѣтопроизводительный бюджетъ долженъ простираться до 1,200 рублей. Предполагая затѣмъ, что поставленіе ребенка на ноги простирается не менѣе 20 лѣтъ, мы имѣемъ капиталъ въ 24,000, который чадолюбивый отецъ обязанъ затратить на своихъ дѣтей въ продолженіе своей жизни. Теперь подумайте, сколько на этотъ капиталъ могъ сдѣлать бы мужчина затратъ, необходимыхъ для улучшенія своего труда, если-бы, сообразно предположеніямъ гр. Л. Толстого, онъ былъ преданъ исключительно своимъ мужскимъ обязанностямъ, т. е., въ свою очередь, представлялъ-бы изъ себя дѣвственный черноземъ, не засоряемый никакимъ постороннимъ мусоромъ? Но вы мало того что допускаете,—вы требуете, чтобы мужчина часть своего времени и заработываемыхъ денегъ употреблялъ на продолженіе человѣчества; вы смотрите, какъ на человѣка въ высшей степени безнравственнаго, какъ на презрѣннаго негодяя, на мужчину, который, производя дѣтей, бросаетъ ихъ на руки женщины и не тратится на нихъ, не заботится о нихъ, какъ подобаетъ отцу. На какомъ же основаніи, заботясь о томъ, чтобы съ женщины не сдирали двухъ шкуръ, вы хотите сдирать по двѣ шкуры съ мужчины?

Понимаете ли вы, какая кроется здѣсь вопіющая неспра-

ведливость и отсутствіе всякой логики? И никогда мы не выберемся изъ этого лабиринта противорѣчій, если мы не признаемъ, что единственный, вполнѣ логичный, справедливый и разумный идеалъ семейной жизни заключается въ томъ, чтобы какъ на мужа, такъ и на жену въ равной степени, смотря, конечно, по особенностямъ мужской и женской природы, были возлагаемы обязанности какъ продолженія человѣчества, такъ и увеличенія блага въ средѣ его. Это мы и видимъ въ крестьянской семьѣ. Гр. Л. Толстой же отворачивается отъ крестьянской семьи, а ищетъ идеала семейной жизни въ городскихъ слояхъ общества, гдѣ масса всякаго рода извращеній и лжи ослѣпляютъ его и приводятъ къ извращеннымъ и ложнымъ выводамъ.

IV.

Въ самомъ дѣлѣ, подумайте, откуда могъ взять гр. Л. Толстой тотъ законъ распредѣленія мужскихъ и женскихъ обязанностей, который онъ считаетъ чѣмъ-то всегда существовавшимъ, существующимъ и на вѣки вѣковъ непреложнымъ? Изъ той прародительской заповѣди, которую онъ ставитъ во главѣ своего трактата? Но прародительская заповѣдь, заповѣдуя мужчинѣ въ потѣ лица заработывать хлѣбъ свой, а женщинѣ—въ мукахъ рождать чада, не заключаетъ въ себѣ и тѣни какого-либо отрицательнаго смысла въ видѣ запрещенія мужчинѣ отнюдь не заботиться о дѣтяхъ своихъ, а женщинѣ не смѣть и вмѣшиваться въ заработываніе хлѣба. Въ крестьянскомъ быту, въ свою очередь, гр. Л. Толстой не могъ найти ничего подобнаго. Даже и въ городскомъ извращенномъ быту, въ трудящихся классахъ, какъ мы видимъ, не существуетъ такого правильнаго распредѣленія: правда, женщина здѣсь рѣдко и мало участвуетъ въ мужскихъ трудахъ, зато мужчина, относительно дѣтей, только что не рожаетъ, да грудью не вскармливаетъ, а всѣ остальныя заботы и хлопоты о чадахъ въ большей степени лежатъ на его плечахъ, чѣмъ жены его. Гдѣ-же, наконецъ, это *всегда и вездѣ* гр. Л. Толстого? А вотъ, гдѣ: тамъ, гдѣ люди не трудятся, а ѣдятъ даровой хлѣбъ, гдѣ, дѣйствительно, женщинѣ, если она помнитъ о своихъ человѣческихъ обязанностяхъ, только и остается, что рожать дѣтей

и воспитывать ихъ, а мужчина можетъ отложить о дѣтяхъ всякія попеченія, такъ какъ даровой хлѣбъ и безъ его заботъ прокормитъ ихъ, и ему только и остается, что предаваться различнымъ общественнымъ обязанностямъ, если онъ не желаетъ помереть со скуки.

Такимъ образомъ, вотъ откуда ведутъ свои начала тѣ идеи о распредѣленіи мужскихъ и женскихъ обязанностей, съ которыми выступаетъ нынѣ гр. Л. Толстой такъ догматически и категорически. Это сидитъ въ почтенномъ авторѣ «Войны и мира» весьма ветхая закваска крѣпостнаго права. Я весьма далекъ отъ какихъ-либо изысканій и пытаній относительно того, на сколько гр. Л. Толстой въ своей личной жизни вѣренъ своимъ идеямъ и на сколько противорѣчитъ имъ,—предоставляю это дѣло его совѣсти и не беру на себя права судить его, какъ человѣка, тѣмъ болѣе, что и не знаю его жизни и поведенія. Но другое совсѣмъ дѣло, когда мы читаемъ его напечатанныя строки, и онъ передъ нами является, какъ публицистъ и проповѣдникъ, въ предѣлахъ его писательской дѣятельности мы имѣемъ право не только указать на каждое противорѣчіе однихъ словъ съ другими, но и опредѣлить источникъ этого противорѣчія.—И вотъ въ настоящемъ случаѣ мы ни мало не желаемъ унизить въ гр. Л. Толстомъ человѣка, когда говоримъ, что источникъ его дикихъ взглядовъ на мужскія и женскія обязанности лежитъ въ старой закваскѣ крѣпостнаго права. Изъ этого вовсе не слѣдуетъ, чтобы гр. Л. Толстой былъ сознательнымъ крѣпостникомъ. Очень часто, помимо нашего сознанія и воли и совершенно вопреки всѣмъ нашимъ убѣжденіямъ, выработаннымъ жизненнымъ опытомъ и многолѣтними размышленіями, въ насъ заявляютъ о себѣ осадки разныхъ ветхихъ предразсудковъ, въ духѣ которыхъ мы были воспитаны или унаслѣдовали ихъ въ крови отъ предковъ нашихъ. Мы съ дѣтства привыкаемъ думать, что тотъ семейный строй, въ нѣдрахъ котораго мы находимся, существуетъ вездѣ и всегда, какъ нѣчто непреложное, и что тѣ понятія, которыя высказываютъ намъ старшіе, раздѣляются всѣмъ человѣчествомъ и господствуютъ во всѣхъ слояхъ общества; и, съ другой стороны, большихъ усилій стоитъ намъ усвоивать себѣ тѣ мысли и чувства, которыя волнуютъ людей иной среды и строя. Я очень хорошо понимаю, что, не испытавши на

себѣ и десятой доли той семейной ноши и всѣхъ тѣхъ мучительныхъ заботъ и тревогъ о дѣтяхъ, какія испытываютъ городскіе труженики, гр. Л. Толстой можетъ легко вообразить, будто мужчинѣ только и предоставлены однѣ общественныя обязанности, въ дѣлѣ-же продолженія человѣчества онъ и въ усъ не дуетъ; понимаю я также, какъ трудно ему войти въ душу мужика и вполнѣ ясно представить себѣ, какъ это мужикъ можетъ до такой степени цѣнить въ бабѣ работницу, чтобы изъ-за этой оцѣнки быть готову подавить въ себѣ ревность или помириться со скорбною долею бездѣтной семьи. До такой степени все это трудно гр. Л. Толстому, что, повидимому, ему и въ голову до сихъ поръ ничего подобнаго не приходило; онъ вездѣ и всегда предполагалъ тѣ самыя семейныя начала, какія привыкъ видѣть вблизи себя...

VII.

Нужны ли для народа особенныя науки и искусства.

I.

Ни въ чемъ не проявляется такъ ясно и наглядно наше дикое невѣжество, сквозящее иногда изъ подъ самаго блестящаго лоска поверхностной образованности, какъ въ рабскомъ повергапіи ницъ передъ каждымъ мало-мальски прославившимся человѣкомъ, безпрекословномъ подчиненіи передъ его авторитетомъ, доходящемъ порою до полнаго самоуничтоженія и умопомраченія. На западѣ великіе люди почитаются, можетъ быть, болѣе еще, чѣмъ у насъ, но каждый изъ нихъ цѣнится не иначе, какъ лишь въ предѣлахъ своего величія, именно, за то, чѣмъ человѣкъ великъ. Никому въ голову не придетъ, на томъ основаніи, что Гёте создалъ Фауста, назначить его

вдругъ предводителемъ войска или отъ него-же ожидать разрѣшенія какого нибудь философскаго вопроса. Поэтому и великіе люди на западѣ скромнѣй подвизаются на своихъ спеціальныхъ поприщахъ, не изъявляютъ ни малѣйшихъ претензій на всезнайство и всемогущество и не являются готовыми съ апломбомъ непогрѣшимаго божества и съ легкостью серны порхать по всѣмъ вопросамъ науки и жизни.

У насъ-же это дѣлается не такъ. У насъ стоитъ человѣку пріобрѣсти популярность за что нибудь одно и сейчасъ на него начинаютъ смотрѣть, какъ на всеобъемлющее божество, способное сегодня написать геніальное произведеніе, завтра одержать морскую побѣду, послѣ завтра создать новую религію, а главное дѣло — каждое слово его внимается съ благоговѣніемъ, въ каждомъ изреченіи его видятъ непреложную истину и бездонную глубину премудрости. Зато и великіе люди у насъ, въ свою очередь, суются со своими геніальными носами куда имъ вздумается, и рады приняться за что угодно. За примѣрами ходить недалеко. Стоило, напримѣръ, одному нашему великому человѣку прославиться, какъ хорошему хирургу, и затѣмъ въ счастливый моментъ подъема общественнаго духа написать маленькую статеечку, въ которой обмолвиться нѣсколькими тепленькими, но крайне общими и неопредѣленными фразами относительно пользы просвѣщенія,—и вотъ его, отъ роду никогда не занимавшагося педагогіею, кромѣ развѣ обычныхъ дешовыхъ уроковъ въ студенческіе годы, дѣлаютъ вдругъ попечителемъ учебнаго округа, подобострастные россіяне начинаютъ повергаться ницъ передъ каждымъ его педагогическимъ изреченіемъ, и не малаго труда стоило литературѣ разубѣдить ихъ въ непогрѣшимости этого педагогическаго кумира, когда онъ началъ доказывать нѣчто въ родѣ, если не пользы, то, во всякомъ случаѣ, неизбѣжности розогъ. — Возьмите вы другой примѣръ — генерала Скобелева.—Стоило пріобрѣсти ему популярность въ качествѣ побѣдоноснаго полководца и храбраго воина, и подобострастные россіяне начали уже благоговѣйно внимать каждому его сужденію о разныхъ политическихъ и соціальныхъ вопросахъ, и еслибы судьба продлила его годы, я не сомнѣваюсь, что нынѣ онъ успѣлъ-бы уже создать какое-нибудь собственное свое мірообъемлющее ученіе и навѣрное имѣлъ-бы тысячи адептовъ и поклонниковъ.

Но чего не успѣлъ Скобелевъ по случаю своей преждевременной смерти, то съ большимъ успѣхомъ совершилъ гр. Л. Толстой, которому стоило только написать «Войну и миръ» и «Анну Каренину» для того, что-бы пріобрѣсти право на безапелляціонное рѣшеніе всѣхъ вопросовъ жизни и смерти, и я ни мало не буду удивленъ, если въ одинъ прекрасный день гр. Л. Толстой вдругъ объявитъ себя непогрѣшнымъ діагностомъ по всѣмъ внутреннимъ и наружнымъ болѣзнямъ; повѣрьте, что сначала вся Москва, а за нею и вся Россія, покинувъ и Боткина, и Захарьина, и прочія медицинскія свѣтила, бросятся къ этому новоявленному цѣлителю недуговъ.— «Помилуйте,—скажутъ,—у кого-же и лечиться, если не у гр. Л. Толстого?».

II.

Избалованные подобнымъ поклоненіемъ, наши великіе люди поневолѣ дѣлаются такими самодурами, подобныхъ которымъ вы не сыщете на всемъ бѣломъ свѣтѣ. Можно положительно сказать, что для нихъ не существуетъ никакихъ законовъ—ни божескихъ, ни человѣческихъ; они сочиняютъ свои собственные новые законы; на то они и великіе люди, а ваше дѣло внимать имъ и подчиняться. Вы, напримѣръ, думаете, что рѣки текутъ сверху внизъ, а великому человѣку придетъ вдругъ въ голову, что онѣ текутъ снизу кверху,—и, не смотря на всю очевидность, не смотря на всѣ доводы разума и доказательства науки, великій человѣкъ съ упрямствомъ Кита Китыча будетъ твердить, не переставая:—«рѣки текутъ къ верху, рѣки текутъ къ верху!», и не только массы простыхъ смертныхъ, но и патентованныя свѣтила науки начнутъ сомнѣваться: «А что какъ, и въ самомъ дѣлѣ, рѣки-то текутъ кверху? На какомъ-нибудь основаніи да началъ-же утверждать эту истину столь великій умъ!».

Оттого и случается обыкновенно такъ, что у нашего великаго человѣка хватаетъ геніальности лишь на то, чтобы прославиться и сдѣлаться популярнымъ, а затѣмъ онъ начинаетъ съ каждымъ годомъ все болѣе и болѣе совершать нѣчто

совершенно несообразное, стараясь въ качествѣ генія ходить на головѣ, ѣсть ногами, слушать глазами, смотрѣть носомъ; да и къ чему сталъ-бы онъ поддерживать свое величіе новыми усиліями и трудами, когда онъ увѣренъ, что что-бы онъ такое ни сморозилъ, хотя бы и совершенно безсмысленное, всему этому будутъ апплодировать и ахать.

Вотъ, напримѣръ, гр. Л. Толстой: мы нисколько не удивимся, если завтра-же изъ-за своего высокомѣрнаго презрѣнія къ «научной наукѣ» онъ начнетъ доказывать намъ, что солнце ходитъ вокругъ земли и что дважды два—стеариновая свѣчка; и отчего-же ему не доказывать этого, если не только какія-нибудь слезливыя барыни съ идеальными воздыханіями тотчасъ-же повѣрятъ ему на слово, но и г. Оболенскій въ своемъ научномъ журналѣ начнетъ тотчасъ распинаться, подтверждая, что дѣйствительно солнце ходитъ вокругъ земли и дважды два стеариновая свѣчка. Вѣдь вотъ посмотрите, до чего дошелъ сей неусыпный стражъ наукъ въ своемъ пресмыканіи передъ гр. Л. Толстымъ. Казалось-бы, что развѣ не такая-же очевидная для каждаго ребенка и вѣковѣчная аксіома, какъ дважды два четыре, слѣдующее хотя-бы положеніе, высказанное впервые Кондорсэ и затѣмъ подтверждаемое Контомъ— что не стремленіе къ тѣмъ или другимъ полезнымъ изобрѣтеніямъ приводитъ ученыхъ къ изслѣдованію законовъ природы, а, напротивъ того, изученіе этихъ законовъ ведетъ за собою изобрѣтенія? Возьмемъ хотя-бы всѣ тѣ многочисленныя примѣненія, которыя въ послѣдніе годы сдѣланы на счетъ электричества.—Очевидно, что всѣ эти примѣненія только тогда и сдѣлались возможны, когда наука настолько изслѣдовала законы этой силы, что доставила людямъ возможность извлекать ее изъ природы, возбуждать и направлять, сообразно своимъ цѣлямъ. Раньше-же этого наука не могла и предвидѣть, къ чему приведутъ ея изслѣдованія. Могли-ли Вольтъ или Гальвани, дѣлая свои опыты, напередъ знать, что эти опыты въ результатѣ своемъ лѣтъ черезъ 50, черезъ 100 поведутъ за собою изобрѣтеніе телеграфовъ, телефоновъ и т. п. Очевидно, имъ и не снилось ничего подобнаго да и не могло сниться; дальше громоотводовъ они не шли въ своихъ предположеніяхъ о пользѣ электричества; но это не мѣшало имъ сдѣлать массу изслѣдованій и опытовъ, не имѣвшихъ ничего

общаго съ громоотводами и въ то-же время не заключавшихъ въ себѣ никакихъ сознательныхъ и предвзятыхъ утилитарныхъ цѣлей, изслѣдованій вполнѣ въ духѣ чистой науки, но которые, тѣмъ не менѣе, привели къ самымъ богатымъ и совершенно неожиданнымъ результатамъ въ техническомъ отношеніи. Такъ точно и въ настоящее время можемъ-ли мы стремиться изобрѣсти что-либо, если мы не знаемъ тѣхъ законовъ, изъ которыхъ вытекло-бы это изобрѣтеніе? Очевидно, что мы не только не можемъ стремиться, но и представить себѣ не въ состояніи, какого рода будетъ это изобрѣтеніе. Думать иначе—все равно, что стараться поцѣловать себя въ спину или заказать себѣ увидѣть тотъ или другой сонъ. На этомъ основаніи Кондорсэ и сказалъ, что «наука только тогда можетъ быть полезна жизни, когда она совсѣмъ о ней забываетъ, и, наоборотъ, едва она начинаетъ заботиться о жизни, она гибнетъ не только какъ наука теоретическая, но и какъ практическая». Контъ-же подтвердилъ эту мысль Кондорсэ, говоря, что въ огромномъ большинствѣ случаевъ наука приносила практическую пользу только тогда, когда о ней совершенно не заботились, а увлекались только теоретическими умозрѣніями.

Если эти утвержденія Кондорсэ и Конта мы можемъ признать не совсѣмъ вѣрными, то развѣ въ одномъ только отношеніи: невѣрно здѣсь то, что будто наука, задающаяся предвзятыми утилитарными цѣлями, гибнетъ и какъ теоретическая наука, и какъ техника. Нѣтъ, она не гибнетъ, но путь отъ теоріи къ практикѣ, все-таки, остается до такой степени единственнымъ и неизбѣжнымъ, что даже, когда люди мечтаютъ идти по иному пути, они, все-таки, сами того не сознавая, идутъ все по той-же дорогѣ. Задаваясь предвзятыми утилитарными цѣлями, они начинаютъ изслѣдовать законы природы сообразно этимъ цѣлямъ, увлекаются затѣмъ изслѣдованіями совершенно уже безкорыстно и приходятъ вдругъ къ результатамъ совершенно неожиданнымъ; является не одно, а нѣсколько изобрѣтеній, о которыхъ прежде и не мечтали. Такъ, въ средніе вѣка наука имѣла строго утилитарный характеръ; занимались ею исключительно для того, чтобы научиться дѣлать золото или элексиръ безсмертія; но на пути къ этимъ предвзятымъ цѣлямъ наткнулись на массу открытій, которыя повели къ драгоцѣннымъ изобрѣтеніямъ, не имѣвшимъ ничего

общаго съ первоначальными цѣлями, и увидѣли такимъ образомъ, что шли совсѣмъ не тѣмъ путемъ, какимъ воображали идти, а все тѣмъ-же переходомъ отъ неожиданныхъ открытій къ непредвидѣннымъ изобрѣтеніямъ.

III.

И вотъ, можете себѣ представить, противъ этой-то, именно, азбучной аксіомы и вооружается вдругъ г. Оболенскій, преклоняясь передъ идеями гр. Л. Толстого. Въ этой аксіомѣ ему мерещатся отрѣшеніе науки отъ жизни и увлеченіе ея отвлеченно-умозрительными цѣлями. Наука, по его мнѣнію, должна непосредственно служить жизни, а такъ какъ науки бываютъ разныя и не каждая изъ нихъ можетъ сейчасъ-же въ одинъ мигъ преподнесть вамъ лапоть или калачъ, то опять таки мы приходимъ все къ тому же вопросу, какимина уками намъ заниматься, а какія презрѣть. По крайней мѣрѣ, иначе мы никакъ не можемъ понять слѣдующей хотя-бы выдержки изъ трактата гр. Л. Толстого, приводимой г. Оболенскимъ въ подтвержденіе своихъ мыслей:

«Область знанія, вообще, всего человѣчества такъ многообразна—отъ знанія, какъ добывать желѣзо, до знанія движенія свѣтилъ,—что человѣкъ теряется въ этой моогочисленности существующихъ знаній и въ безконечности возможныхъ знаній, если у него нѣтъ руководящей нити, по которой-бы онъ могъ располагать эти знанія, распредѣлить ихъ по степени ихъ значенія и важности. Прежде, чѣмъ человѣкъ познаетъ что-бы то ни было, онъ долженъ рѣшить, что этотъ предметъ познанія важенъ для него и важнѣе, и нужнѣе, чѣмъ тѣ другіе безчисленные предметы познанія, которыми онъ окруженъ. Прежде, чѣмъ изучить что нибудь, человѣкъ рѣшаетъ, для чего онъ изучаетъ этотъ предметъ, а не остальные. Изучать же все, какъ проповѣдуютъ въ наше время люди научной науки, безъ соображенія о томъ, что выйдетъ изъ этого изученія, прямо невозможно, потому что число предметовъ изученія безконечно...»

И такъ, какъ видите, число предметовъ изученія безконечно, изучать все невозможно, нужно выбрать, что поважнѣе

и понужнѣе; ну, а прочее все, конечно, отбросить. И опять-таки мы спрашиваемъ у г. Оболенскаго, какія науки прикажетъ онъ намъ выкинуть за бортъ? Астрономію, напримѣръ, съ ея химическимъ (!!) изслѣдованіемъ млечнаго пути, можно намъ изучать, или-же не прикажетъ-ли намъ г. Оболенскій, въ компаніи съ гр. Л. Толстымъ, раздѣлять вѣрованія народа о трехъ китахъ?

Впрочемъ, по нѣкоторымъ выдержкамъ изъ гр. Л. Толстого мы можемъ до нѣкоторой степени составить понятіе о томъ, какого рода науки допускаетъ графъ, а за нимъ и г. Оболенскій, и что, вообще, они подразумѣваютъ подъ тѣмъ научнымъ утилитаризмомъ, какой они проповѣдуютъ. «Всѣ вопросы о томъ,—говоритъ гр. Л. Толстой на 309 стр. т. XII своихъ сочиненій:—какъ лучше раздѣлять время труда, какъ лучше питаться, чѣмъ, въ какомъ видѣ, когда, какъ лучше одѣваться, обуваться, противодѣйствовать холоду, какъ лучше мыться, кормить дѣтей, пеленать, *именно, въ тѣхъ условіяхъ, въ которыхъ находится рабочій народъ*,—всѣ такіе вопросы еще и не поставлены...». Далѣе (тамъ-же, стр. 307): «Техникъ умѣетъ вычислить высшей математикой дугу моста, вычислить силу и передачу двигателя и т. п., но передъ простыми запросами народнаго труда онъ становится въ тупикъ: какъ улучшить соху, телѣгу, какъ сдѣлать проѣзднымъ ручей, *все это въ тѣхъ условіяхъ жизни, въ которыхъ находится рабочій*,—онъ ничего этого не знаетъ и не понимаетъ. Дайте ему мастерскую, народу всякаго въ волю, выписку машинъ изъ-за границы, тогда онъ распорядится. *А при данныхъ условіяхъ труда милліоновъ людей* найти средства облегчить этотъ трудъ,—этого онъ ничего не знаетъ и не можетъ, и по своимъ знаніямъ, и привычкамъ, и требованіямъ отъ жизни не годится для этого дѣла». Далѣе, на 308 стр.: «Наука вся пристроилась къ богатымъ классамъ и своей задачей ставитъ, какъ лечить тѣхъ людей, которые все могутъ достать себѣ, а потомъ посылаетъ лечить тѣхъ, у которыхъ нѣтъ ничего лишняго—тѣми-же средствами». И, наконецъ, на стр. 312 гр. Л. Толстой говоритъ: «Служеніе народу науками и искусствами будетъ только тогда, когда люди живутъ среди народа, и, какъ народъ, *не заявляя никакихъ правъ*, будутъ предлагать ему свои научныя и художественныя услуги, принять или не

принять которыя будетъ зависѣть отъ воли народа». Я нарочно привелъ всѣ тѣ мѣста, на которыя, главнымъ образомъ, опирается г. Оболенскій. Что-же мы здѣсь видимъ? Мы видимъ порицаніе науки, повидимому, на такихъ почтенныхъ и высокихъ основаніяхъ, какъ народное благо и польза; наука отрицается на томъ основаніи, что она пристроилась къ богатымъ классамъ; истинный ученый, другъ народа, долженъ идти въ его среду и работать непосредственно въ видахъ его насущныхъ нуждъ. Но вдумайтесь пристальнѣе во всѣ приведенныя нами мѣста и вы увидите, какая бездна возмутительнаго лицемѣрія скрывается здѣсь подъ высокими и сердобольными фразами о народномъ благѣ.

Гигіена, напримѣръ, доказываетъ, что для здоровья необходимо, чтобы на каждаго человѣка приходилось столько-то кубическихъ футовъ воздуха. Но такъ какъ только одни богатые могутъ пользоваться этими благами, то оказывается, что наука служитъ для однихъ богатыхъ классовъ; что-же касается до бѣдныхъ классовъ, то вмѣсто того, чтобы позаботиться о томъ, чтобы и ихъ снабдить, согласно указаніямъ гигіены, необходимымъ количествомъ воздуха, мы начинаемъ возмущаться на гигіену, зачѣмъ она не служитъ народу, не сообразуется съ настоящими условіями его жизни, а пребываетъ въ отвлеченныхъ сферахъ; чтобы сдѣлаться вполнѣ утилитарной, она должна снизойти къ народу и, вмѣсто того, чтобы внушать ему чрезмѣрныя требованія о правахъ на такое-же количество кубическихъ футовъ воздуха, какими пользуется гр. Л. Толстой, должна научить его обходиться совсѣмъ безъ воздуха. Наука создала рядъ полезнѣйшихъ земледѣльческихъ машинъ, которыя и въ Америкѣ, и въ Европѣ значительно облегчаютъ тяжесть сельскихъ трудовъ. Казалось-бы, что и при нынѣшнемъ, далеко не блистательномъ экономическомъ положеніи, народъ, еслибы былъ вооруженъ самыми небольшими знаніями, могъ-бы уже пользоваться этими машинами, покупая ихъ въ складчину цѣлыми волостями. Но оказывается, что и машины эти пріобрѣтены не для народа, а для гр. Л. Толстого. Ревнуя-же о народномъ благѣ, ученый поступитъ какъ нельзя лучше, если забудетъ всѣ свои механическія премудрости, а пойдетъ въ деревню и тамъ займется кое-какимъ усовершенствованіемъ патріархальной прародительской сохи

или приладить какой-нибудь лишній винтикъ къ телѣгѣ: для мужика и этого довольно... Для насъ съ вами хина и карлсбадскія воды, а мужикъ и отъ ивовой коры выздоровѣетъ, зачѣмъ ему Маріенбадъ!

Понимаете-ли теперь, почему наши ревнители народнаго блага такъ не любятъ науки? Потому, что наука ставитъ свои вопросы ребромъ; ея указанія обязательны для всѣхъ людей безъ различія, ея изобрѣтенія направлены къ тому, чтобы осчастливить все человѣчество. Наши-же ревнители народнаго блага хотятъ, чтобы ученые ломали головы надъ тѣмъ, какъ бы создать такую науку, чтобы она служила народу непремѣнно при тѣхъ условіяхъ, при которыхъ онъ существуетъ, не смѣя и думать о какихъ-либо измѣненіяхъ этихъ условій, однимъ словомъ—помогала мужику дышать безъ воздуха въ затхлой дымовкѣ, питаться безъ хлѣба, работать непремѣнно первобытными орудіями временъ Микулы Селяниновича и никакими другими. Однимъ словомъ, гр. Л. Толстой предписываетъ наукѣ идти той-же дорогою, какою онъ самъ идетъ на поприщѣ искусства. Онъ рѣшилъ, что художникъ, въ свою очередь, долженъ служить исключительно народу. Что можетъ быть выше такого рѣшенія? Но на практикѣ оказалось вдругъ, что изъ столь благороднаго рѣшенія вовсе не послѣдовало, чтобы для народа началъ создавать гр. Л. Толстой произведенія, равносильныя по своему художественному значенію прежнимъ его твореніямъ. Нѣтъ, и здѣсь оказалось, что для насъ съ вами—«Война и миръ», «Анна Каренина», а для мужика, о—для него за глаза довольно нѣсколькихъ наскоро состряпанныхъ побасенокъ съ чудесами, чертями и грошевою моралью.

IV.

Всѣ подобныя радѣнія о народномъ благѣ весьма напоминаютъ намъ помѣщичьи проекты освобожденія крестьянъ, во множествѣ предлагавшіеся правительству въ 40-е и 50-е годы. В. И. Семевскій въ XV главѣ своего трактата «Крестьянскій вопросъ въ царствованіе Императора Николая» приводитъ нѣсколько такихъ проектовъ. Всѣ они имѣютъ одинъ и тотъже характеръ. Повсюду разсыпаны такія высокія и громкія

фразы о необходимости великихъ жертвъ, объ избавленіи народа, стонущаго подъ ненавистнымъ игомъ рабства, отъ его вѣковыхъ цѣпей, повсюду радѣнія о его счастіи и благосостояніи, — и въ концѣ концовъ, все сводится къ нулю и остается то-же крѣпостное право, только нѣсколько замаскированное, или предлагаются такія мѣры къ его постепенному уничтоженію, при которыхъ эмансипація могла-бы совершиться не менѣе, какъ въ тысячу лѣтъ.

Кстати В. И. Семевскій сообщаетъ въ своей статьѣ весьма любопытныя свѣдѣнія о положеніи крестьянъ передъ освобожденіемъ въ имѣніяхъ гр. Л. Толстого. Мы не имѣемъ охоты судить гр. Л. Толстого, какъ человѣка, но не можемъ на этотъ разъ воздержаться и не привести выдержки изъ статьи В. И. Семевскаго, такъ какъ, по нашему мнѣнію, выдержка эта даетъ намъ отличный ключъ къ уразумѣнію взглядовъ гр. Л. Толстого на науку и искусство въ связи съ народнымъ благомъ. Вотъ это мѣсто въ статьѣ В. И. Семевскаго.

Приводя содержаніе гр. Л. Толстого «Утро помѣщика», В. И Семевскій говоритъ: «Мы не считаемъ себя вправѣ придавать этому разсказу гр. Л. Н. Толстого автобіографическаго значенія *), но данныя изъ жизни знаменитаго автора этой повѣсти приводятъ къ печальному выводу о несостоятельности той части интеллигенціи, которая сознала неправильность своихъ отношеній къ крестьянамъ, но думала исправить зло не освобожденіемъ своихъ крестьянъ на такихъ условіяхъ, чтобы имъ не приходилось жаловаться на малоземелье, а лишь нѣкоторымъ улучшеніемъ ихъ быта. Въ одномъ изъ своихъ послѣднихъ сочиненій («Такъ что-жь намъ дѣлать»?) гр. Л. Н. Толстой говоритъ:—«Когда я былъ рабовладѣльцемъ и понялъ безнравственность своего положенія, я старался избавиться отъ него. Избавленіе-же мое состояло въ томъ, что я старался какъ можно менѣе предъявлять своихъ правъ рабовладѣльца,

---

*) Выйдя со второго курса юридическаго факультета, гр. Л. Н. Толстой прожилъ вторую половину сороковыхъ годовъ въ доставшейся ему, по раздѣлу, деревнѣ Ясной-Полянѣ (отецъ его умеръ въ 1837 году, и съ того времени до раздѣла имѣніе находилось въ опекунскомъ правленіи). Въ 1851 г. гр. Л. Н. Толстой уѣхалъ на Кавказъ и тамъ, въ 1859 г., написалъ „Утро помѣщика».

а жить и оставлять людей жить такъ, какъ-будто этихъ правъ не существовало». — Сравнимъ это заявленіе автора съ показаніями, данными въ 1859 г. имъ самимъ или, быть можетъ, его управляющимъ, по требованію ревизіонныхъ коммисій.

«Въ извѣстномъ имѣніи гр. Л. Н. Толстого, сельцѣ Ясной Полянѣ съ деревнями крапивенскаго уѣзда, тульской губерніи, было въ то время 204 души кр. мужск. пола, 41 душа мужскаго пола дворовыхъ. Крестьяне были на оброкѣ и платили по 30 р. съ тягла; удобной земли на душу они имѣли по 2,82 дес. Оказывается, что по размѣру надѣла имѣніе гр. Л. Толстого принадлежало къ среднимъ, но по величинѣ оброка было выше средняго уровня: изъ 25 имѣній этого уѣзда, вполнѣ или частью бывшихъ на оброкѣ и въ которыхъ намъ извѣстенъ его размѣръ, въ 17 оброкъ былъ ниже, а именно, отъ 13 до 25 р. съ тягла, въ двухъ онъ измѣнялся отъ 20 до 30 р. съ тягла, въ четырехъ (въ томъ числѣ и Ясной Полянѣ) равнялся 30 р. и только въ двухъ былъ выше (33 и 35 р.). Не слѣдуетъ думать, что низшіе оброки всегда совпадаютъ съ меньшимъ размѣромъ надѣла; въ одномъ изъ имѣній, гдѣ крестьяне платили всего по 13 р. съ тягла, они имѣли по 3,04 дес. на душу, т. е. болѣе чѣмъ у гр. Л. Толстого, въ другомъ, гдѣ платили по 14 р. 30 к. съ тягла, имъ было отведено даже по 4,58 дес. на душу. Такимъ образомъ, огромный оброкъ въ имѣніи гр. Л. Толстого не можетъ быть извиняемъ размѣрами надѣла, а прибавить земли было изъ чего, такъ какъ за помѣщикомъ оставалось ея столько, что при отводѣ всей ея крестьянамъ пришлось бы еще по 3,55 дес. на душу. Въ другомъ имѣніи гр. Л. Н. Толстого, суджанскаго уѣзда, курской губерніи, которымъ онъ владѣлъ не одинъ, а вмѣстѣ съ двумя братьями, мы также не видимъ особыхъ стараній объ улучшеніи положенія крѣпостныхъ: здѣсь крестьяно *состояли на барщинѣ* и, притомъ, имѣли всего по 1,26 дес. удобной земли на душу и еще по 3 воза сѣна на тягло, въ томъ числѣ пахатной земли числилось всего по 1,09 дес. на душу, что было значительно ниже средняго уровня остальныхъ имѣній этого уѣзда».

В. И. Семевскій очень ядовито относится къ этому факту жизни гр. Л. Н. Толстого и видитъ здѣсь противорѣчіе между дѣломъ и словомъ, особенно же современными словами гр. Л.

Толстого. Я-же никакого противорѣчія здѣсь не нахожу, а, напротивъ, вижу строгую послѣдовательность: подобно тому, какъ нынѣ гр. Л. Толстой проповѣдуетъ, что служить народу, помогать ему мы должны ухитряться такъ, чтобы это было въ предѣлахъ условій его быта безъ малѣйшихъ покушеній на улучшеніе этихъ условій, такъ и прежде онъ держался того правила, чтобы отнюдь не облегчать условій жизни народа,—и не облегчалъ.

VIII.

Нападки г. Оболенскаго на критиковъ гр. Л. Толстаго и достоинство его собственныхъ полемическихъ пріемовъ.

I.

Есть полемика и есть полемика. Есть полемика честная, заключающаяся въ открытой борьбѣ мнѣній, при чемъ противники не касаются личностей другъ друга, не залѣзаютъ никуда въ сторону и не употребляютъ никакихъ дрянныхъ пріемовъ, имѣющихъ цѣлью дискредитировать противника, обойдя его сзади, а ограничиваются тѣмъ, что каждый отстаиваетъ свое мнѣніе исключительно одними научными или діалектическими способами. И есть полемика столь же предосудительная, какъ и та школьная борьба, въ которой борцы стараются повалить другъ друга не одною силою мышцъ, а разными злоухищреніями, въ родѣ такъ называемыхъ «подножекъ» и т. п.

Вы, напримѣръ, спорите съ кѣмъ-нибудь объ Александрѣ Баттенбергѣ, доказывая, что онъ ничтожный проходимецъ, желавшій лишь наловить рыбки въ мутной водѣ. И вдругъ на всѣ ваши доводы противникъ вашъ, съ пѣною у рта доказывающій, что Ал. Баттенбергъ—герой,—возражаетъ вамъ, что вы совсѣмъ некомпетентны въ этомъ спорѣ, что онъ и спорить съ вами не намѣренъ, такъ какъ вы не знаете грамматики. Послѣ такого страннаго возраженія противника вамъ остается

только вытаращить глаза и спросить его, что онъ хочетъ сказать этимъ?

— Да какъ-же,—отвѣчаетъ вашъ противникъ: можете-ли вы имѣть основательныя данныя для утвержденія, что за человѣкъ—Александръ Баттенбергъ, если вы настолько невѣжественны, что слово Баттенбергъ произносите черезъ одно *т*.

— Положимъ, вы ошибаетесь,—возражаете вы: я произношу слово Баттенбергъ черезъ два *т*,—но какое же отношеніе имѣетъ это къ нашему спору?

— А такое, что я самъ своими ушами слышалъ, какъ вы все время произносили Батенбергъ, а не Баттенбергъ, и только послѣ моего уже указанія въ послѣдній разъ изволили произнесть—Баттенбергъ, и это показываетъ въ васъ не только невѣжественность, а и недобросовѣстность, такъ какъ вы, воспользовавшись моимъ указаніемъ на вашу грамматическую ошибку, отрекаетесь отъ нея. А разъ добросовѣстность и честность на моей сторонѣ, а не на вашей, то, слѣдовательно, на моей сторонѣ и правда; ergo—Ал. Баттенбергъ—герой.

Извольте спорить съ кѣмъ-либо на такой почвѣ. Къ сожалѣнію, у насъ всѣ полемики постоянно принимаютъ, въ концѣ-концовъ, подобный оборотъ.

II.

Вотъ и г. Оболенскій идетъ по тому же доблестному пути. Въ августовской книжкѣ своего «Русскаго Богатства» 1886 г., онъ снова полемизируетъ со мною по поводу идей гр. Л. Толстого, имѣя въ виду мой фельетонъ въ № 180 «Новостей». Въ фельетонѣ этомъ, я, между прочимъ, занялся защитою мнѣній Кондорсэ и Конта объ отношеніи чистыхъ наукъ къ прикладнымъ, противъ нападокъ на эти мнѣнія г. Оболенскаго. Съ цѣлью этой защиты я привелъ сначала мнѣнія Кондорсэ, а потомъ и говорю: «*и вотъ, можете себѣ представить, противъ этой-то, именно, азбучной аксіомы вооружается вдругъ г. Оболенскій, преклоняясь передъ идеями гр. Л. Толстого*». Уже изъ однихъ этихъ словъ, казалось-бы, ясно можно заключить, что дѣло идетъ здѣсь ни о чемъ иномъ, какъ о мнѣніи Кондорсэ, противъ котораго г. Оболенскій вооружается.

И вдругъ г. Оболенскій возражаетъ мнѣ на это, будто, вотъ я какой безчестный и недобросовѣстный человѣкъ: «*взялъ изъ его-же статьи единственный противъ него аргументъ (мнѣніе Кондорсэ), не упомянувъ даже объ этомъ*»!

Какое-же тутъ еще вы хотите упоминаніе, когда все дѣло идетъ именно о мнѣніи Кондорсэ, которое г. Оболенскій опровергаетъ, замѣняя его своимъ собственнымъ, а я стараюсь его защитить и опровергнуть мнѣнія г. Оболенскаго,—и вдругъ я попалъ въ какіе-то воры. И выходитъ, что вашъ противникъ утверждаетъ, будто Баттенбергъ герой. Вы ему возражаете: «Баттенбергъ герой? это отчего»? А вашъ противникъ въ отвѣтъ на это вамъ вдругъ сыплетъ:—«Вы повторяете мои слова, не упоминая, что они мои? Какой-же вы послѣ этого воръ»!

Съ чѣмъ-же можно сравнить подобную полемику, какъ не съ стараніемъ повалить противника «подножки?»

III.

А главное дѣло въ томъ, что я до сихъ поръ никакъ не могу понять, противъ чего споритъ г. Оболенскій, изъ-за чего онъ такъ рьяно копья ломаетъ? Вѣдь, если вдуматься внимательнѣе во всѣ доводы и возраженія г. Оболенскаго и всмотрѣться во всѣ перипетіи спора, то окажется, что между нимъ и его противниками вовсе нѣтъ какого-либо такого радикальнаго разногласія, которое оправдывало-бы полемику, что, въ сущности, спорить ему вовсе не изъ чего, а онъ вотъ что дѣлаетъ: приписываетъ своимъ противникамъ такія мнѣнія и такія побужденія, о которыхъ имъ и не снилось, да потомъ возражаетъ противъ этихъ мнимыхъ заблужденій доводами, которые беретъ изъ арсенала своихъ же противниковъ. Въ концѣ концовъ, бѣднымъ противникамъ, прибитымъ къ стѣнѣ, только и остается, что, открещиваясь отъ тѣхъ обвиненій, которыя Оболенскій на нихъ возводитъ, обѣими руками подписываться подъ весьма многими изъ его горячихъ возраженій. Спрашивается, къ чему же онъ все это дѣлаетъ?

Такъ, напримѣръ, на стр. 127, въ № VIII «Р. Б.» онъ говоритъ: «нѣкоторые критики по поводу Толстого распространяются о другомъ противоположномъ злѣ, объ излишнемъ ханжествѣ публики передъ геніями. Такъ, Скабичевскій

говоритъ: «у насъ Скобелева, за то, что онъ великій воинъ, считали способнымъ быть и великимъ политикомъ, а Толстого за то, что онъ великій художникъ, считаютъ способнымъ быть и великимъ философомъ». Да, скажемъ мы, это большое зло, и слѣдуетъ разсматривать идеи человѣка по существу, а не потому, что онъ геній. Но, однако, на такое предубѣжденіе въ пользу геніевъ-художниковъ есть и основанія: напримѣръ, тотъ-же Скабичевскій (черезъ два фельетона послѣ того, что выше написано, и, вѣроятно, забывъ, что онъ писалъ о нелѣпости ожиданія отъ геніальныхъ художниковъ хорошей философіи), пишетъ въ «Новостяхъ» отъ 9-го августа: «Нельзя быть геніальнымъ художникомъ, не будучи широко образованнымъ и мыслящимъ человѣкомъ». Но отсюда прямой выводъ, что отъ каждаго геніальнаго художника можно ожидать по меньшей мѣрѣ интересныхъ идей, разъ онъ въ то-же время не можетъ не быть широко мыслящимъ и образованнымъ человѣкомъ. Подобныя противорѣчія у Скабичевскаго, когда дѣло идетъ о Толстомъ, представляютъ любопытное психологическое значеніе: относительно геніевъ умственное рабство сказывается въ двухъ противуположныхъ формахъ: одни раболѣпствуютъ, а другіе, наоборотъ, стараются дѣлать видъ, что вовсе имъ не увлечены, что у нихъ достаточно собственнаго ума, чтобы къ генію относиться критически, и опи лѣзутъ изъ кожи вонъ, чтобы уловить у него какую-нибудь ошибочку, противорѣчіе, и при этомъ часто впадаютъ въ невозможныя нелѣпости» и т. д.

Надо замѣтить, что въ связи съ этимъ нѣсколько выше, г. Оболенскій не одного меня, а и всю русскую критику обвиняетъ въ особеннаго рода мыслебоязни, заключающейся въ томъ, что мы до такой степени не привыкли къ возникновенію у насъ оригинальныхъ мыслителей, теоретиковъ, творцовъ философскихъ и моральныхъ системъ, до такой степени привыкли жить мыслью массовою, стадной или-же заимствованной, что появленіе малѣйшей оригинальности, малѣйшаго отступленія отъ шаблоннаго цикла либеральныхъ или консервативныхъ идей, къ которымъ мы привыкли, кажется намъ чуть не свѣтопреставленіемъ... «Отъ этого,—говоритъ г. Оболенскій (стр. 123): наша критика представляетъ совершенную противуположность европейской: тамъ знаютъ цѣну плодамъ

оригинальнаго творчества и умѣютъ мириться съ странностями и даже абсурдами геніевъ, выбираютъ полезное и цѣнное, что они даютъ человѣчеству; тамъ понимаютъ, что безъ творческой оригинальности прогрессъ остановился-бы и мысль обратилась-бы въ китайскій застой, а потому и не пугаются экстравагантностей, присущихъ всякой оригинальности. У насъ критика понимала это лишь въ моментъ подъема нашей мысли, въ 60-хъ годахъ, когда имѣла въ литературѣ людей глубоко и всесторонне-образованныхъ. Одинъ изъ нихъ въ своемъ знаменитомъ публицистическомъ романѣ выразилъ устами героя слѣдующую мысль: «гораздо полезнѣе и интереснѣе прочитать толкованіе помѣшавшагося, но геніальнаго Ньютона на Апокалипсисъ, чѣмъ сотни книгъ, пережевывающихъ чужія мысли». Теперешняя наша критика, вмѣсто того, чтобы идти по стопамъ европейской и умѣть извлекать пользу изъ геніальнаго творчества, умѣетъ исполнять лишь одну роль,—роль критики средневѣковой Европы, такой критики, какой подвергли Джордано Бруно, Галилея, т. е. она стремится только показать, въ чемъ писатель отступилъ отъ шаблона (либеральнаго или консервативнаго) и затѣмъ сыплетъ на него прокурорскіе громы отъ имени либерализма или консерватизма, смотря по своей принадлежности къ тому или другому лагерю».

IV.

Но, во-первыхъ, подумайте, есть ли хотя какое-нибудь противорѣчіе между двумя моими фельетонами, на которые указываетъ г. Оболенскій: въ одномъ изъ нихъ говорится о томъ, что смѣшно предполагать, будто великій художникъ долженъ быть мастеръ на всѣ руки и ожидать отъ него, чтобъ онъ былъ такимъ же великимъ полководцемъ или основателемъ новой религіи, а въ другомъ утверждается, что какой бы ни былъ талантъ у художника, онъ никогда не сдѣлается великимъ, если не будетъ заботиться о своемъ образованіи. Я полагаю, что эти двѣ одинаково справедливыя истины могутъ преспокойно ужиться рядомъ, нисколько одна другую не опровергая, тѣмъ болѣе, что между ними нѣтъ ничего общаго, никакихъ точекъ соприкосновенія. Не имѣя между собою разногласія по существу, обѣ эти истины могутъ въ равной степени быть

отнесены къ гр. Л. Толстому опять-таки безъ малѣйшаго противорѣчія. Такъ, мы имѣемъ полное право сказать, что изъ гр. Л. Толстого никогда не выработался бы великій художникъ, если бы онъ не позаботился о своемъ образованіи, а что онъ о немъ заботился и продолжаетъ заботиться, это мы можемъ заключить и изъ его художественныхъ произведеній, и изъ его исповѣди, и изъ его трактатовъ послѣдняго времени. Но разъ мы признаемъ гр. Л. Толстого образованнѣйшимъ человѣкомъ нашего времени, то развѣ слѣдуетъ изъ этого, чтобы отъ него мы должны были бы ждать и славы полководца, и мудрости основателя новой религіи? Что идеи его, во всякомъ случаѣ, интересны, что онѣ заслуживаютъ полнаго вниманія, кто-же объ этомъ станетъ спорить и изъ чего же г. Оболенскій въ правѣ заключить, что идеями гр. Л. Толстого не интересуются? Вотъ, если бы критика замалчивала эти идеи, относилась къ нимъ съ полнымъ индифферентизмомъ, это было бы другое дѣло, и г. Оболенскій тогда въ полномъ правѣ былъ бы упрекнуть критику, что «*отъ каждаго геніальнаго художника можно ожидать по меньшей мѣрѣ интересныхъ идей, разъ онъ въ то-же время не можетъ не быть широко-мыслящимъ и образованнымъ человѣкомъ*» Между тѣмъ, мы видимъ совершенно наоборотъ: критика впродолженіи безъ малаго двухъ лѣтъ только и дѣлаетъ, что возится съ идеями гр. Л. Толстого; значитъ, она ихъ цѣнитъ и придаетъ имъ свое значеніе. Чего-же еще нужно г. Оболенскому?

И если бы еще изъ-за двухъ-трехъ спорныхъ положеній критика отрицала идеи гр. Л. Толстого всецѣло, ставила бы крестъ надъ всею его дѣятельностью послѣднихъ лѣтъ и ограничивалась одними глумленіями надъ авторомъ «Войны и мира». Но и этого мы не видимъ. Напротивъ того, до послѣдняго времени критика относилась къ идеямъ гр. Л. Толстого весьма благосклонно. Правда, она не благоговѣла и не становилась передъ ними на колѣни, какъ это дѣлаютъ нѣкоторые слѣпые поклонники гр. Л. Толстого, но она поступала съ ними, именно, такъ, какъ относится къ замѣчательнымъ явленіямъ слова та европейская критика, которую г. Оболенскій ставитъ намъ въ примѣръ: т. е. все цѣнное она подчеркивала и отдавала ему справедливость, а все ложное отметала, да мало того, что отметала, но и старалась показать источники этого ложнаго.

Такъ, напримѣръ, г. Оболенскій или не читалъ, или совсѣмъ забылъ мои первые фельетоны о гр. Л. Толстомъ. Онъ не обратилъ вниманія, что и извѣстный догматъ противленія злу насиліемъ я условно принялъ, какъ прекрасный идеалъ будущаго человѣчества, замѣтивъ только, что осуществленіе этого идеала зависитъ не отъ теоретическаго установленія этой формулы, а отъ того смягченія нравовъ, которое постепенно вырабатывается вѣками. Г. Оболенскій, не знаю ужь, умышленно или неумышленно, игнорируетъ всѣ эти мои прежніе фельетоны и вдругъ набрасывается на меня послѣ того, какъ я отнесся отрицательно къ мнѣніямъ гр. Л. Толстого о женщинахъ и о наукѣ. Допустимъ, что г. Оболенскій не согласенъ съ моими возраженіями относительно этихъ предметовъ, что онъ болѣе склоненъ въ пользу идей гр. Л. Толстого, какъ относительно распредѣленія обязанностей и занятій между обоими полами, такъ и относительно существованія двухъ наукъ, одной—для господъ, другой—для мужиковъ. Ну, и возражай онъ противъ меня, доказывай, что правъ не я, а гр. Л. Толстой, какъ онъ это дѣлаетъ въ выноскѣ на стр. 144. Къ чему же выставляетъ г. Оболенскій примѣръ европейской критики? Вѣдь не преклонилась же эта самая европейская критика передъ толкованіемъ «Апокалипсиса» Ньютона изъ-за того только, что Ньютонъ открылъ великій законъ тяготѣнія. Или еще того лучше, вѣдь не приняла-же она дословно мнѣній Прудона о призваніи женщинъ (кстати, очень близко подходящихъ къ мнѣніямъ гр. Л. Толстого), на томъ только основаніи, что Прудонъ былъ замѣчательный политико-экономъ. Однимъ словомъ, всѣ эти ссылки на примѣръ европейской критики—ничего болѣе какъ одно пустословіе, въ которомъ ничего болѣе не усматривается, какъ, именно, желаніе дискредитировать противника, подойдя къ нему сзади.

V.

Очень негодуетъ, между прочимъ, г. Оболенскій на критиковъ за то, что они упрекали гр. Л. Толстого въ противорѣчіяхъ между словомъ и дѣломъ, относительно, напр., 600,000, 12-го тома и т. п. Г. Оболенскій видитъ въ этомъ нѣкое злорадство: у критиковъ, видите, пробудилась совѣсть,

вслѣдствіе проповѣди гр. Л. Толстого, отъ старыхъ-же дурныхъ привычекъ отстать имъ трудно и вотъ въ нихъ является страстная потребность доказать, что моралистъ самъ не исполняетъ своихъ неисполнимыхъ идей. И опять-таки, это неболѣе, какъ одно пустословіе и подставленіе противникамъ «подножекъ».

Если смотрѣть на этотъ предметъ съ общей философской точки зрѣнія, то противорѣчія между словомъ и дѣломъ являются фактами неизбѣжными въ человѣческой природѣ и вытекаютъ прямо изъ того, что наша мысль опережаетъ практику жизни: создавать прекрасные идеалы гораздо легче, чѣмъ исполнять ихъ, и къ тому же, очень часто случается, что для исполненія прекраснаго идеала необходимо предварительно измѣнить такую массу условій жизни, что борьба съ этими условіями становится не подъ силу одной личности. Но, тѣмъ не менѣе, противорѣчія противорѣчіямъ розь. Представьте себѣ труженика, у котораго каждый грошъ въ карманѣ является не иначе, какъ результатомъ упорнаго труда, и рядомъ поставьте господина, существованіе котораго безъ всякаго труда обезпечено 20,000 годового дохода; но между ними та разница, что труженикъ каждый свой грошъ ставитъ ребромъ и пропиваетъ, да еще не на какой-нибудь водкѣ, а въ лучшемъ ресторанѣ на шампанскомъ. Рентьеръ-же, освобожденный отъ всякаго насущнаго труда, проводитъ свое время въ томъ, что отъ скуки проповѣдуетъ людямъ прелесть бѣдности, необходимость въ потѣ лица снискивать хлѣбъ свой и т. п. Оба эти господина представляютъ каждый въ своемъ родѣ противорѣчіе между словомъ и дѣломъ; ничего нѣтъ идеальнаго ни въ томъ, что труженикъ каждый свой заработанный грошъ несетъ къ Борелю, ни въ томъ, что рентьеръ проповѣдуетъ о прелести бѣдности, а самъ преспокойно кладетъ въ карманъ по 20,000 въ годъ. Но невольно, неотразимо, инстинктивно вы отнесетесь къ этимъ двумъ разладамъ словъ и дѣлъ совершенно различно; кутящій не по средствамъ труженикъ вызоветъ въ васъ глубокую жалость къ себѣ; рентьеръ-же, распространяющійся о прелести труда и бѣдности, приведетъ васъ въ негодованіе, и не потому только, что онъ рентьеръ, зачѣмъ онъ, молъ, получаетъ 20,000; мимо десяти рентьеровъ, получающихъ по 200,000 въ годъ, вы

пройдете совершенно равнодушно; здѣсь-же васъ выведутъ изъ себя, именно, рѣчи его; онѣ невольно должны произвести на васъ впечатлѣніе словно какого-то кощунства надъ тѣми прекрасными евангельскими истинами, которыя идутъ совершенно въ разрѣзъ съ практикою жизни этого господина. Г. Оболенскій же толкуетъ вдругъ о какой-то пробужденной совѣсти въ убогихъ критикахъ, едва сводящихъ концы съ концами, и для оправданія гр. Л. Толстаго употребляетъ слѣдующій фортель.

Потому вотъ, видите, гр. Л. Толстой не можетъ осуществлять своихъ идей въ жизни, что въ кругъ его идей, между прочимъ, входитъ отрицаніе деспотическаго насилія для проведенія своихъ идей какъ въ семьѣ, такъ и въ обществѣ. «Когда я былъ у Толстого прошлою осенью,—говоритъ г. Оболенскій,—онъ былъ очень увлеченъ вегетаріанизмомъ, т. е. питаніемъ одною растительною пищею, чтобы не мучить и не убивать животныхъ. Посмотрите-же, какъ онъ проводилъ и какъ могъ проводить свои идеи въ своей же семьѣ. А проводилъ онъ свои идеи такъ: прежде всего самъ не сталъ ѣсть мясо, а затѣмъ, старался убѣждать свою семью отказаться отъ него, и я слышалъ, что два члена семьи уже не ѣли мяса. Скажутъ, что это очень малые результаты, что этимъ онъ спасалъ въ годъ какую-нибудь сотню курицъ, десятка два быковъ, полсотни барановъ отъ насильственной смерти, что это капля въ морѣ. Согласенъ, но теперь посмотримъ, какой же другой способъ могъ употребить Толстой? Какъ глава семьи, онъ могъ распорядиться деспотически, т. е. просто запретить своимъ дѣтямъ и женѣ ѣсть мясо, а въ случаѣ сопротивленія прибѣгнуть къ силѣ; повару же долженъ былъ запретить готовить мясо. Такъ-ли? Сдѣлалъ ли бы это кто-либо изъ васъ, господа, упрекающіе Толстого въ томъ, что онъ будто бы непослѣдователенъ своимъ идеямъ только потому, что отрицая что-либо, не запрещаетъ своей семьѣ этимъ пользоваться, пока сама семья не убѣдится. Если бы онъ распорядился деспотически, то развѣ вы, господа, не закричали бы на него первые, что это—величайшій деспотизмъ, что онъ не смѣетъ заставлять насильно другихъ ѣсть или дѣлать не то, что они хотятъ, что онъ долженъ въ семьѣ дѣйствовать убѣжденіемъ, а не насиліемъ».

VI.

Но скажите, пожалуйста, гдѣ и когда-же это критики требовали, чтобы гр. Л. Толстой что бы то ни было навязывалъ своимъ домочадцамъ? Рѣчь шла и идетъ постоянно о немъ самомъ лично. Если же безразсудно и дико навязывать что бы то ни было деспотично своей семьѣ, то не менѣе безразсудно и дико, что бы семья что-либо деспотично навязывала своему главѣ, вопреки его убѣжденіямъ. Никто и не думалъ поэтому требовать, что бы гр. Л. Толстой, въ угоду своимъ ученіямъ, роздалъ все свое имущество и насильно навязалъ семьѣ, хотя бы, напримѣръ, ту крестьянскую долю, которую онъ считаетъ идеаломъ жизни. Но развѣ не бывало примѣровъ, что люди, вовсе не занимающіеся проповѣдью какой-либо цѣльной маральной системы, изъ одной только страсти къ какой-нибудь профессіи, да изъ желанія существовать своимъ трудомъ, предоставляли роднымъ жить, какъ имъ угодно, а сами устраивали свою жизнь тоже, какъ имъ нравилось? Я полагаю, что, еслибы гр. Л. Толстой это сдѣлалъ, то самое то нравственное вліяніе его на членовъ своей семьи, о которомъ говоритъ г. Оболенскій, сдѣлалось бы и сильнѣе, и благотворнѣе.

Вотъ также и исторія съ 12-мъ томомъ. На-дняхъ, какъ извѣстно, она разрѣшилась какъ разъ въ пользу критиковъ, нападавшихъ на этотъ фактъ; 12-й томъ появился въ продажѣ отдѣльно, и это обстоятельство какъ нельзя болѣе подтверждаетъ, что критики имѣли свои основанія нападать. Вѣдь, дѣйствительно, помимо ученія гр. Л. Толстого и какихъ-бы то ни было идей его, фактъ этотъ самъ по себѣ былъ настолько некрасивъ, что не могъ не возбудить противъ себя негодованія и въ публикѣ, и въ печати. Публика не могла не быть поражена, видя, что обыкновенные книгопродавцы и издатели, не ревнующіе ни о какихъ евангельскихъ идеяхъ, не поступаютъ такъ, какъ поступилъ гр. Л. Толстой, т. е. допускаютъ продажу отдѣльныхъ томовъ сочиненій авторовъ, а не навязываютъ покупку непремѣнно цѣлаго изданія. Ходятъ слухи о какихъ-то стороннихъ обстоятельствахъ, имѣвшихъ мѣсто въ настоящемъ случаѣ. Но я не знаю, какія такія обстоятельства могли бы заставить меня, напримѣръ, выпустить

книжку въ 10 листовъ подъ единственнымъ условіемъ назначенія за нее сторублевой платы? Къ крайнемъ случаѣ, если это противно моей совѣсти, никто не могъ бы воспрепятствовать мнѣ положить преспокойно рукопись въ столъ и отказаться отъ ея изданія.

Но оставимъ мы г. Оболенскаго съ его пустословіемъ. А сдѣлаемъ мы лучше вотъ что: отложивши въ сторону разборъ ученія гр. Л. Толстого въ его частностяхъ, отдѣльныхъ положеніяхъ и внутреннихъ противорѣчіяхъ, возьмемъ его въ цѣломъ его видѣ, какъ историческій фактъ, и постараемся показать, изъ какихъ общественныхъ потребностей вытекло это ученіе, насколько оно удовлетворяетъ этимъ потребностямъ и если не удовлетворяетъ то что намъ нужно вмѣсто его,— чѣмъ мы и займемся въ ближайшемъ будущемъ.

IX.

Идеалы гр. Л. Толстого въ связи съ общественнымъ настроеніемъ, нравственными нуждами и недугами нашего времени.

I.

Давно уже замѣченъ тотъ фактъ, что увлеченія общественными вопросами и реформами смѣняются увлеченіями вопросами моральными, и что, подобно тому, какъ въ первомъ случаѣ господствуетъ та идея, что нравственность отдѣльныхъ лицъ вполнѣ зависитъ отъ общихъ условій жизни и что она неисправима безъ общественныхъ реформъ, такъ во второмъ случаѣ люди болѣе дѣлаются склонны предполагать, что никакія реформы не помогутъ, никакія прекрасныя учрежденія не спасутъ, если люди будутъ нравственно несостоятельны. Гизо, какъ извѣстно, дѣлитъ даже всеобщую исторію на размѣренные періоды, усматривая въ ней періодически правильныя смѣны эпохъ общественныхъ реформъ и выработки индивидуально-нравственныхъ идеаловъ.—Но, и не соглашаясь съ Гизо отно-

сительно этой кристаллической правильности въ смѣнахъ эпохъ, все-таки мы не можемъ отрицать, что дѣйствительно, бываютъ моменты сильныхъ увлеченій всего общества исключительно вопросами общественнаго характера, бываютъ и такія времена, въ которыхъ преобладаютъ вопросы чисто моральные. Въ обоихъ случаяхъ мы имѣемъ дѣло съ явленіемъ стихійнымъ, движеніемъ, эпидемически увлекающимъ массы.

Нужно ли говорить о томъ, что общественныя движенія являются всегда какъ результатъ добытаго путемъ науки или ряда горькихъ опытовъ сознанія какого-либо общественнаго недуга, грозящаго распаденіемъ всего общественнаго строя. Это есть ничто иное, какъ обострившееся стремленіе отстранить то, что мѣшаетъ людямъ жить и благоденствовать, или-же завести то, что по всеобщему сознанію должно увеличить это благоденствіе. Моральныя-же движенія являются по большой части тогда, когда всѣмъ обществомъ овладѣваетъ горькое разочарованіе въ предшествовавшихъ увлеченіяхъ общественными вопросами, когда оказывается, что предпринятыя реформы или не доставили того, чего отъ нихъ ожидали, или-же не удались, и не удались, повидимому, потому, что какъ люди, исполнявшіе ихъ, такъ и пользовавшіеся ими, оказались ниже своего призванія. И вотъ среди всеобщаго изнеможенія, унынія, апатіи, тоски, является томительное стремленіе оглянуться вокругъ себя и рѣшить, почему-же это люди или не съумѣли совершить того, что хотѣли, или оказались неспособными пользоваться этимъ? Стремленіе это ведетъ прямо къ индивидуально-нравственному анализу; являются сатирики, моралисты, проповѣдники, по косточкамъ разбирающіе поведеніе современныхъ имъ людей и указующіе лучшіе пути для нравственнаго совершенства, выставляющіе новые идеалы, которые противуполагаются установившейся практикѣ жизни.

II.

Несомнѣнно, что такую, именно, эпоху моральнаго движенія переживаемъ мы въ настоящее время. Уже нѣсколько лѣтъ, какъ вопросы о личной нравственности, сѣтованія объ отсутствіи нравственныхъ идеаловъ, вопросы о томъ, какъ жить, во что вѣрить, къ чему стремиться отдѣльному человѣку, у

всѣхъ стоятъ на первомъ планѣ, висятъ, такъ сказать, въ воздухѣ. Этимъ объясняется и та наклонность, которую мы замѣчаемъ въ послѣднее время въ нашемъ интеллигентномъ обществѣ къ сектанству, къ увлеченіямъ разными заѣзжими и отечественными религіозными проповѣдниками и моралистами. Этотъ же чисто моральный характеръ носятъ и всѣ появляющіеся въ печати народническіе толки о растлѣвающемъ вліяніи города, о преимуществахъ деревенской жизни, объ общинной нравственности въ противоположность индивидуальной, о нравственной цѣльности мужика сравнительно съ шатаніями и нравственнымъ банкротствомъ интеллигентнаго человѣка, вопросы, наконецъ, о пессимизмѣ и оптимизмѣ и пр. Все это обнаруживаетъ неоспоримое моральное движеніе, которое на нашихъ глазахъ съ каждымъ годомъ все болѣе и болѣе охватываетъ наше общество. И вотъ, среди всѣхъ этихъ моральныхъ исканій и порываній, ученіе гр. Л. Толстого занимаетъ самое импонирующее положеніе. На него обращено наибольшее вниманіе, чѣмъ на всѣ прочія моральныя ученія, оно наиболѣе возбуждаетъ общество, пріобрѣтаетъ массу адептовъ и грозитъ если не всецѣло завладѣть мыслью современнаго общества, то, во всякомъ случаѣ, стать во главѣ моральнаго движенія, совершающагося передъ нашими глазами, направивъ его въ свою сторону.

Въ видахъ этого обстоятельства, ученіе гр. Л. Толстого пріобрѣтаетъ особенную важность въ глазахъ каждаго мыслящаго человѣка, способнаго проникать въ глубины жизни, не ограничиваясь однимъ созерцаніемъ поверхностной игры свѣта и тѣней.—Если это ученіе представляетъ собою рядъ заблужденій, то это отнюдь не случайная ошибка больнаго ума, а удѣлъ массы интеллигентныхъ людей, способныхъ заблуждаться такъ же, какъ заблуждается и гр. Л. Толстой, и идти по стопамъ его.

Дѣло въ томъ, что, признавая общественныя или моральныя движенія, какъ нѣчто стихійное, роковое, съ чѣмъ слѣдуетъ считаться, мы въ то-же время отнюдь не можемъ утверждать, чтобы каждое такое движеніе было непремѣнно плодотворно и вело къ благимъ результатамъ. Развѣ мы не видимъ въ исторіи, что иногда весьма сильныя общественныя движенія или разбиваются прахомъ о массу неодолимыхъ препятствій,

или принимаютъ совершенно ложное направленіе и ничего не оставляютъ послѣ себя, кромѣ напрасныхъ жертвъ и всеобщаго разочарованія. То же самое происходитъ иногда и съ моральными движеніями; они, въ свою очередь, могутъ разрѣшиться мыльнымъ пузыремъ и, не принеся съ собою никакого нравственнаго обновленія, лопнуть въ воздухѣ, не оставивъ послѣ себя ни одной брызги. Тутъ все зависитъ отъ того, какой характеръ приметъ моральное движеніе, отправится ли оно отъ какихъ-либо опредѣленныхъ и ясно сознанныхъ моральныхъ недостатковъ своего времени и будетъ стремиться къ борьбѣ съ этими недостатками на реальной почвѣ возможнаго и осуществимаго сегодня, или же оно сразу задастся такими утопическими мечтаніями, осуществленіе которыхъ возможно лишь въ перспективѣ вѣковъ.

III.

Хотя гр. Л. Толстой опирается главнымъ образомъ на Евангеліе и воображаетъ, что все свое ученіе онъ извлекаетъ изъ единственнаго этого источника, но это далеко не справедливо. Каждый, кто внимательно читалъ хоть одинъ трактатъ гр. Л. Толстого, можетъ въ достаточной мѣрѣ убѣдиться, что въ ученіи его, кромѣ евангельскихъ истинъ, отражается масса всякаго рода политико-экономическихъ идей, бродившихъ въ послѣдніе годы въ нашемъ обществѣ. Такъ, напримѣръ, конечно, не Евангелію обязанъ гр. Л. Толстой тѣми ратованіями противъ раздѣленія труда, какія мы у него находимъ, или чисто народническимъ отрицаніемъ городской жизни и выставленіемъ преимуществъ сельскаго земледѣльческаго быта. Въ Евангеліи вы не найдете ничего подобнаго; что-же касается до требованія гр. Л. Толстого, чтобы каждый служилъ самъ себѣ, собственноручно исполняя около себя всѣ грязныя работы, то это требованіе, по моему мнѣнію, противорѣчитъ даже духу евангельскаго ученія: мы видимъ въ немъ скорѣе духъ американскаго демократизма, обособляющаго личность и замыкающаго ее въ самое себя, чѣмъ ученіе, требующее, чтобы мы служили другъ другу и были готовы исполнить другъ для друга что-бы то ни было, ничѣмъ не брезгая. Наконецъ, самое то отрицаніе разныхъ общественныхъ функцій,

какое выводитъ гр. Л. Толстой изъ Евангелія путемъ произвольнаго толкованія нѣкоторыхъ словъ, которыя можно перевести съ греческаго такъ или иначе,—развѣ не представляется отголоскомъ не столько Евангелія, сколько тѣхъ новѣйшихъ теорій, которыя точно такъ-же предполагаютъ, что различныя общественныя функціи потеряютъ свое значеніе въ будущемъ человѣчества?

Однимъ словомъ, я хочу сказать, что ученіе гр. Л. Толстого отнюдь нельзя выводить изъ одного какого-нибудь источника. Оно имѣетъ характеръ собирательный, эклектическій. Въ этомъ его сила, его значеніе, но и въ этомъ-же его слабость, заключающаяся въ отсутствіи строгой послѣдовательности и систематичности, въ массѣ противорѣчій, неизбѣжныхъ при соединеніи несоединимаго. Но мы не будемъ касаться этихъ слабостей, такъ какъ это опять привело-бы насъ къ разбору частностей, а этого мы въ настоящее время избѣгаемъ. Обратимъ лучше вниманіе на то, къ чему ведетъ это ученіе въ его цѣломъ, что оно представляетъ, и насколько его предписанія жизненны, т. е. реальны и исполнимы.

Предположимъ, что вы вполнѣ прониклись тѣмъ идеаломъ, который рисуетъ передъ вами гр. Л. Толстой: вы убѣдились, что въ основѣ вашей нравственности должны стоять любовь не къ отвлеченному человѣчеству, а къ вашему ближнему, брату, желаніе быть всѣмъ ему полезнымъ, чѣмъ только можете, снисходительность ко всѣмъ его слабостямъ, сремленіе заглянуть къ нему въ душу и пробудить въ немъ человѣка. Въ то-же время вы отрицаете вполнѣ всякое насиліе надъ ближнимъ, вы ни за что никогда не подымете на него руки, не вызовете его въ судъ; если онъ отниметъ все ваше достояніе, вы будтее оглядываться вокругъ себя, нельзя-ли отдать ему еще что-нибудь сверхъ этого. Но этого всего мало: вы должны все дѣлать сами для себя; въ потѣ лица зарабатывать хлѣбъ свой, но ни однимъ физическимъ трудомъ, такъ какъ въ такомъ случаѣ вы изъ человѣка превращаетесь въ мертвую машину въ рукахъ другихъ, и тѣмъ болѣе не однимъ интеллигентнымъ трудомъ, такъ какъ тогда вы обращаетесь въ высокомѣрнаго паразита, за котораго дѣлаютъ все другіе для того, чтобы онъ величался своимъ умственнымъ превосходствомъ и замыкался въ интеллигентный кругъ, ничѣмъ не воз-

награждая физическіе труды на него ближнихъ. Физическій и умственный труды должны тѣсно переплетаться въ вашей жизни и оба должны быть направлены на общую пользу, при этомъ подъ физическими трудами подразумѣваются преимущественно труды сельскіе, земледѣльческіе, на чистомъ воздухѣ, среди обаятельной природы, чтобы вокругъ птички пѣли и ручейки журчали...

IV.

Я нисколько не спорю, что подобный идеалъ имѣетъ въ себѣ много привлекательнаго, что мы должны имѣть его въ виду, какъ конечную цѣль, къ которой обязано стремиться человѣчество, что, сообразно этой цѣли, должны производиться какъ всѣ общественныя реформы, такъ равно и всѣ нравственныя совершенствованія; но иное дѣло—конечная цѣль, осуществленіе которой будетъ возможно, можетъ быть, лѣтъ черезъ тысячу, иное дѣло—моральные идеалы, которые требуются людьми для руководства въ повседневной жизни теперь, сегодня. И вотъ скажемъ прямо и категорически, что идеалы, развиваемые гр. Л. Толстымъ, при всей кажущейся ихъ простотѣ, являются совершенно неосуществимыми утопіями. Можно сдѣлать въ этомъ отношеніи вотъ какое сравненіе: представьте себѣ, что являлся-бы человѣкъ, который вздумалъ-бы расписывать передъ нами волшебный край, лежащій за тысячу верстъ отъ насъ; тамъ изобиліе всего, нѣтъ ни холоду, ни жару, рѣки медвяныя, берега кисельные, а на деревьяхъ, отягченныхъ плодами, день и ночь распѣваютъ райскія птицы. Не угодно-ли пожаловать туда. Но васъ отдѣляютъ отъ этого края тысячи верстъ лѣсовъ дремучихъ, болотъ бездонныхъ. Казалось-бы, что первымъ дѣломъ надо было-бы позаботиться о томъ, чтобы проложить дороги къ завѣтной цѣли, вырубить лѣса, намостить мосты. Но господинъ увѣряетъ насъ, что ничего этого не нужно. Стоитъ только захотѣть, нарисовать лодку на стѣнѣ, да на ней и перенестить въ мгновеніе ока въ волшебный край.

Вотъ въ этой-то лодкѣ, нарисованной на стѣнѣ, и заключается вся ахиллесова пята ученія гр. Л. Толстого. Возьмите вы, напримѣръ, не какого-нибудь разбойника и татя, а сред-

няго, весьма порядочнаго человѣка, того-же, напримѣръ, Ивана Ильича, смерть котораго изобразилъ гр. Л. Толстой такъ геніально. Представьте себѣ, что этотъ Иванъ Ильичъ вдругъ проникся-бы ученіемъ гр. Л. Толстого. Что-же ему слѣдовало-бы въ такомъ случаѣ дѣлать? Перестать, конечно, судить, выйти въ оставку, выучиться какому нибудь ремеслу, напримѣръ, шитью сапотовъ, и начать въ потѣ лица заработывать хлѣбъ свой. Все это, казалось-бы, такъ просто и удобоисполимо, а на самомъ дѣлѣ это далеко не такъ просто. Начать съ того, что пока онъ выучился-бы сапожному ремеслу на столько, чтобы быть сыту самому и съ семействомъ, онъ рисковалъ-бы десять разъ умереть съ голоду, и все-таки сомнительно, вышелъ-ли бы изъ него сколько-нибудь способный сапожникъ, такъ какъ мускулы его преемственно въ ряду нѣсколькихъ поколѣній успѣли уже настолько атрофироваться, что неспособны уже къ упорному физическому труду. Если-бы и оказалось въ нихъ на столько ловкости, чтобы усвоить пріемы мастерства, то все-таки не хватило-бы настолько энергіи, чтобы изо дня въ день часовъ по десяти безъ устали тачать и тачать, какъ работаютъ сапожники. Но положимъ, что и это преодолѣлъ-бы Иванъ Ильичъ,—куда-же дѣвалъ-бы онъ свои изнѣженные нервы, въ свою очередь, выхоленные и доведенные до крайней раздражительности безпутною жизнью нѣсколькихъ поколѣній? Мы видимъ, что и у заправскихъ сапожниковъ, имѣющихъ желѣзные нервы, они иногда пошаливаютъ: работаетъ человѣкъ упорно до перваго праздника, а тамъ вдругъ его словно прорветъ, душа его требуетъ мало того, что водки, но какого-нибудь широкаго, дикаго безобразія, и это явленіе вырвавшейся на волю души—совершенно естественное, стихійное, непреоборимое. Не знаемъ также, насколько хватитъ нервовъ у Ивана Ильича, чтобы ласково улыбаться, когда какой-нибудь капризный заказчикъ сунетъ ему сапогъ въ носъ. Вѣдь это на отвлеченной почвѣ легко разсуждать о подставленіи щекъ, на самомъ-же дѣлѣ необходимо имѣть очень сильные нервы, чтобы каждый разъ сдерживать возбуждаемые рефлексы. А у Ивана Ильича навѣрное такія возбужденія будутъ на каждомъ шагу; онъ будетъ окруженъ ими со всѣхъ сторонъ. Одна Прасковья Ѳедоровна чего стоитъ: она, конечно, начнетъ поѣдомъ его ѣсть съ самой его

отставки. Кстати, ее-то мы и забыли: какъ-же она-то, горемычная, помирится съ новымъ своимъ званіемъ сапожницы? Ивану Ильичу сполагоря, такъ какъ онъ завѣтъ Льва Николаевича исполняетъ, ну, а ей за что приходится принимать въ чужомъ пиру похмѣлье? Въ самомъ дѣлѣ, что прикажете дѣлать съ нею Ивану Ильичу, особенно принимая во вниманіе, во-первыхъ, нерасторжимость браковъ, предписываемыхъ гр. Л. Толстымъ, а во-вторыхъ, отрицаніе какого-бы то ни было насилія надъ семьею въ проведеніи своихъ убѣжденій?

Если бы еще Иванъ Ильичъ имѣлъ лишній достатокъ, тогда проклятыя деньги, къ которымъ прилипли потъ и кровь тысячъ тружениковъ, работавшихъ для накопленія въ рукахъ Ивана Ильича этого достатка, помогли бы ему осуществить свои безсребренные идеалы: онъ предоставилъ бы Прасковьѣ Ѳедоровнѣ жить, какъ ей угодно, на эти средства, а самъ поселился бы тутъ-же въ каморочкѣ и началъ бы свое безконечное постукиванье молоточкомъ. Но представьте себѣ, что у Ивана Ильича ни одной лишней копѣйки за душою не имѣется: жилъ онъ до той поры исключительно однимъ жалованьемъ. Какъ же ему теперь быть, чтобы соблюсти идеалъ, ничего въ то же время семьѣ не навязывая? Г. Оболенскій, подумайте-ка объ этомъ и дайте совѣтъ.

V.

Мы только слегка, немного коснулись одного Ивана Ильича, но жизнь, со всѣмъ ея пестрымъ разнообразіемъ, сложными и удивительными комбинаціями, безъ сомнѣнія, на каждомъ шагу представитъ вамъ и не такія еще пропасти между идеалами гр. Л. Толстого и дѣйствительностью, которую, какъ ни верти, ничего съ нею не подѣлаешь. И еще бы: мы имѣемъ дѣло здѣсь, во-первыхъ, съ массою учрежденій, которыя измѣнить мы не властны, да и не имѣемъ и права сообразно идеаламъ, запрещающимъ всякое активное вмѣшательство въ жизнь, и, вотъ мы видимъ, что гр. Л. Толстой отстраняетъ отъ себя обязанность присяжнаго засѣдателя, чтобы не судить и не быть судимымъ, а самъ, въ видѣ косвенныхъ налоговъ, оплачиваетъ содержаніе тѣхъ самыхъ судовъ, къ которымъ относится столь отрицательно. Во-вторыхъ, мы видимъ массу

привычекъ, наклонностей, слабостей, пороковъ, укоренившихся вѣками, вошедшихъ въ плоть и кровь людей, сдѣлавшихся ихъ второю природою. Чтобы побороть эти привычки или пороки, требуется, въ свою очередь, работа вѣковъ. Иному человѣку для того, чтобы хоть сколько-нибудь приблизиться къ идеалу гр. Толстого, необходимо, чтобы отъ всего состава его порченной крови не осталось ни одной капли, другой — родился уже съ непреоборимою наклонностью къ пьянству, у третьяго похотливость развита до такого болѣзненнаго состоянія, что никакая сила воли не можетъ сдержать его чувственныхъ порывовъ, и происходитъ это оттого, что и матушка, и бабушка, и прабабушка его очень много на своемъ вѣку грѣшили. Мы видимъ, наконецъ, что цѣлыя сословія слагаются въ опредѣленные типы, имѣютъ свои характеристическіе недостатки, которые упорно удерживаются въ продолженіе сотенъ лѣтъ въ странахъ, въ которыхъ давно уже рушились всѣ сословныя перегородки, и жизнь приняла совершенно иной характеръ. Для гр. Л. Толстого ничего подобнаго не существуетъ. Онъ воображаетъ, что идеалы его такъ просты и удобоисполнимы, что стоитъ только захотѣть и сейчасъ-же вы ихъ и осуществите. Онъ даже выставляетъ на видъ, подчеркиваетъ, именно, легкость ихъ исполненія. Однимъ словомъ, онъ держится въ этомъ отношеніи средневѣковаго ученія безусловной свободы воли, и это существенная ошибка его ученія.

И къ чему-же это ведетъ? А ведетъ, именно, къ тѣмъ, подчасъ крайне смѣшнымъ, а иногда и весьма прискорбнымъ противорѣчіямъ, въ какія на каждомъ шагу впадаютъ люди, проникающіеся идеалами гр. Л. Толстого. Поставитъ человѣкъ передъ собою свой возвышенный идеалъ и молится на него, а самъ въ своей практической жизни волею-неволею вступаетъ въ рядъ компромиссовъ, которыхъ или не сознаетъ, не замѣчаетъ, или старается помирить со своимъ идеаломъ путемъ самыхъ хитросплетенныхъ и чисто іезуитскихъ софизмовъ. Одинъ оставляетъ жизнь свою въ прежнемъ ненарушимомъ порядкѣ на томъ, видите ли, основаніи, что онъ не желаетъ ничего навязывать своимъ роднымъ, и весь нравственный переворотъ его будетъ заключаться въ томъ лишь, что отъ такого-то и до такого-то часа онъ будетъ строгать на столярномъ станкѣ или пойдетъ въ крестьянскую избу вдовѣ печку

сложить, причемъ ему и въ голову не приходитъ, что эта починка печи есть только видоизмѣненная форма той-же самой тщеславной рисовки, которая сидитъ у него въ крови и съ которою онъ въ юности лихо отхватывалъ мазурку на удивленіе все бальной залы. Другой ограничится тѣмъ, что будетъ издавать убогія книжоночки, которыя должны замѣнить народу и науку, и искусство, словомъ, всю человѣческую мудрость. Третьи поѣдутъ на какіе-нибудь Аркадскіе острова основывать земледѣльческую колонію: посмотришь на нихъ,— всѣ такіе прекрасные, развитые, гуманные, добрые, всѣ въ одинаковой степени такъ глубоко и искренно проникнуты идеалами гр. Л. Толстого,—и, тѣмъ не менѣе, будьте увѣрены, что черезъ два, три года переругаются самымъ прозаическимъ образомъ и разойдутся съ ненавистью другъ къ другу ко всеобщему скандалу. И еще-бы: одинъ окажется лѣнтяй лѣнтяемъ, только и заботящимся о томъ, какъ-бы свернуть дѣло на другого; другой и радъ бы стараться, да окажется такимъ и неуклюжимъ, и неловкимъ, и безтолковымъ, что дѣло само будетъ валиться у него изъ рукъ: одна барыня проявитъ вдругъ неудержимое стремленіе надъ всѣми властвовать и всѣхъ держать подъ башмакомъ, другая будетъ ежедневно терзать колонію мелочными капризами и истериками, а третья, при всей готовности быть цѣломудренно-вѣрной женой, вдругъ согрѣшитъ съ пріятелемъ мужа и сама будетъ недоумѣвать, какъ это случилось.

VI.

И вотъ, такимъ образомъ, можетъ произойти, въ концѣ-концовъ, что, при всей прелести идеаловъ гр. Л. Толстого, ничего не получится отъ нихъ въ результатѣ, кромѣ все того-же нравственнаго шатанія, неудовлетворенности, разочарованія, отчаянія. При этомъ я весьма далекъ отъ того, чтобы всю вину въ этомъ отношеніи слагать на одного гр. Л. Толстого, зачѣмъ онъ преподнесъ намъ такой идеалъ, а не какой-нибудь другой. Онъ дѣлитъ вмѣстѣ съ нами недостатокъ, свойственный всѣмъ намъ, лежащій въ духѣ нашего времени.

Мы всѣ страдаемъ тѣмъ, что отрываемся постоянно отъ земли и летаемъ въ какихъ-то надзвѣздныхъ пространствахъ, въ области всеобъемлющихъ и туманныхъ идеаловъ. И не въ томъ собственно бѣда, что мы носимся съ подобными идеалами, но въ нашемъ отношеніи къ нимъ. Пусть-бы мы, разъ поставивъ передъ собою идеалы эти, какъ конечную цѣль человѣческой жизни, оглянулись затѣмъ вокругъ себя и принялись во имя этихъ идеаловъ за ту расчистку пути, ведущаго въ волшебный край, о которой я говорилъ выше, — это было бы совсѣмъ другого рода дѣло, это было-бы чисто реальное дѣло, которое наполнило бы нашу жизнь, такъ-что не было бы въ ней мѣста ни для скуки, ни для отчаянія.

Прежде всего намъ слѣдуетъ опереться на тотъ горькій опытъ, какой мы вынесли изъ нашего недалекаго прошлаго,— сознать тѣ тяжкіе нравственные недуги, которыми мы преимущественно страдаемъ, и всѣ усилія воли употребить на излеченіе, именно, этихъ недуговъ. Недуги же эти у всѣхъ передъ глазами и они ни отъ кого не скрыты: нравственная распущенность, заключающаяся въ привычкѣ беззавѣтно отдаваться каждому чувству и каждой похоти, какъ бы они ни были низменны, мерзки, предосудительны и гибельны, небрежное, халатное отношеніе къ дѣлу, отсутствіе малѣйшей усидчивости въ трудѣ и хоть капли упорства въ достиженіи цѣли, вѣчная безалаберная смѣна увлеченій, обусловливающая безпрестанные переходы отъ одного занятія къ другому, періодическія смѣны выходящихъ изъ всѣхъ границъ экстазовъ или полнаго отчаянія послѣ первой ничтожной неудачи,—таковы нравственныя болѣзни, свойственныя большинству нашей интеллигенціи. Въ виду этихъ недуговъ, должны быть поставлены не одинъ всеобъемлющій, а нѣсколько нравственныхъ идеаловъ, правда, маленькихъ, относительныхъ, но дай Богъ, чтобы мы съумѣли хоть ихъ-то достигнуть, — какой бы это былъ шагъ впередъ. А то выходитъ подчасъ очень смѣшно и печально: носится иной человѣкъ съ широкимъ, всеобъемлющимъ идеаломъ въ духѣ гр. Л. Толстого, разливается потоками празднаго пустословія и резонерства, а самъ, глядишь, не способенъ оказывается честно и гуманно отнестись къ женщинѣ, которою поигралъ и бросилъ, забываетъ платить долги не по неимѣнію средствъ, а изъ одной небрежности, зачитываетъ чужія книги

и живетъ по уши въ грязи, какъ свинья. Все это, видите, мелочи, на которыя не стоитъ обращать вниманія людямъ, рѣшающимъ судьбы міра!

Однимъ словомъ, какъ ни хороши идеалы гр. Л. Толстого, а съ ними одними мы вѣчно будетъ топтаться на одномъ мѣстѣ.



ВЛАСТЬ ТЬМЫ.

(„Власть Тьмы“ или „Ноготокъ увязъ — всей птичкѣ пропасть“, драма Льва Толстаго. Москва, 1887 г.).

ВЛАСТЬ ТЬМЫ.

«Власть тьмы», или «Ноготокъ увязъ,—всей птичкѣ пропасть», драма гр. Л. Толстаго.

I.

Ни одно произведенiе гр. Л. Толстаго не раздѣлило до такой степени публику нашу на два лагеря, какъ это. Тутъ мы имѣемъ дѣло не съ одними рьяными поклонниками нравственно-философскаго ученiя гр. Л. Толстого, противъ которыхъ стоитъ масса публики, ученiя этого не раздѣляющая. Нѣтъ, безразлично отъ этого дѣленiя, вся публика сама по себѣ раздѣлилась на людей, считающихъ драму гр. Л. Толстого однимъ изъ лучшихъ перловъ его творчества и людей, отрицающихъ ее всецѣло, говорящихъ даже, что если бы подъ нею не стояло имя автора «Войны и мира», то никто не обратилъ бы на нее вниманiя.

Поклонники драмы прежде всего увлекаются универсальностью гр. Л. Толстого въ знанiи русской жизни въ самыхъ ея разнообразныхъ слояхъ. Ихъ естественно удивляетъ, что какъ это писатель, который до сихъ поръ болѣе всего изображалъ великосвѣтскую жизнь, изучивши ее до изумительныхъ тонкостей, въ то же время оказывается такимъ же компетентнымъ и въ сферѣ деревенской мужицкой жизни. И здѣсь опять-таки оказывается, что авторъ изучилъ изображаемую жизнь до такихъ же изумительныхъ тонкостей, какъ и великосвѣтскую.

Обратите въ самомъ дѣлѣ вниманіе на языкъ, какимъ выражаются дѣйствующія лица: вѣдь мало сказать, что это до фотографической точности тотъ самый языкъ, какимъ говорятъ крестьяне; вы видите, что у каждаго дѣйствующаго лица онъ принимаетъ особенный индивидуальный характеръ; у каждаго свой собственный языкъ, соотвѣтственный его типу, не исключая даже маленькой Анютки. Возьмите вы, напримѣръ, языкъ Акима: не говоря уже о томъ, что онъ на каждомъ словѣ тянетъ, словно пріискивая слова и выраженія, вслѣдствіе чего и является у него частое повтореніе частицы *«тае»*, но замѣчательно въ то же время его словосочиненіе; онъ говоритъ отдѣльными, отрывочными словами, почти не связывая ихъ въ предложенія: то у него вы встрѣтите рядъ существительныхъ безъ глаголовъ, то наоборотъ; напримѣръ:—«Такъ и угадывалъ, значитъ, женю, значитъ, малаго отъ грѣха, значитъ; онъ дома, значитъ, тае, какъ должно по закону, а ужъ я, значитъ тае, въ городу похлопочу». Вѣдь это, какъ есть языкъ дикаря, языкъ труженика, весь вѣкъ копающагося въ землѣ, привыкшаго болѣе думать, чѣмъ говорить, а если и говорить, то по большей части со скотомъ или предметами неодушевленными.— Поставьте вы рядомъ съ языкомъ Акима языкъ Никиты, и васъ сразу поразитъ неизмѣримая разница. Въ драмѣ ни однимъ словомъ не упоминается, что Никита былъ въ Питерѣ, но вы сразу догадываетесь объ этомъ по одному его языку, испещренному такими словами, какъ разсчитываю, окончательно, правда, исторія, скандалъ и т. п.

Вмѣстѣ съ характернымъ языкомъ поражаетъ васъ и та рельефная типичность, съ какою рисуются передъ вами дѣйствующія лица драмы. Они, какъ живые стоятъ передъ вами, не расплываются, не стушевываются въ стереотипныя представленія деревенскихъ мужиковъ и бабъ, парней и дѣвокъ, а каждое вырисовывается передъ вами со всѣми своими достоинствами и недостатками и мельчайшими индивидуальными особенностями и врѣзывается въ вашу память навсегда.

Не менѣе замѣчательно знаніе деревенскаго быта до такихъ поразительныхъ мелочей, какъ, напримѣръ, та, что Анютка въ четвертомъ дѣйствіи нѣсколько разъ обзываетъ Анисью нянькой. Иной читатель сразу и не догадается, о какой такой нянькѣ идетъ здѣсь рѣчь. Суть-же въ томъ, что не только

дѣти, но и взрослые въ деревняхъ называютъ нянькими тѣхъ своихъ сестеръ или тетокъ, которые ихъ нѣкогда няньчали. Авторъ не упустилъ и подобную микроскопическую подробность.

Наконецъ не мало подкупаетъ поклонниковъ драмы и то обстоятельство, что они ожидали отъ гр. Л. Толстого совсѣмъ иного отношенія къ народному быту. Они привыкли къ тому, что гр. Л. Толстой постоянно указывалъ въ послѣднихъ своихъ сочиненіяхъ на народныя массы, какъ на носителей тѣхъ идеаловъ, къ которымъ онъ предлагалъ стремиться людямъ своей среды, вспоминали типъ Каратаева, внушившій Пьеру Безухому просіяніе, и естественно ждали фальшивой идеализаціи народнаго быта въ угоду излюбленнымъ тенденціямъ графа, и вдругъ нашли нѣчто совершенно противуположное: оказалось какъ нельзя болѣе неожиданно, что народная деревенская жизнь изображена въ драмѣ съ той-же фотографической точностью и глубокой реальной правдивостью, съ какою изображается она въ послѣднее время у такихъ ея знатоковъ, какъ Гл. Успенскій. Какъ-же было не увлечься такимъ обстоятельствомъ?

Порицателямъ же драмы болѣе все не понравилось въ ней слишкомъ ужъ безцеремонная и въ тоже время какъ будто предвзятая и совершенно излишняя грубость реализма. Зачѣмъ это на каждомъ шагу грязныя онучи, сортиры, вонь, бранныя слова, выходящія изъ всѣхъ предѣловъ приличія и въ концѣ концовъ убійство ребенка чуть что не на самой сценѣ, и съ такими циническими подробностями, что у васъ морозъ подираетъ по кожѣ. Реализмъ реализмомъ, говорятъ порицатели, но все таки не надо забывать, что искусство имѣетъ свои предѣлы, передъ которыми оно обязано останавливаться во имя традиціонно, тысячелѣтіями выработанныхъ законовъ изящнаго. Цѣль искусства заключается не въ томъ, чтобы терзать ваши нервы и доводить женщинъ до истерикъ; оно имѣетъ свои эстетико-нравственныя задачи, выполнимыя безъ подобныхъ излишествъ и которымъ эти излишества даже вредятъ. Иначе во имя реализма остается допустить такія вещи, какъ сцены повѣшенія, отрубленія головы со всѣми ужасающими подробностями, потоками крови, предсмертными корчами, допустить, наконецъ, и Богъ вѣсть какія непотребства. Но такимъ путемъ легко дойти до древняго римскаго цирка и вмѣсто тѣхъ

высоконравственныхъ и просвѣтительныхъ вліяній, какія мы требуемъ отъ сцены, обратить ее въ школу одичанія нравовъ и развитія въ толпѣ кровожадныхъ инстинктовъ.

Далѣе затѣмъ порицатели указываютъ на мистическую тенденцію, лежащую въ основѣ драмы и на массу несообразностей (о нихъ рѣчь будетъ впереди), которыя прямо вытекаютъ изъ стремленія автора провести во что бы то ни стало свою тенденцію.

Всѣ эти столь разнорѣчивые толки зависятъ, по моему мнѣнію, отъ тѣхъ элементовъ, которые мы найдемъ въ самой драмѣ гр. Л. Толстого. Они происходятъ все отъ того же разлада художника и мыслителя, который мы видѣли въ романѣ «Анна Каренина» и который здѣсь повторяется въ томъ же самомъ видѣ и съ тѣми-же результатами. Какъ тамъ, такъ и здѣсь мыслитель тянетъ насъ въ одну сторону, а художникъ совсѣмъ въ другую. Мыслитель проводитъ излюбленную свою тенденцію, и дѣйствительно допускаетъ нѣкоторыя ни къ чему ненужныя излишества, искажаетъ нѣкоторые факты; художникъ-же въ концѣ концовъ посрамляетъ мыслителя, торжествуетъ надъ нимъ и приводитъ читателя совершенно къ инымъ результатамъ.

Отсюда и вытекаетъ все разнорѣчіе въ сужденіяхъ о драмѣ гр. Л. Толстого. Тѣ, которые отправляются отъ тенденціи автора и смотрятъ, на сколько эта тенденція вѣрно проведена, истинна-ли она сама и къ какимъ прискорбнымъ излишествамъ приводитъ она автора,—конечно, приходятъ къ отрицательнымъ выводамъ. Тѣ же, которые отстраняютъ тенденцію, какъ ненужную примѣсь и къ тому-же примѣсь, совершенно посрамленную художникомъ, а обращаютъ вниманіе на торжествующее начало драмы, на ту поразительную картину, которую нарисовалъ намъ художникъ, помимо своей воли и желанія, силою своего непосредственнаго творчества, — тѣ приходятъ отъ драмы въ восторгъ. Сообразно всему этому мы примемъ для нашего разбора драмы гр. Л. Толстаго совершенно такой же планъ, какому мы слѣдовали при разборѣ «Анны Карениной». Сначала мы разсмотримъ, что хотѣлъ гр. Л. Толстой изобразить, а затѣмъ обратимъ вниманіе на то, что онъ изобразилъ.

II.

Не можетъ быть и сомнѣнія, что когда гр. Л. Толстой писалъ свою драму, онъ имѣлъ въ виду, ни болѣе, ни менѣе, какъ провести къ ней все тѣ же излюбленныя идеи, которыя проводятся во всѣхъ его трактатахъ послѣдняго времени, начиная съ «Исповѣди» и кончая «Въ чемъ-же моя вѣра?». Объ этомъ можетъ свидѣтельствовать и самое заглавіе драмы, отъ котораго вѣетъ на васъ такимъ-же мистико-трагическимъ ужасомъ, какъ и отъ извѣстнаго эпиграфа къ «Аннѣ Карениной»: «Мнѣ отмщеніе, и азъ воздамъ».

Драма завязывается гораздо ранѣе перваго дѣйствія, въ которомъ она уже является передъ нами во всемъ разгарѣ. Она коренится въ томъ обстоятельствѣ, что мужикъ Петръ дѣлается настолько богатъ, что, во-первыхъ, онъ можетъ обходиться безъ труда, держа работника и пользуясь чужими руками, а во-вторыхъ, ему ничего не стоитъ купить за деньги не только чужой трудъ, но и супружеское ложе. Такъ послѣ смерти первой жены Петръ женится на молоденькой дѣвушкѣ Анисьѣ, которую выдали за него, конечно, насильно, единственно ради того, что женихъ онъ очень выгодный, богатый. Неравный бракъ не замедлилъ истощить послѣднія силы человѣка уже пожилаго, и вотъ въ началѣ перваго дѣйствія мы видили его болѣзненнымъ, раздражительнымъ, угасающимъ. Онъ сознаетъ ненормальность всего строя своей жизни. «Ужъ эти работники! говоритъ онъ: былъ-бы здоровъ, ни въ жизнь бы не сталъ ихъ держать. Одинъ грѣхъ съ ними!» — но это сознаніе было уже и позднимъ, и празднымъ. Грѣхъ и болѣзнь до такой степени опутали уже его, что не было никакой возможности возвращаться къ праведной жизни насущнаго труда; оставалось только слѣпо идти по скользкому пути гибели, по какому велъ его поселившійся въ домѣ его демонъ въ видѣ денегъ.

Анисья, между тѣмъ, женщина молодая, что называется, въ соку, всего 32 лѣтъ, легкомысленная щеголиха, любящая повеселиться и пожить, естественно ничего не можетъ питать къ старому, больному и капризному мужу, кромѣ ненависти; она обходится съ нимъ грубо, зубъ за зубъ, называетъ его не

иначе, какъ «гнилой чортъ носастый,» и вступаетъ въ связь съ работникомъ, живущимъ въ ихъ домѣ, 25-ти лѣтнемъ парнемъ Никитой.

Никита, какъ мы уже говорили объ этомъ, питерщикъ, щеголяющій своею умственностью и отборными столичными словечками. Въ то же время онъ деревенскій сердцеѣдъ и бабникъ. Онъ, конечно, уже въ Питерѣ привыкъ ухаживать за кухарченками, и въ деревнѣ не упускаетъ изъ вида ни одной бабенки или дѣвки. «Люблю, говоритъ онъ: я этихъ бабъ, какъ сахаръ, а что меня бабы любятъ, я въ этомъ не причиненъ».

Не довольствуясь Анисьею, онъ обольщаетъ бѣдную дѣвушку, сироту Марину. Отецъ его, трудящійся, какъ волъ, и богобоязненный крестьянинъ старыхъ завѣтовъ, требуетъ, чтобы сынъ прикрылъ грѣхъ свой бракомъ. Никита, при всемъ своемъ сластолюбіи, парень вовсе не жестокосердый, не особенно противится желанію отца. Съ одной стороны, Анисья, очевидно успѣла ему понадоѣсть, а съ другой стороны, онъ по своей подленькой и малодушной натурѣ вполнѣ оправдывалъ извѣстную поговорку: «блудливъ, какъ кошка, труслив, какъ заяцъ», и ему не особенно пріятно улыбалась перспектива науки въ волостномъ въ случаѣ его сопротивленія.—«Уперся одинъ такой-то, говоритъ онъ Анисьѣ съ свое оправданіе: такъ его въ волостной такъ вспрыснули... Очень просто. Тоже не хочется. Сказываютъ—щекотно»...

Но Анисья змѣей обвилась вокругъ своего возлюбленнаго и грозилась лишить себя жизни, если онъ женится на Маринѣ; если-же онъ останется въ домѣ ихъ при ней, она обѣщала выйти за него замужъ и сдѣлать его хозяиномъ богатаго дома. Въ то же время мать Никиты — Матрена, женщина хитрая, вкрадчивая, не останавливающаяся ни передъ какими средствами для достиженія цѣли и играющая въ пьесѣ роль Мефистофеля, склонительница на всѣ преступленія и пособница, является сторонницею Анисьи, желая, чтобы сынъ женился впослѣдствіи на богатой вдовѣ,—и чтобы ускорить этотъ бракъ, она передаетъ Анисьѣ ядъ для отравленія больного мужа, говоря, при этомъ, что «это такое снадобье, что если давать пить— никакого духа нѣтъ, а сила большая: на семь разовъ, по ще-

поти на разъ. До семи разовъ давай. И слобода тебѣ скоро откроется».

Порицатели драмы гр. Л. Толстого находятъ здѣсь первую несообразность. «Зачѣмъ было, говорятъ они, Матренѣ предлагать Анисьѣ ядъ для отравленія Петра, а Анисьѣ принимать его, когда очевидно было, что Петру, при его крайней болѣзненности, не долго оставалось коротать на бѣломъ свѣтѣ?»

Но по моему мнѣнію, настоящій моментъ драмы обдуманъ гр. Л. Толстымъ въ надлежащей мѣрѣ. Дѣла стояли въ этотъ моментъ въ такомъ положеніи, что ни за одинъ день нельзя было ручаться. Съ одной стороны Акимъ, сегодня соглашаясь оставить Никиту попрежнему у Петра, завтра могъ передумать и снова настаивать на женитьбѣ сына; съ другой стороны и Анисья, да и сама Матрена не могли разсчитывать на вѣтреную и шальную голову Никиты. Надо было спѣшить укрѣпить его въ домѣ Петра болѣе прочными узами. Между тѣмъ, какъ ни былъ болѣзненъ Петръ, все таки не настолько, чтобы смерть его предвидѣлась въ близкомъ будущемъ: онъ могъ протянуть и годъ, и два, и болѣе, а въ это время Богъ знаетъ что могло случиться. Надо было ковать желѣзо, пока оно было горячо, и ядъ являлся здѣсь какъ нельзя болѣе кстати.

III.

Второе дѣйствіе заключается именно въ отравленіи Петра. Сначала Анисья колеблется, даетъ ядъ самыми малыми дозами; ей непривычны, жутки, страшны эти первые шаги по преступной стезѣ.

— «О-о, головушка моя бѣдная! говоритъ она Матренѣ: И что дѣлать теперь, сама не знаю, и жутость беретъ,—помиралъ-бы ужъ лучше самъ. Тоже на душу брать не хочется».

Но Матрена и тутъ является злою искусительницею, продолжая играть роль Мефистофеля въ юпкѣ. Опять на сцену выступаютъ деньги, которыя оказываются главными адскими пружинами во всѣхъ преступленіяхъ. — Прежде чѣмъ Петръ умретъ, оказывается дѣломъ первой важности овладѣть его капиталами, которые онъ, неизвѣстно куда, прячетъ. Тщетно обыскиваетъ Анисья всѣ углы. Между тѣмъ Петръ, чувствуя приближеніе смерти посылаетъ за своею сестрою Марѳою и

является опасность, что онъ передастъ деньги ей. Тогда дѣло обостряется въ такой степени, что Анисьѣ только и остается, что или закатить Петру такую дозу яду, чтобы онъ сразу скончался до прихода Мареы, или же проститься навсегда и съ деньгами Петра, и съ перспективою замужества за Никиту. Анисья рѣшается, наконецъ, на ужасное дѣло.

Въ третьемъ дѣйствіи Анисья является уже женою Петра, но бракъ этотъ, конечно, ужъ, не приноситъ счастья любовникамъ, и надъ домомъ ихъ тяготѣетъ проклятіе. Никита, послѣ брака, узнавши отъ матери о преступленіи Анисьи, сразу охладѣваетъ къ ней. «И опостылѣла-же она мнѣ,—говоритъ онъ,—съ этого разу. Какъ мнѣ мать сказала тогда, опостылѣла, опостылѣла она мнѣ, не смотрѣли бы на нее глаза...»· Онъ началъ пить и въ то-же время связался съ Акулиной, дочерью покойнаго Петра отъ перваго брака.

Анисья знаетъ объ этой связи, но молчитъ и смотритъ сквозь пальцы. Какъ преступница, она совершенно оказывается въ рукахъ свего сообщника, который куражится надъ нею, какъ ему вздумается, а она безропотно все это переноситъ, въ страхѣ, конечно, какъ бы не раздражить его и какъ бы въ гнѣвѣ онъ не проговорился. Глубокою псилогическою вѣрностью отличается слѣдующая сцена пріѣзда пьянаго Никиты изъ города, куда онъ ѣздилъ съ Акулиной за полученіемъ процентовъ изъ банка, накупивши своей новой любовницѣ дорогихъ обновъ.

Никита. Анисья, жена, кто пріѣхалъ? (*Анисья, взглядываетъ и отворачиваясь молчитъ*).

Никита (*грозно*). Кто пріѣхалъ? Аль забыла?

Анисья. Будетъ форсить-то. Иди.

Никита (*еще грознѣе*). Кто пріѣхалъ?

Анисья (*подходитъ и беретъ за руку*). Ну, мужъ пріѣхалъ. Иди въ избу-то.

Никита (*упирается*). То-то. Мужъ, а какъ звать мужа-то? Говори правильно.

Анисья. Да, ну тебя—Микитой.

Никита. То-то! Невѣжа—по отчеству говори.

Анисья. Акимычъ. Ну!

Никита (*все въ дверяхъ*). То-то. Нѣтъ, ты скажи фимилія какъ?

Анисья (*смѣется и тянетъ за руку*). Чпликинъ. Эка надулся.

Никита. То-то. (*Удерживается за косякъ.*) Нѣтъ, ты скажи, какой ногой Чиликинъ въ избу ступаетъ?

Анисья. Ну, буде—настудишь.

Никита. Говори, какой ногой ступаетъ? Обязательно сказать должна.

Анисья (*про себя*). Надоѣстъ теперь. Ну, лѣвой. Иди, что-ль.

Никита. То-то.

Вслѣдъ за тѣмъ слѣдуетъ сцена перебранки Анисьи съ Акулиною, не менѣе значительная, какъ тонкимъ психическимъ анализомъ, такъ и поразительнымъ знаніемъ народной жизни. Анисья подходитъ къ столу, чтобы приготовить чай и видитъ разложенныя на немъ обновки Акулины.

Анисья. Ну васъ, разложили.

Никита. Ты глянь-ка сюда.

Анисья. Что мнѣ глядѣть! Не видала, я что-ль? Убери ты. (*Смахиваетъ рукой на полъ полушальчикъ.*)

Акулина. Ты что швыряешься? Ты своимъ швыряй. (*Поднимаетъ.*)

Никита. Анисья! Мотри.

Анисья. Чего смотрѣть-то?

Никита. Ты думаешь, я тебя забылъ. Гляди сюда. (*Показываетъ свертокъ и садится на него.*) Тебѣ гостинецъ. Только заслужи. Жена, гдѣ я сижу?

Анисья. Будетъ куражиться-то. Не боюсь я тебя. Что-жъ ты на чьи деньги гуляешь, да своей жирехѣ гостинцы купляешь? На мои.

Акулина. Какже твои! Украсть хотѣла, да не пришлось. Уйди ты. (*Хочетъ пройти, толкаетъ*).

Анисья. Ты что толкаешься-то. Я те толкону.

Акулина. Ну-ка сунься. (*Напираетъ на нее*).

Никита. Ну бабы, бабы. Буде. (*Становится между ними*).

Акулина. Тоже лѣзетъ. Молчала бы, про себя бы знала. Тоже лѣзетъ. Ты думаешь, не знаютъ.

Анисья. Что знаютъ? сказывай, сказывай, что знаютъ?

Акулина. Дѣло про тебя знаю.

Анисья. Шлюха-ты, съ чужимъ мужемъ живешь.

Акулина. А ты своего извела.

Анисья. *(бросается на Акулину).* Брешешь.

Никита. *(удерживаетъ).* Анисья! Забыла.

Анисья. Чего стращаешь? Не боюсь я тебя.

Никита. Вонъ! *(Поворачиваетъ Анисью и выталкиваетъ).*

Анисья. Куда я пойду? Не пойду я изъ своего дома.

Никита. Вонъ, говорю. И ходить не смѣй.

Анисья. Не пойду. (*Никита толкаетъ, Анисья плачетъ и кричитъ цѣпляясь за дверь).* Что-жъ это, изъ своего дома въ зашей гонятъ? Что-жъ ты, злодѣй, дѣлаешь? Думаешь, на тебя и суда нѣтъ. Погоди же ты!

Никита. Ну, ну!

Анисья. Къ старостѣ, къ уряднику пойду.

Никита. Вонъ, говорю. (*выталкиваетъ).*

Анисья. (*изъ за двери).* Удавлюсь.

Однимъ словомъ передъ вами развертывается самая мрачная картина полнаго семейнаго разлада. Отецъ Никиты Акимъ, который навѣдался къ сыну, какъ разъ въ эту минуту съ просьбою помочь въ нуждѣ, пришелъ въ такой ужасъ при видѣ всѣхъ этихъ возмутительныхъ сценъ, что отказался отъ предлагаемыхъ денегъ и не захотѣлъ оставаться у него пить чай и ночевать.

Акимъ. (*слѣзаетъ и надѣваетъ шубу. Подходитъ къ столу, кладетъ на него бумажку).* На деньги твои. Прибери.

Никита. *(не видитъ бумажки).* Куда собрался одѣмши-то?

Акимъ. А пойду, пойду я, значитъ, простите, Христа ради. (*Беретъ шапку и кушакъ).*

Никита. Вотъ-те на. Куда пойдешь-то ночнымъ дѣломъ?

Акимъ. Не могу я, значитъ тае, въ вашемъ домѣ, тае не могу значитъ быть, быть не могу, простите.

Никита. Да куда же ты отъ чаю-то?

Акимъ, *(подпоясывается).* Уйду потому, значитъ не хорошо у тебя значитъ, тае, нехорошо, Микишка, въ домѣ, тае нехорошо. Значитъ, плохо ты живешь, Микишка, плохо. Уйду я.

Никита. Ну, буде толковать, садись чай пить.

Анисья. Что-жъ это батюшка, передъ людьми стыдно будетъ. На что-жъ ты обижаешься?

Акимъ. Обиды мнѣ, тае, никакой нѣтъ, обиды нѣтъ, значитъ, а только что, тае, вижу я, значитъ что къ погибели значитъ сынъ мой, къ погибели сынъ, значитъ.

Никита. Да какая погибель? ты докажь.

Акимъ. Погибель-то, погибель, весь ты въ погибели. Я тебѣ лѣтось что говорилъ?

Никита. Да мало ты что говорилъ.

Акимъ. Говорилъ я тебѣ, тае, про сироту, что обидѣлъ ты сироту Марину, значитъ, обидѣлъ.

Никита. Экъ помянулъ. Про старыя дрожжи не поминать дважды, то дѣло прошло...

Акимъ. (*разгорячась*). Прошло? Нѣ, братъ, это не прошло. Грѣхъ значитъ за грѣхъ цѣпляетъ, за собою тянетъ, и завязъ ты, Микишка, въ грѣхѣ. Зазязъ ты, смотрю, въ грѣхѣ. Завязъ ты, погрузъ ты, значитъ.

Никита. Садись чай пить и разговоръ весь.

Акимъ. Не могу я, значитъ, тае, чай пить. Потому отъ скверны отъ твоей значитъ, тае, гнусно мнѣ, дюже гнусно. Не могу я, тае, съ тобой чай пить.

Никита. И... канителитъ. Иди къ столу-то.

Акимъ. Ты въ богатствѣ, тае, какъ въ сѣтяхъ, въ сѣтяхъ ты, значитъ. Ахъ, Микишка, душа надобна.

Никита. Какую ты имѣешь полную праву въ моемъ домѣ меня урекать? Да что ты въ самомъ дѣлѣ присталъ? Что я тебѣ, мальчикъ дался, за виски драть? Нынче ужъ это оставили.

Акимъ. Это точно, слыхалъ я, нынче что и тае, что и отцовъ за бороды трясутъ, значитъ, да на погибель это, на погибель, значитъ.

Никита. (*сердито*). Живемъ, у тебя не просимъ, а ты жъ къ намъ пришелъ съ нуждой.

Акимъ. Деньги? Деньги твои вонъ онѣ. Побираться, значитъ, пойду, а не тае, не возьму, значитъ.

Никита. Да буде. И что серчаешь, кампанію разстраиваешь. (*Удерживаетъ за руку*).

Акимъ. (*взвизгиваетъ*). Пусти, не останусь. Лучше подъ заборомъ переночую, чѣмъ въ пакости въ твоей. Тьфу, прости Господи. (*Уходитъ*).

IV.

Мы нарочно такъ долго остановились на третьемъ дѣйствіи и привели изъ него такъ много выписокъ, что это дѣйствіе представляется самымъ лучшимъ во всей драмѣ, наиболѣе, естественнымъ, характернымъ и художественно-обработаннымъ. Далѣе-же затѣмъ мы вступаемъ въ мрачную область преувеличеній, натяжекъ и полныхъ искаженій дѣйствительности ради того, чтобы подогнать ее къ проводимой тенденціи.

Такъ, напримѣръ, въ четвертомъ дѣйствіи развертывается передъ вамъ рядъ ужасающихъ сценъ новаго преступленія героевъ драмы,—именно убійства ребенка Акулины, прижитаго ею съ Никитою. Здѣсь приходится выдать гр. Л. Толстого порицателямъ его драмы съ головою, и нѣтъ никакой возможности защитить его отъ ихъ нападокъ. Дѣйствительно, здѣсь одна несообразность ведетъ за собою другую, и надуманность, искусственность всѣхъ этихъ несообразностей мечутся вамъ въ глаза. Такъ, для васъ совершенно непонятно, какъ это—въ то время, какъ вся деревня знала о беременности Акулины, да и не могла не знать, такъ какъ въ деревнѣ, гдѣ не носятъ ни корсетовъ, ни кринолиновъ, ни турнюровъ, трудно скрыть беременность дѣвушки,—и вдругъ одни сваты, пріѣхавшіе сватать Акулину ничего объ этомъ не знали. А если знали, и все таки сватали, имѣя въ виду богатое приданое Акулины, то какой смыслъ имѣетъ слѣдующая сцена:

Сватъ. *(одинъ выходитъ изъ сѣней, икаетъ).* Упарился. Жарко страсть. Простудиться маленько. *(Стоитъ отдувается).* И Богъ е знаетъ какъ... что-то не того, не радуетъ... Ну да какъ старуха...

Матрена. *(выходитъ изъ сѣней же).* А я смотрю: гдѣ сватъ? гдѣ сватъ? А ты, родной, во гдѣ... Ну что-жъ, родимый, слава тѣ Господи, все честь честью. Сватать не хвастать. А я хвастать и не училась. А какъ пришли вы за добрымъ дѣломъ, такъ, дастъ Богъ, и вѣкъ благодарить будете. А невѣста-то, вѣдаешь, на рѣдкость. Такой дѣвки въ округѣ поискать.

Сватъ. Оно такъ, да насчетъ денегъ не сморгать бы?

Матрена. А насчетъ денегъ не толкуй. Что ей отъ родителей награжденіе было, все при ней. По нынѣшнему времени, легко ли: три полста.

Сватъ. Мы и не обижаемся, а свое все дѣтище. Какъ получше хочется.

Матрена. Я тебѣ, сватъ, истинно говорю: кабы не я, въ жизнь бы тебѣ не найти. У нихъ отъ Кормилиныхъ тоже засылка была, ужъ я застояла. А насчетъ денегъ—вѣрно сказываю, какъ покойный, царство небесное, помиралъ, такъ и приказывалъ, чтобъ въ домъ вдова Микиту приняла, потому мнѣ чрезъ сына все извѣстно, а денежки, значитъ, Акулинѣ. Вѣдь другой бы покорыствовался, а Микита всѣ до чиста отдаетъ. Легко ли, деньжищи какія.

Сватъ. Народъ болтаетъ, денегъ больше за ней приказано. Малый-то тоже проворъ.

Матрена. И... голубчики бѣлые. Въ чужихъ рукахъ ломоть великъ; что было, то и даютъ. Я тебѣ сказываю, ты всѣ четки брось. Закрѣпляй тверже. Дѣвка-то какая, какъ бобочекъ хорошая.

Сватъ. Оно такъ. Мы одно съ бабой мекаемъ насчетъ дѣвки-то:—что-жъ не вышла? Думаемъ, что-жъ какъ хворая?

Матрена. И и... Она-то хворая? Да противъ ней въ округѣ нѣтъ. Дѣвка какъ литая—не ущипнешь. Да вѣдь ты намедни видѣлъ. А работать—страсть! Съ глушинкой она, это точно. Ну, да червоточинка красному яблочку не покоръ. А что не вышла-то, это, вѣдашь, съ глазу. Сдѣлано надъ ней. И знаю, чья сука смастерила. Знали, вѣдашь, что сговоръ, ну и напущено. Да я отговоръ знаю. Завтра встанетъ дѣвка. Ты насчетъ дѣвки не сумлевайся.

Сватъ. Да что же—дѣло полажено.

Матрена. То-то, ты ужъ того, и не пяться. Да меня не забудь. Хлопотала я тоже. Ужъ ты не оставь...

А затѣмъ надо-же было случиться, чтобы Акулинѣ пришлось рожать какъ разъ въ тотъ моментъ, какъ пріѣхалъ сватать сватъ.

Но допустимъ это, какъ случайное совпаденіе. Далѣе затѣмъ, къ чему понадобилось героямъ нашимъ новое преступленіе въ видѣ убійства ребенка? Что помѣшало имъ снести младенца въ городъ въ воспитательный, что и предлагалъ Ни-

кита? Ну, а если бабы рѣшились на это страшное дѣло, чтобы поскорѣй, не откладывая въ долгій ящикъ, спрятать концы въ воду, то развѣ не было въ ихъ рукахъ совершить убійство гораздо проще, чѣмъ они это сдѣлали. Вѣдь бабкѣ ничего не стоитъ только-что рожденнаго младенца не допустить даже и вскрикнуть, и вынесли-бы онѣ Никитѣ трупикъ, заявивши, что младенецъ родился мертвымъ. Нѣтъ, гр. Л. Толстому непремѣнно захотѣлось, чтобы Никита чуть что не передъ глазами публики нажалъ живаго младенца доскою и сѣлъ на нее, чтобы косточки захрустѣли. Очень понятно, для чего гр. Л. Толстому понадобились эти отвратительныя по своимъ подробностямъ, мучительныя сцены.—Необходимо было, чтобы послѣднее преступленіе героевъ производило самое ужасающее впечатлѣніе, и чтобы такимъ образомъ вполнѣ оправдывалось заглавіе драмы, что увязъ ноготокъ и вся птичка попалась. Необходимо было, чтобы Никита этимъ преступленіемъ былъ окончательно подавленъ, чтобы хрустѣнье косточекъ и предсмертный пискъ младенца мерещились ему денно и нощно, не давали ему житья, чтобы совѣсть его до такой степени истерзала, чтобы онъ готовъ былъ на самой свадьбѣ Акулины, при многочисленномъ собраніи чуть не всей деревни, встать на колѣни и каяться во всѣхъ содѣянныхъ преступленіяхъ.

Вообще трудно себѣ представить болѣе искусственнаго, дѣланнаго и мелодраматичнаго, какъ все пятое дѣйствіе, написанное какъ разъ въ угоду проводимой тенденціи; въ балаганной-же сценѣ покаянія не достаетъ только звона колоколовъ и какой-нибудь херувимской пѣсни въ воздухѣ, или чтобы невидимо присутствующая власть тьмы, при видѣ покаянія грѣшника, съ зубовнымъ скрежетомъ провалилась-бы сквозь полъ, сопровождаемая адскимъ пламенемъ.

Я нисколько не удивляюсь, что простые люди, которымъ, по разсказамъ, была прочтена драма, замѣтили, что въ сценѣ публичнаго покаянія Никита какъ будто «сбрендилъ». Это мнѣніе вытекаетъ вовсе не изъ какой-либо нравственной тупости и неразвитости не понимающихъ, какъ это можно признаваться въ содѣянномъ преступленіи и подвергаться уголовнымъ карамъ добровольно.—Здѣсь мы видимъ скорѣе всего инстинктивное чутье, что вся эта сцена неестественна, что въ жизни такъ не бываетъ. И дѣйствительно, начать съ того,

что совершенно не въ характерѣ русскаго человѣка, при его скромности и застѣнчивости, публичныя манифестаціи въ родѣ покаяній на колѣняхъ передъ всѣмъ міромъ.—Онъ если и рѣшится на что нибудь подобное, то попросту пойдетъ въ волостное правленіе и тамъ признается первому попавшемуся, старостѣ или сотскому. Въ особенности-же трудно ожидать покаянія отъ Никиты: это—натура слишкомъ малодушная, трусливая и дрянная, чтобы быть способною на подобный во всякомъ случаѣ подвигъ. Совсѣмъ иначе долженъ онъ проявлять себя послѣ всѣхъ совершенныхъ имъ преступленій, и совсѣмъ въ иномъ родѣ представляется естественный финалъ драмы, финалъ вполнѣ ясно раскрывающійся передъ нами въ третьемъ дѣйствіи.—Уже тогда, какъ мы видѣли, Никита сталъ покучивать, охладѣлъ къ Анисьѣ и началъ куражиться надъ нею. Послѣ новаго преступленія жена окончательно должна была ему опротивѣть; въ то-же время Никитѣ, терзаемому совѣстью и жаждущему забыться, только и оставалось, что начать пить мертвую чашу, все таща изъ дому.—Начались-бы ежедневныя сцены семейнаго раздора, еще болѣе ужасающія, чѣмъ въ третьемъ дѣйствіи, сцены кровавыхъ потасовокъ, — и кончилось-бы дѣло тѣмъ, что или въ одну изъ такихъ потасовокъ Никита довершилъ-бы свои преступленія, исколотивши Анисью до смерти, или она, не въ силахъ будучи выносить долѣе подобной жизни, пошла-бы въ волостное жаловаться на мужа,— и тутъ въ дикомъ озлобленіи другъ на друга они открыли-бы всѣ свои преступленія.—Деревенскія семейныя драмы по большей части кончаются именно такимъ образомъ: запоемъ, разозреніемъ, побоищами на смерть и волостнымъ судомъ, на которомъ разомъ всплываютъ такіе ужасы, что волосы встаютъ дыбомъ у слушателей.

Къ числу такихъ-же предвзятыхъ, надуманныхъ частностей, занимающихъ въ драмѣ мѣсто единственно ради проведенія излюбленныхъ тенденцій гр. Л. Толстого, принадлежатъ и такія вещи, какъ наивный разговоръ Акима съ Митричемъ о банкахъ или о городскихъ ватерклозетахъ, возбуждающіе въ читателяхъ невольную улыбку. Наконецъ къ чему понадобилось гр. Л. Толстому всѣ эти грязныя онучи, ковырянья мозолей на ногахъ и оснащеніе рѣчей дѣйствующихъ лицъ почти что непечатными словами. Это тоже неспроста. Гр. Л. Тол-

стой выражаетъ въ этомъ свой протестъ противъ того *изящнаго* искусства, которое существуетъ для изысканнаго меньшинства, услаждаетъ изысканныя чувства одними прекрасными образами, избѣгая всего, что могло бы, какъ бы то ни было, покоробить или оскорбить чопорныхъ любителей эстетическихъ наслажденій и въ то же время ни къ чему не ведетъ, какъ лишь къ развитію чувственности.—Въ противоположность этому искусству для меньшинства, гр. Л. Толстой создаетъ новое искусство для народа, не боящееся глядѣть правдѣ жизни прямо въ глаза, не прикрашивающее жизнь, а изображающее ее во всей ея грязи, съ вонью, онучами, мозолями и непечатными словами.

Если хотите, это имѣетъ свою долю основанія, но лишь тогда, когда художникъ изображаетъ правду жизни безхитростно, не задаваясь при этомъ никакими стремленіями удивить читателей пахучимъ букетомъ этой правды. Въ такомъ случаѣ непосредственное художественное чутье подскажетъ автору мѣру, переходя которую правда перестаетъ быть правдою. Въ самомъ дѣлѣ, какая-же правда, въ томъ, что авторъ начнетъ нагромождать сальность на сальность нарочно для того, чтобы рисоваться передъ нами свободою отъ великосвѣтской щепетильности? Это крайность противъ крайности — и больше ничего.

Вслѣдствіе всѣхъ этихъ предвзятыхъ излишностей, равно какъ искусственности и надуманности сюжета, драма не производитъ на васъ и тѣни того впечатлѣнія, на которое разсчитывалъ авторъ.—Зрители нисколько не убѣждаются въ томъ, чтобы, дѣйствительно, стоило увязнуть ноготку—и всей птичкѣ пропасть, и проникаются .подобною азбучною сентенціею въ гораздо меньшей степени, чѣмъ слушая старинныя французскія мелодрамы, въ родѣ «Тридцать лѣтъ или жизнь игрока», гдѣ подобныя-же сентенціи проведены съ большимъ блескомъ, трескомъ, и раздирательными эффектами. Въ концѣ концовъ драма гр. Л. Толстого производитъ на васъ такое впечатлѣніе, что какъ будто авторъ самъ не особенно глубоко вѣритъ въ то, что берется доказать намъ и относится къ своей задачѣ съ непобѣдимою холодностью, напоминая тѣхъ художниковъ новѣйшихъ временъ, которые берутся за религіозные сюжеты, не въ силахъ будучи внести въ свои картины ни од-

ной капли того религіознаго энтузіазма и той сердечной теплоты, которыми проникнуты были безхитростно, но глубоко вѣрующіе художники прежняго времени.

При всѣхъ этихъ условіяхъ драма гр. Л. Толстого была бы произведеніемъ, лишеннымъ всякого смысла, если-бы не нашелся въ ней иной смыслъ, который высказался самъ собой, помимо сознанія автора, въ силу глубокой реальной правды образовъ піесы, и этотъ смыслъ совершенно заслоняетъ собою азбучную мораль драмы, заставляетъ васъ забыть о ней. Драма дѣйствительно производитъ на васъ потрясающее впечатлѣніе, но совсѣмъ не тѣмъ, на что разсчитывалъ авторъ.

V.

«*Власть тьмы*»! Думалъ-ли гр. Л. Толстой, когда далъ такое заглавіе своей піесѣ, что этимъ заглавіемъ онъ исчерпываетъ весь глубокій и таинственный смыслъ своей драмы. Судя по всѣмъ его идеямъ послѣдняго времени, можно думать что подъ властью тьмы авторъ разумѣетъ власть сатаны, ада; между тѣмъ, вся драма отъ первой страницы до послѣдней словно вопіетъ передъ вами: смотрите, какая тьма непроглядная вокругъ всѣхъ дѣйствующихъ лицъ драмы; они совсѣмъ во власти этой тьмы; они бродятъ въ ней совершенно растерянные, словно не люди, а ночные лѣсные звѣри. Свѣту, свѣту побольше, знанія, иначе они кончатъ тѣмъ, что взаимно переѣдятъ другъ друга.

Въ самомъ дѣлѣ, представьте себѣ только жизнь, лишенную всякихъ духовныхъ радостей и наслажденій, какихъ-бы ни было, религіозныхъ, умственныхъ, эстетическихъ: церковь верстъ за пятнадцать, а вблизи ни душеспасительнаго слова, ни книги, которая наставляла-бы, какъ жить, и научала; или каторжная страда, или кабакъ. Прибавьте къ этому жизнь въ тѣсныхъ, душныхъ помѣщеніяхъ съ телятами и овцами, причемъ всѣ члены семьи спятъ чуть не въ повалку въ одной избѣ, что само по себѣ располагаетъ ко всякаго рода грѣховнымъ сближеніямъ и кровосмѣшеніямъ. А далѣе, затѣмъ, вы видите рабскую зависимость отъ первой непогоды, градобитія, падежа: не во время станетъ зима или весна запоздаетъ,—и

разомъ можетъ рушиться благосостояніе, нажитое годами кроваваго труда. Отсюда какъ нельзя болѣе понятна жадность мужика къ деньгамъ: не къ богатству, а именно къ деньгамъ, къ грошамъ, къ каждой копѣйкѣ. Въ деньгахъ мало-мальски умственный мужикъ видитъ единственное спасеніе и обезпеченіе отъ всѣхъ градобитій и неурожаевъ, и вотъ ради снисканія денегъ, если представляется случай, умственные крестьяне готовы на все: женить сына на развратной дѣвкѣ, ограбить на дорогѣ купца, отравить стараго мужа, чтобы воспользоваться благосклонностью молодой вдовы, зарыть живымъ младенца, если онъ стоитъ на пути хозяйственныхъ разсчетовъ—все это ни почемъ оказывается, лишь-бы хотя часокъ вздохнуть сознаніемъ обезпеченности.

Глубокая иронія скрывается въ драмѣ гр. Л. Толстого въ томъ обстоятельствѣ, что единственная вполнѣ добродѣтельная личность въ піесѣ, богобоязненный мужикъ Акимъ,—является въ то-же время какимъ-то полуидіотомъ, который едва можетъ связать два-три слова, и то черезъ каждое слово повторяетъ: *тае* да *тае.* Вы такъ и видите въ этомъ Акимѣ яремнаго вола, безпрекословно подчиненнаго *власти земли*, и изъ этого слѣпого безсмысленнаго подчиненія, совершенно согласно теоріи г. Гл. Успенскаго, проистекаетъ вся добродѣтель Акима, вся вѣрность священнымъ дѣдовскимъ традиціямъ. Всѣ-же остальныя дѣйствующія лица—люди умственные, но вся ихъ умственность проявляется исключительно въ щегольствѣ, городскими нарядами, гармоникахъ, хересахъ и необузданной страсти къ наживѣ какими-бы то ни было средствами.

Замѣтьте въ тому-же вотъ еще какое обстоятельство: вы видите въ драмѣ гр. Л. Толстого, что преобладающую роль во всѣхъ поступкахъ дѣйствующихъ лицъ играютъ женщины: отъ нихъ идетъ инниціатива всѣхъ преступленій, и онѣ по своей волѣ распоряжаются всѣмъ мужскимъ персоналомъ драмы. Даже добродѣтельный Акимъ находится подъ башмакомъ у своей Матрены, и не только не въ силахъ помѣшать ей сѣять зло, но вполнѣ подчиняется ея злой волѣ, и Матрена даже бахвалится въ первомъ дѣйствіи передъ Анисьей: «Ихъ, дураковъ, ягодка, все такъ-то манить надо. Все въ согласьи, какъ будто. А до чего дѣло дойдетъ, сейчасъ на свое и повернешь. Баба, вѣдаешь, съ печи летитъ, семьдесятъ семь думъ передумаетъ»...

Такимъ образомъ, вмѣсто «власть тьмы» можно было-бы вполнѣ вѣрно озаглавить драму «власть бабъ». Но въ томъ-то и дѣло, что эта власть бабъ является сугубо властью тьмы, потому что если деревенскіе мужики бродятъ въ потемкахъ, то бабы, помыкающія ими, еще того болѣе, и въ четвертомъ дѣйствіи вы встрѣчаете замѣчательный діалогъ бывалаго солдата Митрича съ дѣвочкою-подросткомъ Анюткой, діалогъ, бросающій яркій свѣтъ на внутренній смыслъ драмы.

Анютка. До десяти годовъ все младенецъ, душа къ Богу може еще пойдетъ, а то, вѣдь, изгладишься.

Митричъ. Еще какъ изгладишься-то! Вашей сестрѣ какъ не изгладиться? Кто васъ учитъ? Чего ты увидишь? Чего услышишь? Только гнусность одну. Я хоть немного ученъ, а кое-что да знаю, не твердо, а все не какъ деревенская баба. Деревенская баба что? Слякоть одна. Вашей сестры въ Россіи большіе милліоны, а всѣ какъ кроты сонные,—ничего не знаете. Какъ коровью смерть опахивать, привороты всякіе, да какъ подъ насѣстъ ребятъ носить къ курамъ—это знаютъ.

Анютка. Матушка и то носила.

Митричъ. А то-то и оно-то. Милліоновъ васъ сколько бабъ да дѣвокъ, а всѣ какъ звѣри лѣсные. Какъ выросла, такъ и помретъ. Ничего не видала, ничего не слыхала. Мужикъ, тотъ хоть въ кабакѣ, а то и въ замкѣ, случаемъ, али въ солдатствѣ, какъ я, узнаетъ кое-что. А баба что? Она не то, что про Бога, она и про пятницу-то не знаетъ толкомъ, какая такая? Пятница, пятница, а спроси, какая—она и не знаетъ. Такъ, какъ щенята слѣпые ползаютъ, головами въ навозъ тычатся... Только и знаютъ пѣсни свои дурацкія: го-го. го-го... А что го-го?—сами не знаютъ...

Анютка. А я, дѣдушка, Вотчу до половины знаю.

Митричъ. Знаешь ты много! Да и спросить съ васъ тоже нельзя. Кто васъ учитъ? Только пьяный мужикъ поучитъ когда вожжами. Только и ученья. Ужъ и не знаю, кто за васъ отвѣчать будетъ. За рекрутовъ, такъ съ дядьки или старшаго спросятъ. А за вашу сестру и спросить не съ кого. Такъ, безпастушная скотина озорная самая, бабы эти—самое глупое ваше сословіе. Пустое самое ваше сословіе.

Анютка. А какъ-же быть-то?

Митричъ. А такъ и быть... Завернись съ головой и спи. О, Господи!...

Однимъ словомъ, драма гр. Л. Толстого производитъ на васъ ужасающее и потрясающее впечатлѣніе, но вовсе не въ силу творящихся въ ней грѣховъ и преступленій. Тутъ нѣтъ злодѣевъ и негодяевъ, которые возмущали-бы васъ и приводили въ негодованіе; передъ вами просто рядъ дикарей, которые руководятся одними слѣпыми инстинктами и стихійною игрою неосмысленнныхъ страстей и похотей, которые и въ самыхъ своихъ добродѣтеляхъ, равно какъ и въ порокахъ повинуются импульсамъ чисто зоологическаго характера и дѣйствуютъ въ потемкахъ, не вѣдая, что творятъ. И если подумать, что такихъ дикарей десятки милліоновъ, живущихъ совершенно такою-же жизнью, какою жили предки ихъ при Гостомыслѣ, морозъ по кожѣ подеретъ.

1887.



ОГЛАВЛЕНІЕ.

Общая характетистика литературной дѣятельности гр. Л. Толстого по 1872 годъ 1

Разладъ художника и мыслителя (по поводу романа «Анна Каренина») 87

Мысли и замѣтки по поводу нравственно-философскихъ идей гр. Л. Толстого 123

I. По поводу книги М. С. Громеки 125
II. По поводу статей „Изъ воспоминаній о переписи" . . 137
III. По поводу статьи „Въ чемъ счастье" 146
IV. О женскомъ вопросѣ 153
V. Мой отвѣтъ г. Оболенскому 163
VI. „Трудъ мужчинъ и женщинъ" гр. Л. Толстого и новыя возраженія мои 172
VII. Нужны ли для народа особенные науки и искусства. . 180
VIII. Нападки г. Оболенскаго на критиковъ гр. Л. Толстого . 191
IX. Идеалы гр. Л. Толстого въ связи съ общественнымъ настроеніемъ 201

Власть тьмы 213

11 и 12, [illegible]

2-4. [illegible]

Х[illegible]

[d.8)



